

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ИВАН БУНИН

Темные аллеи. Окаянные дни.  
Повести и рассказы



Бунин, Иван. Темные аллеи. Окаянные дни. Повести и рассказы // Эксмо, Москва, 2016  
ISBN: 978-5-04-177583-4  
FB2: "Sergius", 17.03.2023, version 1.1  
UUID: 82ECA2FD-CF23-489A-9F05-B8027518BA97  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

# Темные аллеи. Окаянные дни. Повести и рассказы

(Бунин И.А. Сборники)

И. А. Бунин (1870–1953) — первый русский лауреат Нобелевской премии, безупречный стилист, мастер русской прозы. Писатель с подлинной болью за свою родину повествует об оскудении дворянских усадеб, жестоких нравах деревни, сложной психологии русского человека, и делает это в совершенстве, с присущей ему перу пластической, предметной изобразительностью и точностью описаний.

Свое отношение к Октябрьской революции и власти большевиков Иван Бунин открыто выразил в дневниковой книге «Окаянные дни».

Трагичность же человеческого существования, обреченного не воплотить свое главное предназначение — любить, — в сборнике рассказов «Темные аллеи».

# Содержание

#1 . . . . .	0005
О Бунине . . . . .	.0006
Бунин, собрание сочинений . . . . .	.0017
Повести и рассказы . . . . .	.0031
Антоновские яблоки . . . . .	.0031
Подторжье . . . . .	.0060
Деревня . . . . .	.0068
Суходол . . . . .	.0311
Дневник, 1917–1918 гг. . . . .	.0421
Окаянные дни . . . . .	.0509
Темные аллеи . . . . .	.0740
I . . . . .	.0740
II . . . . .	.0803
III . . . . .	.1033
Иллюстрации . . . . .	.1189

**Иван Бунин**  
**Темные аллеи. Окаянные дни**  
*Повести и рассказы*

© Оформление. ООО «Издательство „Э“»,  
2016

\* \* \*

# О Бунине

Ровно неделю тому назад я писал: «Чем дороже нам Бунин, тем труднее для нас становится изъяснить иностранцу, в чем заключается его значение и его сила... Мне горько не только оттого вообще, что до сих пор Нобелевская премия не дана русскому, но еще и оттого, что так трудно было бы объяснить европейскому литературному миру, почему именно Бунин достоин этой премии более, чем кто-либо другой».

К счастью для всех нас и к великой радости для меня, оказался я все-таки не совсем прав. В самый тот день, когда появилась моя статья, Нобелевская премия была присуждена Бунину. Я по-прежнему думаю, что самое сильное в Бунине, его словесное мастерство, иностранному ценителю недоступно. Оказалось, однако, что и других качеств его творчества достаточно для того, чтобы премия была ему предоставлена. Члены Шведской Академии сумели оценить Бунина и по переводам — это делает честь их литературному пониманию.

Следует им отдать должное еще и в другом отношении. Они присудили лавры гонимому страннику, почти беззащитному и почти бесправному, да еще в такую как раз минуту, когда безумная корысть и корыстное безумие с особою силой толкают людей пресмыкаться перед его гонителями. Тут проявили они независимость и мужество, которые в другие времена для столь высоких собраний только естественны, но в наши горькие дни стали редки всюду. Таким образом, прислушавшись к голосу совести (и может быть — к ропоту русской литературы, давно ожидавшей к себе справедливости), члены Шведской Академии не только увенчали Бунина, но и отстаивали собственную свою честь. Сознаю, что, конечно, в этих словах моих много гордости. Но наше положение не дает нам права быть смиренными, ибо здесь, в Европе, мы сейчас не самих себя представляем и не во имя свое находимся.

Все это относится, впрочем, не к самому Бунину и не к его творчеству, а к тому общественному и нравственному значению, которое бунинское творчество имеет для всех нас.

Это значение так бесспорно и очевидно, что я больше на нем останавливаться не буду. Хотелось бы мне сказать о том, чему мы обязаны своим торжеством, — о писаниях Бунина. Но тут я испытываю большое затруднение.

О чем говорить? О последнем, наиболее совершенном из его творений, о «Жизни Арсеньева», за последнее время я писал на этих страницах неоднократно. Признаюсь — что-либо прибавить к ранее сказанному я сейчас не сумею, да и были бы то лишь отрывочные замечания, более или менее предварительные, ибо «Жизнь Арсеньева» не закончена: о ней уже можно сказать, что она прекрасна, но о ней еще нельзя говорить исчерпывающе. Очертить же бунинское творчество вообще — в газетной статье, без обстоятельной подготовки немислимо. Тут обречь бы я себя на высказывание общих мест, а то и хуже — юбилейных плоскостей. Дело вовсе не в том, какую погоду любит описывать Бунин и похоже ли у него выходит, — а в том, почему в каждом отдельном случае он описывает такую погоду, а не иную и как, почему и ради чего, в конечном счете, он это делает. Дело не в том,

как смотрит Бунин на русского мужика, а в том, почему ему понадобился русский мужик и что этот мужик выражает в *бунинском мире*. Писатель — не «очеркист», состоящий при Господе Боге, как нынешние советские авторы состоят очеркистами при Сталине. Он не воспроизводит мир, а пересоздает его по-своему. То, из чего он при этом исходит и к чему приходит, — составляет весь смысл его творчества. Этот смысл не вскрывается иначе, как путем кропотливого исследования, путем рассмотрения того, как совершается в писателе творческий акт, имеющий длинный ряд стадий, акт сложный, трудный, всегда мучительный. Рассмотрение этого процесса тем плодотворнее, что труд критика более приближается к труду самого писателя. Критик, внутренне не «проработавший» вещь вместе с самим писателем, как бы не написавший ее вновь за него, — в известной степени есть болтун, своей невыстраданной болтовней оскверняющий труд автора — всегда *выстраданный* (я, конечно, говорю о настоящих, о больших авторах). Каждая настоящая книга, в сущности, требует о себе тоже целой книги, а может

быть, и нескольких. Условия нашей жизни таковы, что ни о чем подобном мечтать не приходится. Даже и при стремлении к самой большой добросовестности критику приходится ограничиваться приблизительно высказанными результатами своей очень приблизительной работы. Однако чем более чтит он писателя, тем более должен опасаться именно приблизительностей, неточностей. Сегодня я не стану говорить о смысле бунинского творчества, потому что поспешностью наскоро собранных мыслей боюсь унизить тот многолетний глубокий труд, которым это творчество воодушевлено и осуществлено.

\* \* \*

Я беру с полки первый том Бунина в издании Маркса и читаю на первой странице:

*Шире, грудь, распахнись для при-  
нятия  
Чувств весенних — минутных го-  
стей!  
Ты раскрой мне, природа, объ-  
ятия,  
Чтоб я слился с красою твоей!*

*Ты, высокое небо далекое,*

*Беспредельный простор голубой!  
Ты, зеленое поле широкое!  
Только к вам я стремлюся душой!*

Нынешнего Бунина от этих наивных, почти беспомощных стихов отделяют сорок семь лет жизни: стихи написаны 28 марта 1886 года. Однако ж, ему нет надобности за них стыдиться: они оправданы не только шестнадцатилетним возрастом юноши, их писавшего, но и глубокой литературной давностью. После них прошло не только сорок семь лет жизни, но и сорок семь лет творческого труда. Прочитав их теперь, Бунин может сказать со спокойной гордостью:

— Вот чем я был — и вот чем я стал.

Юношеские творения каждого выдающегося художника далеко отстоят от его зрелых произведений. У Бунина это в особенности так. Никакой человеческой проницательности не хватило бы на то, чтобы в этих стихах *предугадать* будущего автора «Жизни Арсеньева». Никакой проницательности не хватило бы и теперь, если бы мы вздумали в них этого автора *узнавать*. На произведения нынешнего Бунина похожи они не более, чем

портрет младенца на портрет взрослого человека.

После этих стихов Бунину понадобилось целых четырнадцать лет, чтобы выпустить «Листопад», первую книгу, которой обязан он началом своей известности. За «Листопадом» последовали тома стихов и прозы, всегда отмеченных печатью дарования. Том за томом свидетельствовали о развитии автора, но о развитии все же весьма постепенном, даже замедленном. «Деревня», привлекая к Бунину особое внимание читателей, при всех своих несомненных достоинствах, более дала пищи для наблюдений и рассуждений критике публицистической, нежели художественной. Целых тридцать лет Бунин копил в себе силы и как бы весь подбирался для того стремительного прыжка, которым был «Господин из Сан-Франциско» вместе со всем циклом замечательных рассказов, за ним следовавших. Эти тридцать лет были годами усиленного, тягостного труда.

Обывательская критика и писательская обывательщина в самом слове «труд» видит нечто страшное, не то унижающее представ-

ление о таланте, не то даже исключаящее такое представление. Нет ничего не только ошибочнее, но и вреднее этого взгляда. Талант без труда есть талант, зарытый в землю. Обработка своего таланта есть для писателя долг порядка религиозного. Истоки искусства таинственны, иррациональны. В начале искусства лежит озарение, но само по себе озарение еще не есть искусство. Чтобы стать искусством, оно должно быть обработано. Искусство есть озарение обработанное, умелое. Великие художники XIX века на деле работали не менее своих предшественников, но они, по особым, очень сложным причинам, при-творялись «гуляками праздными». Художники предыдущих веков не стыдились работы и в значительной степени смотрели на искусство как на ремесло. «Святое ремесло» — вот определение искусства, изумительное по глубине и краткости.

Русский народ любят упрекать в лености, в неумении работать, в неуважении к труду. Не решаюсь судить окончательно, справедливо ли это, но сильно сомневаюсь, чтобы народ-земледелец мог быть ленив. Однако даже

если все-таки это так, то у нас нет оснований думать, что выразители национального гения непременно должны быть и выразителями национальных недостатков. И в самом деле — приверженностью к труду отмечены жизни Петра Великого, Ломоносова, Пушкина, исписавшего целые листы кругом для того, чтобы окончательно найти, наконец, две строчки. «Война и Мир» свидетельствует столько же о трудолюбии Толстого, сколько о его гении. Жизненные условия ставили Достоевского в необходимость работать наспех, но черновые его бумаги красноречиво нам говорят о напряженном, порою судорожном труде.

Всем писательским своим образом Бунин служит продолжению и новому утверждению этой прекрасной традиции. Не для того, чтобы умалить величину и достоинства его дарования, но для того, чтобы воздать ему всю честь, ему подобающую, хотел бы я назвать его тружеником. Если наступят для русской литературы более легкие дни, то, конечно, найдется исследователь, который последовательно и точно, в обстоятельном труде вскры-

ет приемы бунинской работы — внутренние пути его творчества. Тогда окажется непременно, что у Бунина можно и должно учиться не только композиции вещи, строению образа или таким-то и таким-то литературным приемам, не только самому мастерству, но и умению работать и воле к работе. Путем анализа и сравнения исследователь такой докажет то, что сейчас мы только угадываем: он вскроет, как именно, в каких направлениях работал Бунин здесь, в эмиграции, не успокоившись на достигнутых ранее результатах и служа примером и, к несчастью, — укоризной слишком многим своим современникам, молодым и старым.

Какому-то интервьюеру он сказал на днях, что боится, как бы житейские события, связанные с получением премии, не помешали ему вернуться к прерванной работе. Другому журналисту говорил он о мечте возвратиться в Грасс — все затем же: работать. При этом сравнил он себя с тарасконским парикмахером, выигравшим пять миллионов и оставшимся в своей парикмахерской. С радостью узнаю Бунина в этой милой и умной шутке

истинного художника и мастера. Во дни его торжества желаю ему труда и еще раз труда, — того веселого труда, который для художника Божией милостью составляет проклятие и величайшее счастье жизни, ее напасть и богатство, по слову Каролины Павловой:

*Моя напасть, мое богатство,  
Мое святое ремесло!*

*Ходасевич*

# Бунин, собрание сочинений

Собрание сочинений И. А. Бунина, предпринятое издательством «Петрополис — Дом книги», начало выходить. Пока поступили в продажу только второй и седьмой тома. Их появление почти совпало с годовщиной того дня, когда автору была присуждена премия Нобеля.

Для каждого писателя появление «собрания сочинений» — то же, что для живописца — ретроспективная выставка. Тут поневоле подводятся итоги, обзревается и неизбежно пересматривается прошлое. Такой пересмотр всегда полезен и поучителен. Но он сопряжен и с известным риском, которому подвергается не только автор, но и читатель. Перечитывая вещи, давно нам знакомые, мы невольно их видим в новом свете. Слово, некогда прозвучавшее в одной обстановке, по-иному звучит в другой, в нынешней, да и сами мы, меняясь с годами, воспринимаем его не совсем так, как восприняли некогда, в ту пору, когда услышали его впервые. Словом, тут происходит явное испытание временем, и

этому испытанию подвергается не только само произведение, но и наше понимание. Перечитывать то, что когда-то волновало и нравилось, всегда несколько боязно: не было ли ошибкою наше восхищение, не напрасно ли мы растратили «жар души», который всегда отдаешь любимому автору? Еще печальней, когда разочарование постигает нас неожиданно. Так, например, было со мною несколько лет тому назад, когда я вздумал перечитать прозу Федора Сологуба: я прочел «Жало смерти», потом «Мелкого беса» — и у меня не хватило мужества приняться за «Творимую легенду». Однако ж бывает обратное: радостное сознание того, что некогда прочитанное заключает в себе достоинства, которых мы раньше не заметили или не вполне оценили. Такую именно радость доставил мне в особенности второй том Бунина.

Начать с того, что он превосходно составлен. В него входят всего три вещи: «Подторжье», «Деревня» и «Суходол». Они писаны в 1909–1911 годах, и события, в них изображенные, разыгрываются, как я думаю, в одних и тех же местах. «Подторжье» — небольшой

рассказ, почти бесфабульный. Можно бы его назвать даже очерком, если бы это слово не вызывало представления о тех нудных, бескрасочных очерках, что в изобилии печатались некогда в «Русском Богатстве» и в «Мире Божьем», а ныне печатаются в советских журналах. «Подторжье» как раз именно и прельщает совсем обратным: силою колорита. Служит оно как бы пестрым занавесом, которому предстоит раздёрнуться и за которым нам будут показаны зрелища, более исполненные движения и драматизма. Однако ж, на занавес уже нам дается основная гамма цветов и отчасти набросан пейзаж, которому суждено повторяться в «Деревне» и «Суходоле». Герои «Деревни» и «Суходола» порой посещают тот самый уездный город, на окраине которого, между монастырем и острогом, происходит «Подторжье». Монастырь, острог и бегущее между ними шоссе порой мелькают в «Деревне» и в «Суходоле». Можно бы также сказать, что «Подторжье» служит как бы эпиграфом к этим двум повестям.

«Деревня» и «Суходол» имеют глубокое внутреннее единство. В них одинаково пред-

ставлена деревенская, земляная Россия. В этом смысле исполнены обе повести одного духа. Этого единства не должно упускать из виду и при чтении. Одна повесть дополняет другую, но сюжетно и хронологически обе весьма различны, отчасти даже противоположны. В то время как «Деревня» изображает Россию мужицкую, переживающую смуту 1905 года, в «Суходоле» мы видим Россию помещичью, причем вводный рассказ Натальи, составляющий сюжетную сердцевину повести, относится к последним годам крепостного права. Однако этими различиями дело не ограничивается. Еще глубже в них — различие чисто художественное, литературное. «Суходол» писан тотчас после «Деревни», но между ними Буниным пройден немалый отрезок его художественного пути.

Признаюсь, я не помню в отдельности ни одной критической статьи из числа тех, которые были посвящены «Деревне» тотчас после ее появления. Помню лишь то, что статей было много и почти все они были шумные. В те времена немногие голоса критиков-литературоведов заглушались голосами критиков-пуб-

лицистов, то есть попросту публицистов, смотревших на литературу как на экран, приспособленный для отражения общественной жизни. Наскоро пробормотав что-нибудь о «бунинском чувстве природы» или об «удивительном бунинском языке», публицисты тотчас обращались к той теме, которая одна только и занимала их искренно и ради которой читали они не только Бунина, но и все прочее, от Пушкина до Вербицкой. Начинался спор, по существу политический, а не литературный. В соответствии с политическими своими предубеждениями одни заявляли, что Бунин в «Деревне» высказал о российском мужике «горькую правду», другие, напротив, что мужика он «оклеветал». В соответствии с теми или другими заявлениями доказывалось либо то, что оклеветанному мужику надо поклоняться, ибо он есть носитель правды, либо что надо этого темного мужика просвещать, читая ему вслух рассказы Засодимского и Златовратского и статьи Лаврова, Михайловского, Мартова и Плеханова, — и тогда он станет носителем правды. Нельзя отрицать, что некоторый повод для таких споров давал

сам Бунин. Перечитывая сейчас «Деревню», отчетливо видишь, что в ней не порвана еще пуповина, некогда соединявшая Бунина с писателями из «Знания». Говорю это не в том смысле, что в «Деревне» слышится знаньевская «идеология». Я только хочу сказать, что в ту пору общественные проблемы волновали Бунина не совсем так, как они должны волновать художника. Социальные или политические коллизии служили ему не только материалом для разработки более широкой художественной темы, но и сами по себе представлялись достаточной темой. Еще взволнованный событиями 1905 года, Бунин в «Деревне» явственно ставил себе задачу — представить не самые эти события, но ту мужицкую стихию, которая ими была в особенности всколыхнута. Таким образом, публицистическая струна была им самим задета, и публицисты-критики, почуявшие в бунинской повести для себя поживу, на сей раз были уже не совсем не правы.

Минуло почти тридцать лет с тех пор, как разыгрались события, вызвавшие «Деревню» к жизни, и 24 года с тех пор, как он ее писал.

За эти годы мы стали свидетелями катастрофы, которой девятьсот пятый год был только бледным прообразом. Герои Бунина пережили разгульное торжество, за которое расплачиваются неслыханными страданиями. Той кары, которая выпала на их долю, они, во всяком случае, не заслужили. Но нельзя отрицать, что бунинская характеристика по существу оказалась верна. Читая «Деревню», я было вздумал отметить лишь те страницы, на которых даны черты, наиболее проникновенно угаданные и явно подтвержденные революцией. Я, признаюсь, намечал цитаты для будущей статьи, — но пришлось отказаться от такого намерения: что чему предпочесть — не знаю, одно без другого неясно, а всех выписок хватило бы на два таких фельетона, как этот.

Словом, публицистическая сторона бунинской повести оправдана событиями. Но это несчастье — не литературного, а исторического порядка. Со стороны же литературной нельзя не порадоваться тому, что «Деревня», оказывается, выдерживает испытание временем лучше, чем можно было предположить.

Теперь, когда временем притуплено ее публицистическое острие, ясней проступает литературное мастерство, в ней заключенное. В особенности поучительно в ней то внутреннее равновесие, то планомерное и последовательное распределение материала, с которым Бунин сумел сделать занимательной повесть с очень слабо намеченной фабулой (что входило в его намерения) и с одинаковой силой представить очень большое число персонажей, из которых только один слегка выдвинут на первый план.

«Суходол», как выше указано, и близок, и противоположен «Деревне». В нем та же деревенская Россия показана со стороны помещицкой, усадебной. Но еще глубже такого сюжетного противопоставления — противопоставление литературное. О «Суходоле», в свою очередь, немало писано с точки зрения публицистической. Видели в нем изображение дворянского оскудения. Но теперь, перечитывая его вслед за «Деревней», нельзя не заметить, что общественная и бытовая сторона дела на сей раз занимала самого Бунина гораздо менее. В «Суходоле» ставил он себе несрав-

ненно более сложные и любопытные задания чисто литературного порядка.

Приходится пожалеть, что нет в эмиграции ни кружков, ни изданий, в которых можно было бы заняться серьезным, пристальным разбором литературных произведений. Это было бы очень полезно и для публики, и для писателей, — равно для старых и молодых. В частности — я уверен, что было бы в высшей степени поучительно рассмотреть хотя бы, «как сделан» «Суходол». Если взглянуть в него внимательно, то оказывается, что эта повесть, рассказанная так просто, непринужденно, — имеет сложнейшее построение. Центральная фабулистическая часть «Суходола» заключена в рассказе старой няньки Натальи. Но автору захотелось разработать и усложнить сюжет ее повествования настолько, что к прямому «сказу» он прибегнуть не мог. Нужно думать, что тут руководило им и некое чувство меры, подсказавшее, что столь продолжительный «сказ» неизбежно стилистической нарочитостью утомит и пресытит читателя прежде, чем повесть будет доведена до конца. Поэтому Бу-

нин обратился к будто бы очень простому, на деле же — сложнейшему приему: рассказ Натальи то ведется от ее лица, то от лица автора. И вот — то, как и когда чередуются эти два повествовательных пласта, как переходят они один в другой, как сделаны эти переходы и на какие моменты они приходятся, — совершенно очаровательно и замечательно. Замечательней же всего, что при столь сложном построении удалось Бунину достигнуть необыкновенной экономии в изобразительных приемах и строжайшего внутреннего единства. От чьего бы лица ни велся рассказ, «Суходол» ни на миг ничего не утрачивает из той терпкости, из сдержанной силы, из того сухого и раскаленного воздуха, которыми весь он проникнут и которые, в сущности, составляют его внутренний импульс. Ясно, что «дворянский упадок» здесь не истинная тема, а лишь повод, которым Бунин воспользовался, чтобы отдаться единственному истинному оправданию творчества: самому творчеству. В «Суходоле», отдаленном от «Деревни», вероятно, всего лишь месяцами, Бунин уже неизмеримо больший мастер, чем в «Деревне».

Здесь уже чувствуется канун «Господина из Сан-Франциско» и нескольких великолепных рассказов, составляющих с ним как бы один цикл: я говорю о «Петлистых ушах», «Казимире Станиславовиче» и т. д. Совершенно предположительно и с правом взять свои слова обратно, я бы все же решился высказать мысль, что именно между «Деревней» и «Суходолом» произошел в Бунине тот толчок, который впоследствии столь очевидно выдвинул его на первое место среди современных русских писателей. Правильно ли такое предположение, можно будет судить лишь тогда, когда собрание сочинений будет закончено.

\* \* \*

Другой ныне вышедший том (седьмой в общем ряду) состоит из длинного ряда рассказов, написанных в эмиграции. Тема любви объединяет самые примечательные из них: «Митину любовь», «Солнечный удар» и «Дело корнета Елагина» (в котором, кстати, сюжет опять развернут сложнейшим образом). Однако предмет бунинского наблюдения и изучения — не психологическая, а иррациональная сторона любви, та ее непостижимая сущ-

ность (или та непостижимая часть ее сущности), которая постигает, как наваждение, налетает Бог весть откуда и несет героев навстречу судьбе, так что обычная их психология распадается и становится похожа на «обесмысленные щепки» или на обломки, крутящиеся в смерче. Не внешние, но внутренние события этих рассказов иррациональны, и характерно для Бунина, что такие иррациональные события всегда им показаны в самой реалистической обстановке и в самых реалистических тонах. Быть может, именно на этом контрасте тут у Бунина все и построено, из этого контраста все у него тут и возникает. Если в этом пункте сравнить Бунина с символистами, то заметим, что у последних мир, окружающий героев, всегда определяется отчасти их собственными переживаниями, отчасти же (и еще более) — тем, как автор переживает переживания своих героев. Поэтому вся обстановка повествования, весь «пейзаж» (в широком смысле слова) у символистов подчинен фабуле. Он у них, так сказать, «пристилизован» к событиям. Обратное — у Бунина. У него события подчинены пейзажу.

У символистов человек собою определяет мир и пересоздает его, у Бунина мир, данный и неизменный, властвует над человеком. Поэтому бунинские герои так мало стремятся сами себе дать отчет, каков смысл с ними происходящего. Они по природе не философичны и не религиозны в глубоком смысле этого слова. Можно также сказать, что они и не демоничны. Всякое *знание* о происходящем принадлежит не им, а самому миру, в который они заброшены и который играет ими через свои непостижимые для них законы. Таков Митя, убивающий себя из-за любви, но ни минуты не философствующий ни о любви, ни о смерти. Такова Сосновская, на любовь и на смерть летящая, как бабочка на огонь. Таков Елагин, загипнотизированный Сосновской и убивающий ее, но сам словно бы изумленный тем, что он сделал. (Кстати сказать: во внешнем облике Елагина и в каких-то тоже им не признаваемых внутренних чертах есть нечто схожее с Лермонтовым.)

Такова в некоторых чертах своих «философия» Бунина. Ее можно принять или не принять. Но нельзя не принять того мудрого ху-

дожественного метода, которым она выражена. Этот метод можно представить двумя простейшими словами: смотрите и переживайте. Бунин обогащает нас опытом — не «идеями». Это и есть единственный законный путь искусства, неизменно имеющийся в наличности везде, где есть подлинное искусство. Не худо, если из опыта возникают «идеи». Но беда, если за «идеями» нет опыта. Потому-то замечательных художников незамечательные критики порой обвиняют в «безыдейности». «В его голове не зародилась ни одна идея». Читатель может подумать, что это цитата из Антона Крайнего. Но нет. Это пишет Фаддей Булгарин о Пушкине.

# Повести и рассказы

## Антоновские яблоки

### I

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, — с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в

ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящички, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по са-

ду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-одноворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», — косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а панева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головою. — Переводятся теперь такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми нож-

ками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада, — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж

тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уже поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, глхнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин. — Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

## II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и

по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, —

первый признак богатой деревни, — и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да, вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка, — явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, — виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, — все о чем-то думает. «О добре своем небось», — говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много.

А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, — «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, — отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушуб-

ки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, — очень недавно, — имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало,

доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками, на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, — так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Возьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, — совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домо-

витых — множество, и все они точно слиты из темных, дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могоикане дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил фореитром, а теперь возит ее к обедне, — зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, — ветви лип обнимали его, — был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, — так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад

представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, — два старых больших крыльца с колоннами. На фронте их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но при-

ветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство, начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, — антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

### III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни, и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пу-

стели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, Бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял злое щие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревож-

ная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол

и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубаше, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

*Пора, пора седлать проворного  
донца  
И звонкий рог за плечи переки-  
нуть! —*

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сы-

рого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилося куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькает в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелька-

ют перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю, — по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадешь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднее и темнее... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-ни-

будь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по несколько дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, — и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет

под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле занает ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, — дедовские книги в толстых кожаных пе-

реплетях, с золотыми звездочками на сафьяновых корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная сто лет тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, — рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на просторном месте своего селения»... Потом натолкнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государь мой! Эразм сочинил в шестнадцатом столетии

похвалу дурачеству (манерная пауза, — точка с запятой); вы же приказываете мне превознести пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска...

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастнаго!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости молодых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку,

ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобой... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

#### IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует

навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнувшей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синяя, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло илюдно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и кру-

тит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной кошоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой ал-

лее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по невозможному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит

степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами.

— С Богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суется под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние

деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

*На сумерки буен ветер загулял,  
Широки мои ворота растворял, —*

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

*Широки мои ворота растворял,  
Белым снегом путь-дорогу заметал...*

1900

## Подторжье

Конец мая, и в поле еще прохладно, дует ветер, то и дело прячется в облака солнце, идут тени и свет.

Ехали, тряслись на тележке часа четыре. Устали, и все надоело. Но вот наконец открылась в широкой дали картина города, забелела полоса шоссе, бегущего к нему, — и веселее шевельнули вожжами, покатили вдоль него рысью, обгоняя прочих едущих на ярмарку. Повеселела и погода, ветер стих, и все приближающийся город, его монастырь, острог, кресты церквей и стекла домов уже видны ясно, блестят против вечернего солнца.

И воздух стал меняться. Он еще прохладный, миндальный, полевой, но уже мешается со множеством прочих запахов. За телегами идут привязанные к ним лошади и коровы. На рогах коров тоже блестит низкое солнце, коровы идут медленно, с женственной неловкостью. Молодые кобылки и жеребчики, когда их объезжаешь рысью, красиво и гневно горячатся, шарахаются. И пахнет и конским навозом, и коровами, и дегтем, и сеном, кото-

рым набиты тележные задки, больше же всего — городом и ярмарочным станом, уже раскинувшимся на громадном выгоне перед монастырем. Там, на этом выгоне, белеют балаганы, дымят собранные на скорую руку походные печки, набралось порядочное количество скотины и телег с поднятыми оглоблями, расставленных, однако, еще довольно просторно...

Через несколько минут тележка, с непривычной для деревенского уха грубостью, вдруг загремела по мостовой. Город!

Остановились, как всегда, на Острожной улице, на той, что прямиком вводит в город между острогом и монастырем.

На большой двор подворья едва въехали — так тесно. Все заняли цыгане, которые навели целый табун лошадей: и донских, и киргизов, и кровных, породистых, крытых попонами. Посреди двора — огромный фургон с кожаным верхом, весь изукрашенный медными драконами. Рядом разбита полосатая палатка. Под ее поднятыми полами постлана прямо на земле необъятная постель, — навалено несколько перин, кое-как прикрытых лохмо-

тъями ситцевых одеял, и множество сальных красных подушек. На подушках высоко лежит навзничь, как мертвый, спит мальчик лет пятнадцати, босой, в коротких порточках, необыкновенной красоты. У ног его густо и пахуче дымит самовар и сидит, пристально смотрит молодая цыганка. На шее сургучные нити кораллов, навешаны старые серебряные кресты. Смотрит, курит трубку и сплевывает.

Зато в горницах ни души. «Да и ночуете одни, все при лошадях, на дворе», — сказала большая гнутая старуха, мать хозяина. «А это и того лучше, — ответили ей. — Распорядитесь-ка, матушка, насчет самоварчика да позвольте руки немножко помыть».

К чаю купили калачей, колбасы. Потом сидели, курили на крылечке, разговаривали с подходящими барышниками и цыганами о том, как идет подторжье, каковы намечаются цены. Барышники твердят:

— Что Господь даст! Что Господь даст! Он цены строит...

Вечером из-за крыш города — золотой свет большой низкой луны. Свет и тени лежат во дворе, который кажется красивым, а от фурго-

на, от палатки даже несколько сказочным. Как тепло, что значит город! И оттого, что по этой прямой и широкой Острожной улице все едут и едут, скрипя телегами, а по выбитому тротуару идут и переговариваются, ночь весела, празднична.

Утром говорливая толпа идет, валит в другую сторону, — вон из города, по направлению к монастырю. Туда же несутся, ныряя по пыльным ухабам, извозчики.

Ветрено, но солнечно. И все время праздничный кавардак колоколов, не смолкающий ни на минуту, не дающий говорить и слушать.

Какое многолюдство и как все растет оно!

Густая толпа теснится возле ворот монастыря, — бородатые, волосатые и загорелые мужики, все чужие, новые для глаза, из дальних, задонских деревень, и великая пестрота нарядных баб и девок, тоже чужих, кажущихся красивее, чем свои. Ворота монастыря, по бокам которых во весь рост написаны два длиннобородых старца в зеленых рясах и черных епитрахиях, с развернутыми хартиями

в руках, широко раскрыты, и из них выезжают купеческие коляски.

Против монастыря — большой желтый острог, и из всех решетчатых окон его смотрят, прильнув к решеткам, широкие бледные лица под серыми бескозырками. У ворот острога тоже толпа, — сердобольные души принесли острожникам праздничного калачика.

В канаве возле шоссе спит молодой босяк с маленькой стриженной головой. Какое-то своеобразное изящество, какое-то щегольство есть во всей его легкой, не деревенской фигуре, в его короткой ситцевой рубаше и рваных дырявых брючках. Проходящие смеются, острят:

— Кто праздничку рад, тот до свету пьян!

А на шоссе одиноко стоит распряженная телега, а на телеге, на возу, сидит пожилая девица в драповом дипломате. На крыльях носа пыль. Дует жаркий ветерок, несет шум и гомон ярмарки, и лицо у девицы отупело от сиденья, от обиды, что ее посадили и ушли, что все идут и смотрят на нее.

А вот уже и пыльная, истоптанная трава

выгона. Тут, на отлете, на самом ходу, пристроился со своим столиком квасник. Толпа валит и валит мимо, многие на ходу пьют у него. И он потен, красен, с расстегнутым воротом, с картузом на затылок, радостно замучен своим призывным криком и бойкой торговлей. Не прекращая кричать, он то и дело с треском раскупоривает бутылки, озабоченно отсчитывает сдачу медяками, а сам бьет сапогом двух красных петухов, сцепившихся под его столиком.

И с каждым шагом вперед все растет теснота — от народа, от телег, от скотины: поминутно спотыкаешься на связанных овец, лежащих на земле среди пыли и навоза, опасно пробираешься между рогатой скотиной, жмешься возле лошадиных задов.

Вот даже и совсем надо остановиться, — ходу дальше нет: в расступившемся кругу тесной толпы идет бешеный торг. Торгуют всего-навсего мужицкую лошаденку с легким дрожащим хвостом. Но какая горячка, сколько крику! Как яростно носится, держа эту лошаденку за повод и поминутно с диким и вызывающим видом оборачиваясь на зрителей,

цыган со смольной бородкой, с черно-золотыми глазами!

Он в расстегнутой жилетке поверх лиловой рубахи, в плисовых шароварах, одна штанина выпала из-за голенища.

— По душам сказал — бери! — кричит он.

На него смотрят: пузатый седой барышник с серебряными брелоками на часах, затягивающийся из серебряного мундштука, и мелкопоместный барин в белом картузе, в черной поддевке и серых штанах навывпуск.

— По душам сказал, душевно говорю! — сипло кричит цыган, круто заворачивая и осаживая сразу на все ноги лошаденку. — По душам сказал — бери! Ну, сто монет — и пойдем жижку пить! Зимой приеду, угощать станешь, хлеб-соль дашь!

— Вот что, — кричит барышник, — по-божьему, по-хорошему, по-любовному, с веселым сердцем: шесть красных — и кончайте! Лошадь работница! Не сопата, не горбата, животом не надорвата!

— Я лошадь не корю, — кричит барин. — Я лошадь принимаю!

— Лошадь дурить нельзя! — подхватывают

В толпе.

— Дай бог дитё такое! — кричит цыган.

— Ну, и молитесь! Его святая воля!

— Ну, была б жива-здорова!

— Господи благослови! Кончайте!

Крестятся, яростно бьют по рукам, но барин кричит:

— Пять красных и магарыч мой!

И цыган бешено плюет:

— Тьфу! Сахаром тебе в уста, огнем из заду, этот магарыч твой! Что с тобой говорить, только кровь гадить!

Спешно подходит с высокой палкой в руке старый цыган, лицо которого точно со старой медной медали.

— Стой! Что за шум, а драки нету? — кричит он. — Стой, я вас помирю!

И торг начинается опять сначала, закипает с новым ожесточением.

*Васильевское. 1909*

# Деревня

## I

Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город — и скоро прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается даже в самом малейшем из своих несметных дел:

— Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

— Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар — зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели — в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались — и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоялый дворик на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахару табаку сигар и протчего».

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в говоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только

брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острее, чем прежде.

Неутомимо гонял он за становыми — в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгомами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с немой кухаркой, — «неплохо, ничего не разбершет!» — имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именье: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрился он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и говорили:

— Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Ча-

сто наставлял:

— Живем — не мотаем, попадешься — обротаем. Но — по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе трынки не отдам! Баловать — нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, — от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, — желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

— Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил — эмирский бухар какой!

Осенью возле постоянного двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку, темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в

кабаке:

— У-ух! И здорова же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

— Сахаром в уста, любезный!

— Либо она у тебя с нюхательным табаком?

— Вот и вышел дураком!

А в лавке было еще люднее:

— Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?

— Ветчинкой я, брат, нынешний год, благодаря Богу, так обеспечен, так обеспечен!

— А почему?

— Дешевка!

— Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

— Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

— А почему?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал.

— Нет-с, уж я своего добьюсь, — говорил он знакомым. — Без детей человек — не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него: что же это — одна приспала, другая все мертвых рождает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем, Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка — так смиренно и ласково-грустно, — темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими

гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники — и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, злоеющие или бессмысленные.

— «Любит ли меня мой муж?» — спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

— «Любит, как собака палку».

— «Сколько детей будет у меня?»

— «Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

— Дай-ка я кину...

И загадывал:

— «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

— «Считай во рту зубы».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидел жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

*Где мой дитяtko лежит?  
Где постелюшка его?  
Он в высоком терему,  
В колыбельке расписной.  
Не ходите к нам никто,  
Не стучите в терему!  
Он уснул, започивал,  
Темным пологом покрыт,  
Расцвеченною тафтой...*

И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела — только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

— Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но до-

рогой думал, что все равно Бог должен нака-  
зать его за то, что он, в суете и хлопотах, толь-  
ко под Светлый день бывает в церкви. Да и  
лезли в голову кощунственные мысли: он все  
сравнивал себя с родителями святых, тоже  
долго не имевшими детей. Это было неумно,  
но он уже давно заметил, что есть в нем еще  
кто-то — глупей его. Перед отъездом он полу-  
чил письмо с Афона: «Боголюбивейший бла-  
годетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение,  
благословение Господне и честный покров  
всепетой Богоматери от земного ее жребия,  
св. горы Афонской! Я имел счастье слышать о  
ваших добрых делах и о том, что вы с любо-  
вью уделяете лепты на созидание и украше-  
ние храмов Божиих, на келии иноческие. Ны-  
не хижина моя пришла от времени в такое  
ветхое состояние...» И Тихон Ильич послал на  
поправку этой хижины красненькую. Давно  
прошло то время, когда он с наивной гордо-  
стью верил, что и впрямь до самого Афона до-  
шли слухи о нем, хорошо знал, что уж слиш-  
ком много афонских хижин пришло в вет-  
хость, — и все-таки послал. Но не помогло и  
это, кончилась беременность прямо мукою:

перед тем, как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, Царица Небесная и несетя откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

— Подойдут собаки и голову нанюхают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходиться в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губы — особенно при фразе, не сходявшей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он молодился — носил щеголе-

ватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

— Прекращаем-с, прекращаем-с! — с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле. — Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

— Ох, посмотрю я на тебя! — стонала Настасья Петровна. — Договоришься ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

— Не испугаете-с! — отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями. — Нет-с! На всякий роток не накинешь платок!

И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

— И ржица-с радуется! Имейте в виду: всех радуется! Ночью-с — и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстро-

ился еще больше от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать — и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидеть вдали, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, подетски ослабевшего на утреннем холодке, бледного, как мел при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам

поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице — и над самой головой подняла ужасный рев корова...

— Каторга! — поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, марши и поль-

ки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечера по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом соевых жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевах и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый севастиопольский герой Хвостов — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапо-

гах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашенные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

— Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылился, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, свет-

логлазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи — и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» — и он шел. Орал квасник:

— Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

— Вот-от морожено! — тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе...

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел, ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи Боже, что за

край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей — ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек, — да все таких, что смотреть страшно и тошно, — прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой — в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободе прошло его детство, на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободе по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шесты у ворот,

а на шестах — бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру — похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки, — в очках, с клювом, с провалившимися губами — одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

— Здорово, бабка! — крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот. — Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

— Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкапывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения Богородицы над воротами и прибавил:

— Много вас тут теперь?

— Целых двенадцать старушек, батюшка.

— Что ж, часто ругаетесь?

— Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду — и очень помолодел. Молодила его и удобка после болезни. Молодил загар, — белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда за-

тихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой исто-  
тоте замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

*Какие страшные оброки  
Смерть собирает от людей!*

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что появилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжелых чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра» — такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо, и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе!» На железном, радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:

*Царю он честно послужил,  
Сердечно ближнего любил,  
Был уважаем от людей...*

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска, — все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле, — все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности Богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть, — те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины, дремлющих на припеке, увидел Тихон Ильич свежую детскую могилку,

крест, а на кресте двестише:

*Тише, листья, не шумите,  
мово Костю не будите! —*

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка, — лихо несутся уездные извозчики! — а в пролетке — городской охотник: у ног — пегая легавая собака, на коленях — ружье в чехле, на ногах высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодаря! Полдневное солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками,

шли толпы замученных усталостью и зноем богомолков. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

— Смирenniцы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошадаенок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, — рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

— У, нищebroды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрав окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся — и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдо-

гонку Тихону Ильичу:

— Дядя! Чеку́ потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете — «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей проносился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной — густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

— Разнуздай-ка лошадь-то, — сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнувший стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

— Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик. — Тыщу лет пьем! Да вода что — вот хлебушка нетути...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, — опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами, — любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание — только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Беда!» — подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час сле-

теть...

С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать — и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь полирует», — говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотою клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, — война с Японией и революция.

Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.

— Своей земли девать некуда! — строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. — Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

— Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхища-

ли убийства.

— Как дал этому самому министру под жилу, — говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, — как дал — праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. «Все жидаы работают! Все жидаы-с, да вот еще лохмачи эти — студенты!» И непонятно было: все говорят — революция, революция, а вокруг — все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

— Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! — говорил Тихон Ильич. И, забыв о «жидах», прибавлял:

— Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поровнять — это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет, — народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хво-

стом — вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось — стоит возле его лавки мужик и говорит:

— Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке — это можно, взять-то ее. А так — нет, нехорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит пары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

— Так. А если он не хозяин, а лодарь?

— Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

— Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть — будут и меньше пятисот брать! — и сразу овладевала душой рассеянность, придиричивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отврати-

гельным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы — «и отчего это так густы они у дураков?» — лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбы, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что, если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот — придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

— Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, — все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой, — и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе — березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все

понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугушка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, — конечно, кто поделнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его.

— Хоть бы картузишко-то купил себе! — кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашной рубахе, в коротких тяжелых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

— Здорово, Тихон Ильич, — сдержанно говорил он.

— Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

— Это... как сказать?.. неплохо бы. Да капитал-то, к примеру, не позволяет.

— Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от Господа Бога

желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

— О, господи! — вздыхая, бормотал он дрожащим голосом. — Деньги... У меня их, к примеру, и в заведенье-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радуется... Прямо надо сказать — не радуется!

Был Яков, как многие мужики, очень нервный, и особенно тогда, когда доходило дело до семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

— Не радуется? Скажи, пожалуйста! И все из-за бабы?

Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

— Из-за бабы, родимец ее расшиби...

— Ревнует?

— Ревнует... В снохачи меня записала...

И у Якова бегали глаза:

— Там нажалилась мужу, там нажалилась!

Да что — отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... покуришь маленько, чтоб на

груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку сигарку... Кабы не глянул — пропал бы!

— Что ж за сигарка такая?

— Костей мертвых натолкла да вместо табаку и всыпала...

— То-то малый-то дурак? Поучил бы ее по-русски!

— Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженная... Ухвачу за пельки — рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и наконец решался:

— Ну, а как у вас там? Все бунту ждете?

Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

— Ну! — скороговоркой бормотал он. — Какого там рожна — бунт! У нас народ смирный... Смирный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

— А сходка-то зачем в воскресенье была? — вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

— Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к

примеру...

— Знаю, о чем галдели-то!

— Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение — никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку — избы, на другом — усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетьюми!

Но «распоряжение» таки вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в Дурновке — сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью «самому черту рога сломать» Тихон Ильич крикнул «запречь в бегунки жеребчика» и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы

в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугунки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал кри-

ки, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник, — злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что выпало распоряжение «пошабашить это дело» — пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономий посторонних батраков, заступить на их работу местным, — по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

— А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

— Ты бродяга-то! — вопил он, наливаясь кровью. — Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня — черт! — у меня ее и всей-

то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

— Ну, помни-и, Митька! — крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. — Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз — и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

— С-стой, стерва! — сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. — Стой!

А издали доносились голоса, крики. И из всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш — и пистолет, забытый в шалаше сбе-

жавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что и правда совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с

Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»

В этот год Тихону Ильичу сравнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая, — стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами, — стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, — за ней так и осталась эта кличка, — была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дومتала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

— В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертного не пожалею!

Но Молодая молчала как убитая.

— Слышишь, что ли? — шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавленное в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, покрасневшее лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

— Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, потом... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости, — и понес в другую комнату, где была постель... И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее — ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой, коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на

«ВО»:

— Вы шо говорите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело.

Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

— Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

— Вы шо говорите? — спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой, — и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его

взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее, — стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «Склад у автора».

— Та-ак-с! — протянул Тихон Ильич, услышавши это. — Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

— Все честь честью, — ответил знакомый, твердо веривший, впрочем, — как и многие в городе, — что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение, и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, покрытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, пахнувший конюшной, половых в белых ру-

башках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол, и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

— Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он не просто.

— Спервоначально изложу я тебе, Тихон Ильич, — начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю, — изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал... — Он усмехнулся: — С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

— Я, видишь ли, — анархист...

Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут — никакого. Буду хозяйствовать исправ-

но, но, прямо говорю, — драть шкур не буду.

— Да и времена не те, — вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще, драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению то есть.

— Ох, имей в виду: зачитаешься — в кармане недосчитаешься! — сказал, потрянув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич. — Да, пожалуй, и не наше это дело.

— Ну, я так не думаю, — возразил Кузьма. — Я, брат, — как бы это тебе сказать? — странный русский тип.

— Я и сам русский человек, имей в виду, — вставил Тихон Ильич.

— Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но — иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за-ради бога, что вы — русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмурившись, побарабанил пальцами по столу.

— Это-то, пожалуй, правильно, — сказал

он. — Дикий народ. Шальной.

— Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету, — ну и что ж? — прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив, — покосился Кузьма на брата, — так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что?

— Как же так — толку что? — спросил Тихон Ильич.

— Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

— Нам, брат, видно, не до этого, — сказал Тихон Ильич. — «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!»

— Лаптей! — едко отозвался Кузьма. — Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татары, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало — монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

— Верно! — сказал Тихон Ильич. — Давай-ка лучше об делу поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

— В церковь я не хожу...

— Значит, ты молокан? — спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!»

— Вроде молокана, — усмехнулся Кузьма. — Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да нуждишка, — и совсем забыл бы.

— Ну, это не я первый, не я последний, — возразил Тихон Ильич, нахмурившись. — Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

— Говоришь привычное! — сказал он строго, — А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул — и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это», — подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о Боге, о жизни, и он сказал первое, что подверну-

лось на язык:

— И рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Вот, вот, вот! — подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу. — Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а за-сим говори дело...

Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

— Ну, значит, так, — не стать перетакивать! — и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

— Вот! — сказал он. — Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманнные, давнишние... Но делать

нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его — автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

— А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. Блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи, — важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

— А у нас, Кузьма Ильич, — сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился, — а у нас одна песня...

И неприятно, горько дернул губою:

— У нас одна песня: что́ почем?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно, — она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать, — противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, щелкал на счетах. Смиловивился он только в одном — не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделяваясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да покуда сойдет!» И, возвратясь на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением,

весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась, — сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугушки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок», — пригласили Козу и Молодую, всю ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь,

связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них, — после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада, — то увидела, что Молодая, по пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сравнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть — никто не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь, — опять выбившись из колеи! — ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кон-

чилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее — убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубашу сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

— Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

— Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али маль-

чишку дерет как сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.

— Имей в виду, — горячо перебил Тихон Ильич, — охальников всегда и везде было много.

— Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

— Мотю Утиную Головку, что ли? — спросил Тихон Ильич.

— Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю — в бочке сахарной. Начальство знакомое — ну, и доставили. А на бочке написали: «Осторожно. Дурак битый».

— И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! — горько продолжал Кузьма. — Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, — грех великий. Сам Дух Святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в

комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор — жестяная труба в верхнем углу окна — был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, крутиться и скучно-скучно ныть — «как в волостном правлении», — думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

— Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю считаешь — волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпустил черева на́ землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха — «лихая да алчная», свекор — «лютый да придирачивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи, ровно сука на цепи», золовки — непременно

«псовки да кляузницы», деверья — «злые насмешники», муж — «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла», к муженьку же обращается с такой речью: «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помой — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися»... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»...

— Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? — насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

— Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот... сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

— Стой, — перебил Тихон Ильич, — а как поживает сам Серый?

— Дениска говорит — «с голоду околевает».

— Стерва мужик! — сказал Тихон Ильич убежденно. — И ты мне про него песен не пой.

— Я и не пою, — сердито ответил Кузьма. — Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток — видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и *сожрет его весь под тобой...* То-то смеху было!» Заметь! — строго крикнул Кузьма, останавливаясь: «То-то смеху было!»

— Да постой ты, Христа ради, — опять перебил Тихон Ильич, — дай мне про дело-то слово сказать!

Кузьма остановился.

— Ну, говорит, — сказал он. — Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать — вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне, в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мок-

рыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще наворачивается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел наконец к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у

коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки — и в испуге остановился.

— Далдо-он! — говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо, подражая ему, Тихону Ильичу, но больным, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящичку с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. — Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

— А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

— Не наша дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело — сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили. Молодая голосила, прово-

жая гроб, так искренно, что была даже неприлична, — ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда, — и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников — нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» — до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые — кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, «олух царя небесного». А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе — одиннадцать лошадей, а на стойле — сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый, — мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон

Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: «Поддаешь письмо — руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв брови, он глянул на него и подумал:

«Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи».

И дружелюбно крикнул:

— С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и по-здоровался.

— Ну, какое там поле! — сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами. — Так, прошелся ради геморроя, — сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

— А имейте в виду, — с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами, — имейте в виду: совсем опустели наши пале-

стины! Звания не осталось — что птицы, что зверя-с!

— Леса везде вырубili, — сказал почттарь.

— Да еще как-с! Как вырубili-то-с! Под гребеночку! — подхватил Тихон Ильич.

И неожиданно прибавил:

— Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки недаром. «Все линяет, — думал он, — вот как скотина после долгой и трудной зимы...» И, простившись с почттарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями — озимями, пашнями, жнивьями и коричневыми перелесками — темнело. Сумрачное небо все ниже опускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило, — верно,

простыл, стоя вечером на шоссе, — чуйка, которой он прикрылся, сползала на пол, и тогда снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжелых телегах, на злых вороних битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник — он показывал три, — поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колокол над ними, — приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убегал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти,

глянуть, — что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться, встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косо́й дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Наконец стукнула дверь, понесло сырым холодом, — караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светло, окошечки были потные.

— Протопи, протопи, братуша, — сказал Тихон Ильич си́плым со сна голосом. — Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник.

— Ай язык-то корова отжевала? — сипло

крикнул Тихон Ильич, слезая с постели. —  
Что под нос-то бубнишь?

— Цельную ночь шатался, теперь — кор-  
мочку давай, — пробормотал старик, не под-  
нимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

— Видел я, как ты шатался!

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую  
дрожь в животе, вышел на истоптанное кры-  
лечко, на ледяную свежесть бледного ненаст-  
ного утра. Всюду налило свинцовых луж, все  
стены потемнели от дождя. Чуть моросило,  
«но, верно, к обеду опять польет», — подумал  
он. И с удивлением глянул на лохматого Буя-  
на, кинувшегося к нему из-за угла: глаза бле-  
стят, язык свеж и красен, как огонь, горячее  
дыхание так и пышет псиной... И это после  
целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по  
грязи, обошел, оглядел все замки. Потом при-  
вязал его на цепь под амбаром, вернулся в се-  
ни и заглянул в большую кухню, в избу. В из-  
бе противно и тепло воняло; кухарка спала на  
голом конике, закрыв лицо фартуком, выста-  
вив кострец и подогнув к животу ноги в ста-

рых больших валенках с толсто натоптанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

«Связался черт с младенцем! — подумал Тихон Ильич с отвращением. — Ишь, всю ночь распутничала, а под утро — на лавочку!»

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

— Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше щиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь — все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал

возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

«Скука!» — подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

— Что ж по грязи-то тащишь, старая транда?

Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

— От транды слышу.

Тихон Ильич быстро оглянулся, — вышел ли малый, — и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

— Вон! — крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел. — Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота — и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засы-

пал ему свежего овса, — вчерашний он только перерыл, переслюнявил, — и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

— Готово, что ли? — крикнул он, приотворив дверь.

— Поспеешь! — огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слышал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где над табуреткой с оловянным тазом был прибит медный ручной мойник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя ручной мойником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

— Вот так работнички! Скажи ты ему слово — он тебе десять! Скажи ему десять — он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей, много! К зиме-то, брат,

жрать захочешь — придешь, сукин сын, приде-ешь, покло-о-нишься!

Утирка висела возле рукомойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

— Ох! — сказал он, закрывая глаза и трясая головой. — Ох, Мати Царица Небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево, — в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми, и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев Русско-турецкой войны, а внизу была подпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там, направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево

белела печь-лежанка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной — и получили очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель; над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем венчальная шкатулка Настасьи Петровны...

— В лавку! — крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера — и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

— Здорово, Ильич, — сказал, кивая мокрой маньчжурской папахой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

— Здорово, — кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестящий из-за раздвоенной губы мужика. — Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

— Лба не дадут перекрестить, собаки! — бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом, — великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и глазами Московский Кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнущего распаренным веником.

«Лба не дадут перекрестить, — думал он, страдальчески морщась. — Зарезали, будь они прокляты!»

Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задребезжавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано: «Его же и монаси приемлют»...

— Ай не надо? — сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахара. Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

«Не до леригии нам, свиньям!» — подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил:

— Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и

не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на Московский Кремль.

— Страм сказать! — пробормотал он. — В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоянный двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что — Москва! В березовый лешишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени, — да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковин. Вот, на полу (посреди густой ржи) лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился

тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых козоворотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах, — Бучнев, Выставкин и Богомоллов. Выставкин, тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомоллов — по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор, — когда приезжали архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом золотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-

соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкаина... А через пять, десять лет так же будут говорить и про Тихона Ильича:

— Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от нагретой печки, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром, — значит, на дворе свежело. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов, — и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны слышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту — и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к ко-

рыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жвавший по два дня куска хлеба... А теперь?

— Твою биографию жизни описать следует, — насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

— Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне — нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло, — опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В об-

цем деннике — три дойных коровы, в отдельных — красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу — и сам черт не придумает что! Жеребец просунул морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

— Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб — шла крупа — и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подбивкой, пшеничную кашу... Лицо покраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь, — только стащив ногу об ногу грязные сапоги, — он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу — тоже... или нет, лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспишь, если дашь себе

волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал — и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались...

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой — сам Макар Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макаркой — так и звали все: «Макарка Странник» — и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе — в лаптях, скуфье и засаленном подряснике — и зашел. В руках — высокая палка, выкрашенная медянкой, с крестом на верхнем конце и с копьем на нижнем, за плечами — ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо — широкое, цвета замазки, ноздри —

как два ружейных дула, нос — переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший сигарку за сигаркой и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключаящим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон — за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын».

И Тихон Ильич оставил его у себя — за подручного. Скинул с него бродяжью одежду и оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями — настолько зловещими, что его посещения стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь под окно, заунывно затянет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку пыли — и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одежде и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, которая была

в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его как беглого каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело заливался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, властное и грозящее.

*Расплатится мать сыра-земля, разрыдается! —*

заливался слепой.

*Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! —*

убежденно вторил Макарка.

*Перед Спасом, перед образом, —*

вопил слепой.

*Авось грешники покаются! —*

угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

*Не минуют суда Божьего!*

## *Не минуют огня вечного!*

И вдруг оборвал, — в лад со слепым, — крикнул и просто, своим обычным дерзким тоном приказал:

— Пожалуйста, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но, взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал внезапный холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам и падающего человека, была подпись: «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией».

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

— Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и — с богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со слепым возле крыльца, два фунта кренделей, пару селедок и повторил еще стро-

же:

— С господом!

— А табачку? — нагло спросил Макарка.

— Табачку у самого к одному бочку, — отрезал Тихон Ильич. — Меня, брат, не перебре- шешь!

И, помолчав, прибавил:

— Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни!

Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

— Человек божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

— Расстрелять вернее, — ответил слепой серьезно. — Тут, по крайности, прямая сообще- ние.

Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомни- лись лето, бунт. Молодая, брат, жена... И то, что еще до сих пор не платил по квиткам за

рабочую пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая Бога во свидетели, что у него «во всем доме две трынки, хоть обыщи!» — и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим показался ему этот обычай теперь. Беспощадно строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в непрерывных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умен эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать — кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молодецкий! Сколько его сверстников на том све-

те! А от смерти да старости — спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он всем близким — и живым и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал:

— Мою жизнь описать следует...

А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство; так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды — секли. Плеточку со свистулькой подарили — и несказанно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то — ласково, с грустью в голосе:

— Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Мионов, Тихон Ильич кормил бы старика из ми-

лости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать? — и он ответит: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем, — гуртуют, воркуют, трепещут крыльями, — а они с братом бычьим хвостом подхлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторин был тогда молод, крепок, сизо-красен, с чисто выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и глубокою картузе от лавки к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

— Мы — люди маленькие: выпили, закуси-

ли, расплатились — и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его, жалко улыбается:

— Никак ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью, — брата родного: «Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням и проселкам?»

— Постарел ты, брат!

— Есть малость.

— А раненько!

— На то я и русский. У нас это — живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

— Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей, — например, купец Рукавишников, — рассказывали... Да и без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели, — и не только по пьяному делу, — все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из

семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными, — вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибирать... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрасиваний гость лишнего стакана не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, резвые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и ведра расставляют, — сквозь потолки как сквозь решета льет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак, с чемоданом? Ох, и дурак же, прости ты, Господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубокодохнув све-

жим воздухом предзимних синеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку... Да, вот тоже семейка — Серый с сынком! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидал Дурновку, свою усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут — «ужинать!» — и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи боже! Если отравила — что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытой душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по кособоку за оврагом, на риги и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте, — железнодорожная будка. В сумерки мимо нее проходит поезд — бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится уютней — и неприятное

чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, слепнут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избу...

— Нет, грешно! — твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места. — Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу, — сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душистее тянуло от вокзала запахом самовара. Чаще блестели там огни, звучно громыхали бубенчики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки мужиков-извозчиков, их крохотные тележки на полурассыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью, — смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дверь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо, на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было, — с Денис-

кой.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял на крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень короткие. Теперь, при низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

— Денис? — окликнул Тихон Ильич. — Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышинного цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза красивые.

— Здравствуйте, Тихон Ильич, — ответил он певучим городским тенорком и, как всегда, как будто застенчиво. — Еду... В эту самую... В Тулу.

— Это зачем же, позвольте спросить?

— Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке — чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

— А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

— Поддевка-то? — скромно спросил он. — Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку себе куплю, — сказал он, называя венгерку вендеркой. — Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан:

— А это что ж за штука такая?

Дениска опустил ресницы:

— Чумадан себе купил.

— Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! — насмешливо сказал Тихон Ильич. — А в кармане что?

— Так, кляповинка разная...

— Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич взял и внимательно переглядел их.

Песенник «Маруся», «Жена-развратница», «Невинная девушка в цепях насилий», «Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям», «Роль...».

Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

— Роль проталерията в России.

Тихон Ильич качнул головой.

— Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

— Да авось не имение купил, — ответил Дениска с грустной усмешкой. — А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался стационарный сторож, — седой отставной солдат с свистящей и хрипящей одышкой, — и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с сальными волосами.

— Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять...

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

— Спер, верно, где-нибудь? — спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

— И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

— Пустой...

— С места-то прогнали?

— Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

— Живой отец! — сказал он. — Тот тоже всегда так-то: наладят его в шею, а он — «я сам ушел».

— Глаза лопни, не брешу.

— Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?

— Был две недели.

— Отец-то опять без дела?

— Теперь без дела.

— Теперь! — передразнил Тихон Ильич. — Деревня стоеросовая! А еще революцанер. Лезешь в волки, а хвост собачий.

«Авось и ты-то из тех же квасов», — с усмешечкой подумал Дениска, не поднимая голо-

ВЫ.

— Значит, сидит себе Серый да покуривает?

— Пустой малый! — убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

— Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

— Стар кобель, да не батькой звать, — ответил Дениска спокойно. — Отец — так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой разговор. И, не слушая, перебил:

— А на билет-то до Тулы есть?

— А на кой он мне, билет-то? — ответил Дениска. — Приду в вагон, — прямо, Господи благослови, под лавку.

— А книжечки-то где рассчитывать? Под лавкой-то не рассчитаешься.

Дениска подумал.

— Она! — сказал он. — Не все ж под лавкой. Залезу в нужник, — читай хоть до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

— Ну, вот что, — начал он. — Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький, дурак. Вали-ка назад, на Дурновку, — пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вон... надворные советники лучше живут, — сказал он, разумея дворовых собак. — Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товаришко там, на струмент... И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного подавать.

«К чему это он гнет?» — подумал Дениска.

А Тихон Ильич решился и закончил:

— Да и жениться пора.

«Та-ак!» — подумал Дениска и не спеша стал завертывать сигарку.

— Что ж, — спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц. — Я каляниться не стану. Жениться можно. По приституткам-то хуже ходить.

— Ну вот то-то и оно-то, — подхватил Тихон Ильич. — Только, брат, имей в виду, — жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

— Чего гогочешь-то?

— Да как же! Водить? Вроде кур али сви-ней.

— Не меньше кур и свиной есть просят.

— А на ком? — с печальной усмешкой спросил Дениска.

— Да на ком? Да... на ком хочешь.

— Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.

— Дурак! А Молодая чем плоха? Баба сми-рная, работающая...

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестя-ную шляпку на чемодане. Потом прикинулся дураком.

— Их, — молодых-то, — много, — сказал он протяжно. — Не знаю, про какую вы балакае-те... Про эту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

— Жил я ай нет, — это не твоего, свинья, ума дело, — ответил он и так быстро и внуши-тельно, что Дениска покорно пробормотал:

— Да мне одна честь... Я ведь это так... К слову...

— Ну, значит, и не брещи попусту. Людьями сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

— Вот съезжу в Тулу... — начал он.

— Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

— Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки, — решил было дать Дениске двугривенный. Но спохватился, — глупо деньги швырять, да еще и зазнается этот толкач, подкупают, мол, — и сделал вид, что ищет что-то.

— Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

«Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно».

— Ловко, — сказал он, прочитав.

Дениска застенчиво потупился.

— Значит, уж есть краля-то?

— Мало ль их, сук, шатается! — ответил Дениска беспечно. — А жениться я не отказываюсь. Ворочусь к Мясоеду, и Господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом

подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом Говоровым посредине, в соломе.

— Ушел? — тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

— Поезд-то? — спросил Тихон Ильич. — Нет-с, еще и не выходил-с.

— Ага! Ну, слава богу! — радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

— Ну, стало быть, так, — сказал Тихон Ильич. — Стало быть — до Мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, махоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках — извозчики из Ульяновки, дожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на

весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнявший должность помощника начальника станции, — молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым желтым коком, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске, — и крупной дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойнтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

— Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич, — сказал он еще застенчивее, чем всегда.

— Что еще такое? — сердито спросил Тихон Ильич. — Денег? Не дам.

— Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

— Письмо? К кому?

— К вам. Хотел давеча отдать, да не насмелился.

— Да об чем?

— Так... житье свое описал.

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упругой, застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять надо корм скотине задавать. Вот жалко — погорячился. Жмыха прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небось спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью слышался смех, потом голос Оськи:

— А то вот еще история была. Жил на селе мужик — бедный-пребедный, беднее во всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись за ним кобель рябый. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все чтой-то роет. Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в яму, а там — чугуун...

— Чугуун? — спросила кухарка.

— Да ты слушай. Чугун-то чугуун, да в чугуун-то золото! Видимо-невидимо... Ну и забога-

тел мужик...

«Ах, пустоболты!» — подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

— Забогател мужик, расстроился, как купец какой...

— Не хуже нашего Тугоногого, — вставила кухарка.

Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

— Еще побогаче... Да... А кобель-то возьми да околей. Как тут быть? Мочи нет — жалко кобеля, надо его честь честью похоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик и еще кто-то — со старческим кашлем.

— Никак, Жмых! — встрепенулся Тихон Ильич. — Ну, слава богу. Ведь говорил дураку: верне-ешься!

— Пошел мужик к попу, — продолжал Оська, — пошел к попу: так и так, батюшка, кобель окошел, надо хоронить...

Кухарка опять не выдержала и радостно

крикнула:

— У, пропасти на тебя нету!

— Да дай досказать-то! — крикнул и Оська и опять перешел на повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

— Так и так, батюшка, надо кобеля хоронить. Как затопают поп ногами: «Как хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в кандалы забью!» — «Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам пятьсот целковых отказал!» Как ускочит поп с места: «Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хоронить? За то браню — где хоронить? Его в церковной ограде надо хоронить!»

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки, разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами, кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Оська, с сигаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел ого-

нек — трубка. Когда Тихон Ильич дернул дверь и показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с места, вынул ее изо рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

— Ребят! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засыпая на бегу, бежали куда попало. Большие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестя и глядели странно и великолепно. От дыхания шел пар — точно все курили. И когда Тихон Ильич опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон

Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку лучше — неплохо перед чаем-то подсолонцевать! — и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, нашел в кармане письмо Дениски и стал разбирать его каракули.

«Деня получил 40 рублей денег патом собрал вещи...»

«Сорок! — подумал Тихон Ильич. — Ах, голоштаный!»

«Пашел Деня на станцию Тула и как раз ево обабрали вытащили Все докопеки детца некуда и Взяла его тоска...»

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светила лампа — и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделявала на морозном воздухе плясовую...

«Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозен...»

«Ну и дурак же, прости, господи! — поду-

мал Тихон Ильич. — Это Серый-то грозен!»

«Пайду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку определится на ней навечную жизнь вновых брюках но безсапох...»

— Без сапог, что ли? — сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку. — Вот что правда, то правда...

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы — ну, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о княжне и о какой-то благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, вдадины на шее за ушами... Первый знак старо-

сти эти впадины, — лошадиной становится голова! Да и прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить, — кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы, — тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

*Пришел мой скучный вечер,  
Не знаю, что начать,  
Пришел мой друг любезный,  
Он стал меня ласкать...*

Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют... Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

*Целует, обнимает,  
Прощается со мной...*

Голову туманило, — то казалось, что все еще впереди — и радость, и воля, и беззаботность, — то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

— Были б денежки в кармане, — будет те-тушка в торгу!

То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

— Учитель! Проповедник! Филарет милосливый... Голоштанный черт!

Он допил рябиновку, накурил так, что потемнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пиджаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидел два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге...

— Буян! — позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блестели разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно из-

под земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался наружу и загудел окрест: бело блистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, несся вдали, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

— Это мимо Дурновки-то! — сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, внесла сальный чугуничок со щами, захватив его в черные от сала и сажи ветошки. Тихон Ильич покосился и сказал:

— Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы и сонно, мрачно глядя в стол.

## II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с

небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоковницей».

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя и оправдывал.

Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калош Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда не было, — уж какие там калоши в Слободе! — что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплеывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольнодумец и чудак, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кри-

чал: «Я тебе уши оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий!»

Там Кузьма и писать стал, — начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью, по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей несправедливой и «так рано пресекшейся жизни...». Но базар без пощады окатил его холодной водой:

— Ну и дурак же ты, прости господи! «Рано»! Давно пора черту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал кольцовским ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня. «Он носил меня в моей младости!» — восклицал в песне витязь.

— Так! — сказали ему. — Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил, ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар, — о Русско-турецкой войне: о том, как

—  
*В семьдесят седьмом году  
Вздумал турка воевать,  
Подвигал свою орду  
И хотел Россию взять, —*

и как эта орда —

*В безобразных колпаках  
Подкрадалась под Царь-Пушку...*

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торгашить. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил по-прежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин, читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что «кто умен, да не учен, в том без ученья много света». Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал безграмотную

надпись на плите ее: «Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежского алесея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию *просвещенного без наук природою...*»

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого картуза, большелицый, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту сторону, куда был скошен и рот его. И как рывкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы «о просвещении без наук», как сверкнул этим глазом, отшвырнув сигарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

— Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумали, что значит это наше «без наук просвещение»?

И опять схватил сигарку и стал глухо реветь:

— Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева

удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь, правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

— Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

— Не смей призы раздавать! — опять крикнул Балашкин.

— Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа. Платон Каратаев — вот признанный тип этого народа!

— А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу тряхнуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев с Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лихоимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой

негодяй-братец?

— Платон Каратаев...

— Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

— А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

— Что-о? А Колизей, хрестовые походы, войны леригиозные, секты несметные? Лютер, наконец того? Нет, шалишь! Мне-то сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно — учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества — и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастьем казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на Торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Добрая и страшная улыбка Балашкина при виде подходящего Кузьмы... Потом — громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друг

друга именами, цитатами... И самые безнадежные выводы — в конце концов. «Теперь-то уж и впрямь шабаш, — во весь дух ломим назад, в Азию! — гудел старик и вдруг, понижая голос, озирался: — Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят...» А наутро — опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали, сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги — пыли и дегтя... Запах мятных пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика... Поистине изнурили эти годы, — по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пяток, ночевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять нужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой

женой — туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже — возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статейки по хлебному делу, отводя или, вернее, растравляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи Балашкин, а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

— Писать надо, — хмуро и зло жаловался один. — Вянешь, как лопух в поле...

— Да, да, — гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в сигарку. — Сказано: каждый час учись, каждый час мысли... гляди кругом-то — на все беды и убожества наши...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил сигарку и полез в столик.

— Вот, — забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из газет. — Вот тут, друг, куча добра... Я все почиывал, да вырезывал, да записывал... По-

мру — годится тебе, матерьял о русской жизни дьявольский. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну историйку...

Но рылся, рылся — и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам — и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

— Да нет, нет, — этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби дерево по себе. На энту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? Нет еще! Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

— Про деревню бы надо, про народ, — сказал Кузьма. — Вот сами же говорите: Россия, Россия...

— А Сухоносый не народ, не Россия? *Да она вся — деревня, на носу заруби себе это!* Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо каждый вечер по улицам прет — от пыли соседа не видать... А ты — «город»!

Сухоносый... Много лет не выходил из головы Кузьмы этот гнусный слободской старик, все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью салопе — в наследстве после жены. Он

побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у торговки из «обжорного ряда» и, по мнению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как зеницей ока — и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого: «Нынче таких салопов-то уж нетути!» Он не прочь, совсем не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом слободы, воспоминаниями детства, молодости — и запутывался, топил Сухоносова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его собственную жизнь. А в этой жизни страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой разменивается на мелочи...

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, потом, когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на остановке в Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался — и увидел красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекал трех покорно, но упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в несокрушимых сапогах, в коричневых бараньих шапках. Шапки

эти едва держались на чем-то страшном — на круглых головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без копейки денег. И, узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, под одобрительные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась ему глухим краем, с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, бороной, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытавшие рукопашную схватку с бешеным зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками, Кузьма восторгался: «Ах, и время же было!» Он задохнул-

ся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилала глаза Кузьмы. «А непротивление?» — вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, обедал молоденький чистенький офицер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. «И подойду! — думал Кузьма. — А вскочит, крикнет — в рыло! Вот тебе и непротивление...» Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончалась, народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв глубоко запавшие гла-

за, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калеки-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке держал он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все пере-кладывал, как чужую, как вещь, свою уродли-вую, обнаженную до колена правую ногу, вя-лую, неестественно тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, но, сонно и болезненно отки-нув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сопли, мальчишка непрерывно тянул:

*Взгляните, мамыши,  
какие мы есть несчастные, стра-  
дащие!  
Ах, не дай Господь, мамыши,  
таким страдающим быть!*

И Кузьма поддакивал: «Так, так! Правиль-но!» В Киеве он ясно понял, что у Касаткина

держаться ему осталось теперь недолго и что впереди — нищета, потеря лика человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши; ночевал целую зиму в общем номере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдеича на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею — на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдеича и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутком стал! Раз стоял он на базаре возле мучных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

*Кто пьянствует с похмелья,  
тот действует умно...*

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

*Да здравствует веселье,  
Да здравствует вино!*

А проходившая мимо старуха-мещанка, похожая лицом на старую львицу, остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, отдельно, зло сказала:

— Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков — и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. «Да, да, — думал он, — давно пора!» И правда, нужен был отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка, поределли, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще хуже стало широ-

кое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вокзал, за Пушкарную Слободу, и, качая головой, морщась от сигарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

— Всеобщая забастовка!

— Опоздал, малый, — сказал Кузьма. — Поздней-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

— Новые городской на вокзале отнял, — ответил он.

— Ай да конституция! — едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами,

под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходивших под гору, в конец городской улицы. «Чудеса в решете!» — думал он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу — толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как «Муромцев отбрил премьер-министра»... Ну, да ненадолго лягушке хвост! В городском саду играет оркестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «арихметику». Старик-извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

— Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! — тонкими голосами завопили за Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья. — Там кошек дерут, ему лапку дадут!

— У, паршивые! — цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели. — Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых внешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызущую во рву кость...

«Да, да, — думал он, поднимаясь на гору. — Ненадолго лягушке хвост!» Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражники играли «Тореадора» и «Возле речки, возле моста», «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди га-лопа: «Эй, мила-и!» — вернулся и стал зво-

нить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремящую проволоку — ни души. Ни души и кругом, тишина, сумерки, холодное зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой — тучи... Наконец плетется кто-то за воротами, кряхтит. Гремит ключами и бормочет:

— В отделку охромел...

— Отчего это? — спросил Кузьма.

— Лошадь убила, — ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил: — Ну, теперь еще двое осталось.

— Это судейские, что ли?

— Судейские.

— А не знаешь, зачем суд приехал?

— Депутата судить... Говорят, реку хотел отравить.

— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

— А чума их знает...

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорах. В руке у старика была длинная ореховая палка, и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем

был, — взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Сырой, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» — пришло ему в голову восклицание Гоголя. «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище — „депутат хотел реку отравить“... Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего — несчастный!..» И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы — внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдеича на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, выдавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича, — и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в

дальнюю комнату, где народу было меньше, сел за столик, спросил бутылку меду. Под ногами, на затоптанном и заплеванном полу — ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав на себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. «Ну, залетел! — восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить — в оправдание: — У меня, господин, брат тут служба... Брат родной...» И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел!» Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: «Ну, прощай!» — поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневай-

тесь...»

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цены на хлеб Бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель — никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ, все жадный до весенних дождей: хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаянии. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свои чемоданы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

— Позвольте, господа! Вот вы говорите — свобода... Вот я служу письмоводителем у по-

датного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорят: «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его...

— Взгляды? — альтиком карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылками, мучник Черняев, все время косивший на него свинными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил:

— Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты с голоду околевал, не хуже отца своего побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

— Кон-сти-ту-у-ция, — тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, жел-

тое, плотное, губы тонкие... Да хорош был и Полозов — учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свежее-зеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидел на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах — бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум:

— С богомолья?

— Из Воронежа, — с милой готовностью ответил слабым криком странник.

— Жгут там помещиков?

— Жгут...

— И чудесно!

— Ась?

— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать сигарку... Но мысли опять спутались. «Странник — народ, а скопец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей — до Казакова было двенадцать верст, — потом пять с полтиной. Наконец один сказал: «Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не преждее... — Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: — Опять же корма доро-

гие...» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошаденка — ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, держа веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанном оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей — пахарь времен царя Гороха! — лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сильный.

— Как тебя зовут? — спросил Кузьма.

— Звали Ахванасьем...

«Ахванасьем!» — подумал Кузьма с сердцем.

— А дальше?

— Меньшов... Н-но, анчихрист!

— Дурная, что ль? — кивнул Кузьма на горло.

— Ну, уж и дурная, — пробормотал Мень-

шов, отводя глаза в сторону. — Квасу холодно-го напился.

— Да глотать-то больно?

— Глотать — нет, не больно...

— Ну, значит, и не болтай попусту, — сказал Кузьма строго. — Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый небось?

— Женатый...

— Ну, вот видишь. Пойдут дети — и наградишь ты их всех в лучшем виде.

— Уж это как пить дать, — согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. «Но-но... Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:

— Собрали, купец, Думу-то ай нет?

— Собрали.

— А Макаров-то, говорят, жив, — только не велел сказывать...

Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» — думает он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и огляды-

вая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах — синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов — темная, густая... Но избы — глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб — разошедшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба — все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном палочка и по ней вверх — рогульки, елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами. «Творчество! — ухмыльнулся Кузьма. — Пещерные времена, накажи Бог, пещерные!» На дверях пунек — кресты, написанные углем, у крыльца большой могильный камень, — видно, дед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колени, на крыльце лежит свинья. Окошечки крохотные, и в каждой половине избы небось темнота, вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья большая, детей много, зимой — ягнята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети

хнычут — и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются — «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!» — желают друг другу «подавиться куском на Велик день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями...

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикиванья.

— Гуляет народ, — задумчиво сказал Менъшов.

— Это с какой радости? — спросил Кузьма.

— Надеется...

— На что?

— Известно, на что... На домового!

— И-их! — крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

*Не пахать, не косить —  
Девкам жамки носить!*

И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно — и лапти, и онучи, и новые тяжелые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: «Расступись, дай купцу глянуть!» — и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

— Сынок! Желанный! — вопила, среди галма и дробного топота, старушка в поневе, протягивая руки. — Будя тебе за-ради Христа! Желанный, будя — помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кула-

ки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

*Цыцц, бабка, не кукуй...*

— А она и так последние холсты для него продала, — говорил Меньшов, тащась по выгону. — Любит она его без памяти, — дело вдове, — а он, почесть, каждый день мордует ее, пьяный... Знать, того стоит.

— Это каким же манером — «того стоит»? — спросил Кузьма.

— А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик — краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые...

— Это Чучень, — сказал Меньшов, кивая на больного. — От живота второй год помирает.

— Чучень? Это что ж — прозвище?

— Прозвишша...

— Глупо! — сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба... А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобыльником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синевший на горизонте, — две длинных лоцины, заросших дубняком, — назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым завромом. В голову сту-

чали градины, летели лепешки грязи, в колесах, под колесами, шумела вода, где-то блеяли ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами стояли две зелено-фиолетовых дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло — жильем.

— Где тут господский двор? — крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубахе и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

— Двор? — повторила баба. — Чей?

— Господский.

— Чей! Ничего не слышать... А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! — крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что

та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо и мимо чьей-то старосветской усадьбы с забытым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покато выгоне, — темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками, — обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста, — кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но-о?» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно про-

стирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. Отчаяние было в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети — мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.

— Это Мишка Сиверский, — громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей. — Его сожгли вчерась... Видно, стоит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье — умер ребенок, — и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к

людской, заплаканная, серьезная старостиха несла от сада рябую курицу, смиренно сидевшую у нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:

— Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

— Резать, — ответила старостиха серьезно и печально.

— Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор — и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочком шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:

— Тебе что?

— Насчет сада, — сказал Кузьма.

— Федор Иваныча подожди.

— А где он?

— Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна — гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, по ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе — и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть,

чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» — подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что «сад давно сдаден», а на просьбу о ночлеге только нагло изумился. «Однако ты умен! — крикнул он. — Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается...» Но смиловившись — разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализами, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покатой аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темно-рыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.

— Ишь, ишь! — насмешливо говорил он на ходу, прислушиваясь к вокализам. — Ишь,

раздолевается!

— Кто раздолевается? — спросил Кузьма.

Мужичок поднял голову и приостановился.

— Да баггчук-то, — весело сказал он, сильно картавя. — Говорят, семьей год так-то!

— Это какой же — что курицу рубил?

— Н-нет, другой... Да это еще что! Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, завтра я» — прямо бяда-а!

— Учится, верно?

— Хороша ученье!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело толщее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками — ястребиные. Опустит веки — обыкновенный дурачок, поднимет — даже жутко немного.

— Ты в саду сидишь? — спросил Кузьма.

— В саду. А то где ж?

— А как тебя зовут?

— Меня-то? Аким... А тебя?

— Я сад хотел снять.

— Вона... хватился!

И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытьи, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнувшихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «куриной слепотой» — от

худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпaeмый ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокочущим небом проносился сырой ветер. Под

ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.

— Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил, — притворно-просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму, приглашая и его послушать Акима.

— Вот погоди, — рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу. — Вот отживем у хозяина лето — сапоги тебе со скрипом куплю.

— «Со скггипом!» Да я у тебя не прошу.

— А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу. Пекарь смутился и вздохнул.

— Уж где нам сапоги носить!

— Да будет вам, — сказал Кузьма, — вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?

— А тебе что ж — рыбки, ветчинки захотелось? — спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку. — Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

— А щи, похлебку варите?

— У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь — шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

— А ведь это ты от болезни так зол! Получился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь — на пне под липой. Услыхав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

— А я так полагаю, — сказал он покорно и грустно, — что не иначе, как все Господь. Не даст Господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

— Доктора! — подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!.. — Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!

— Не все блюдут, — сказал Кузьма.

— Я всех не видал.

— Ну, и не бреши, если не видал, — строго сказал Митрофан.

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

— Что? Это я-то не бреши? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь ден сидел, — много он мне булок-то давал, доктор-то твой? Много?

— Да дурак, — перебил Митрофан, — булки не всем же полагаются: это по болезни.

— А! По болезни? Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! — крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку,

и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугуничком. «Милости просим», — сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотой. Соловьи смолкли, сладко и сильно цокал и рассыпался только один — над самым шалашом. «Даже не спросили, кто я, откуда? — думал Кузьма. — Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул в шалаш:

— Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда?

— А на что ты мне нужен-то? — ответил Аким.

— Я вот его о другом спрашиваю, — слышался голос пекаря, — сколько он от Думы земли чаёт получить? Как думаешь, Акимуш-

ка? А?

— Я не письменный, — сказал Аким. — Тебе из навозу видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

— Это он насчет нашего брата, — заговорил Митрофан. — Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

— Выйдет за город, — радостно подхватил Аким, — и — в навоз! Зароется не хуже свиньи, и горя мало.

— Дурак! — отрезал Митрофан. — Чего хочешь? Застигнет бедность — зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

— А-а! Бедность! По часам захотел работать!

— А как же? — бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами. — Двадцать часов за двугривенный?

— А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже

жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

— Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли — жену за пятиалтынный продал? Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничал, ну, а теперь на покое и очень любит это дело...

— Аким, значит, тоже липецкий? — спросил Кузьма.

— Из деревни Студенки, — равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

— При брате живет, — подтвердил Митрофан. — Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала — как раз от этого от самого: сторговался с Панковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть, — и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и

теперь что-то думал.

— Брехать, малый, не пахать, — сказал он наконец. — А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, ослабил, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами.

— Вот бы из ружья-то его! — сказал он особенно скрипуче и картаво. — Так бы и кувыркнулся!

— Это ты про кого же? — спросил Кузьма.

— Да про соловья-то этого...

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

— А стерва ты мужик. Зверь.

— Поцелуй меня в ж... теперь, — отозвался Аким. И, икнув, поднялся: — Ну, что ж даггом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать сигарку, пепел — убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на ка-

кие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился — и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится — и попробуй-ка спросить его, верит ли он в Бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загремел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролежавшую вдоль вала, ми-

мо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошейей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову — и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидел широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем, спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта

как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как покойник дед — непременно дед и непременно покойник — пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь в город и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать места приказчика, конторщика; потом стал соглашаться на любое — лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества — сундучок да тяжелый старый зонт! И Кузьма стал посматривать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в «общем номере»,

среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит — анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдетя по комнате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две-три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершееся метрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову, и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, крика петухов и вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы от

поезда до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на знакомые тополя, на тот голубенький домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад: сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйти, в монастырь какой-нибудь, или — просто дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: налево вся улица, упирающаяся вдали в площадь, залита низким скучным блеском. Сады за заборами в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу — на нем крылатка, но шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый

буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва по аллее, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всенощной, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, кряхтенье... «Мотья», — подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотья Утиная Головка. Был он в рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой, — видно, базар позабавился, — и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплеываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

— Моть! Иди потолкуем, покурим...

И Мотья вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, завертывать сигарку, но, кажется, плохо соображал, кто это рядом с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотья принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

### III

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники, в которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте рубахами, «девять девок, девять баб, десятая удова», все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

*Ты, коровья смерть,  
Не ходи в наше село! —*

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

*Мы опахиваем —*

и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

*Со ладаном, со крестом...*

Теперь вид дурновских полей был будничный. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной — Тихон Ильич угощал его за обедом наливкой, был очень добр в этот день — и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшиеся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо — все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полыни, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная полынью, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

— Ай кусается? — крикнул Кузьма.

— Лют — мочи нет! — торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду. — На мор-

ды лошадям сигаает...

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял усадьбу от деревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев — Мысовых, как назвал их Оська, — и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

— Что ж, учатся ребятишки-то? — спросил Кузьма.

— Обязательно, — сказал Оська. — Ученик у них — бядовый!

— Какой ученик? Учитель, что ли?

— Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, ихнего брата — куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом —

как вскочут все разом да как гаркнут: «Здравия желаем!» — где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широкому логу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо — часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Одинодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел

под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсекольнику, милому позднему цветку голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на необозримое пространство. По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мещанами, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбиравшими падальцы, залезал с ними в крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он

брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес такую чепуху, что приходилось только руками разводиться. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядя на собеседника снисходительно, щурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

— Как величать-то тебя? — спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

— Без имени и овца баран, — сказал он наконец не спеша. — Но спрошу и я вас: Адам — это имя ай нет?

— Имя.

— Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех пор?

— Не знаю, — сказал Кузьма. — Да ты это к чему?

— А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке — глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так и так, ваше высо-

коблагородие. «А можешь ты эту лошадь пером зарезать?» — «С великим удовольствием!»

— Каким пером? — спросил Кузьма.

— А гусиным. Взял, очинил, в жилу станковую чкнул, дунул маленько, в перо-то, — готово. Дело-то, кажись, просто, ан поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

— Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Однодворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось — Пармен.

— А что вам задано на завтра? — прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихры Сеньки, на его живые зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

— Задачи, стихи, — сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

— Какие задачи?

— Гусей сосчитать. Летело стадо гусей...

— А, знаю, — сказал Кузьма. — А еще что?

— Еще мышей...

— Тоже сосчитать?

— Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей, — быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую цепочку Кузьмы. — Одна мышь поплоче несла два гроша... Сколько выйдет всего...

— Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

— Стихи — «Кто он?».

— Выучил?

— Выучил...

— А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал — про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только

*Ель, сосна да мох сядой...*

— Седой, — сказал Кузьма, — а не сядой.

— Ну, сидой, — согласился Сенька.

— А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

— Да колдун, — сказал он.

— Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда

учитель дерет.

— А он уши найдет, — беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовы считали разбойниками и побирушками дурновцев, дурновцы — мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», одnodворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Одnodворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью и на Мысу и в Дурновке, первая извещала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

— Что ж делать-то, — говорила она, легонько вздыхая. — Бедность была лютая, хлеба и в новину не хватало. Мужик меня, правду надо сказать, любил, да ведь поко-

ришься. Целых три воза ржи дал за меня барин. «Как же быть-то?» — говорю мужику. «Видно, иди», — говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на чугунке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе заката росло и плавно несло на Кузьму что-то черное, громадное...

— Кто это? — слабо крикнул он, натягивая вожжи.

— Ой! — слабо в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся — и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита — из тех, что ставят зимой вдоль чугунки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом зашептала:

— Напугали вы меня до смерти. Бежишь

так-то ночью — дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась — и он посматривал на небо:

— Портится погода. Дождик теперь для зеленой первое дело.

Двоили пар — и он замечал:

— Не передвоишь — без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: «Положишь баранину — в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя — опять сырая станет...» И нисколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к людям бывалым: ведь «шата-

ются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному слуху не верил — «все брешут!» — но верил, божился, что недавно под сельцом Басовом катилось в сумерки тележное колесо — ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул под втулок подпояску и завязал ее.

— Ну, и что же? — спрашивал Кузьма.

— Да что? — отвечал Кошель. — Проснулась эта ведьма нарани, глядь — а у ней подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязана...

— А чего ж она не развязала-то ее?

— Видно, узел закрещен был.

— И тебе не стыдно такой чепухе верить?

— А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож.

И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно напевает себе фальцетом: «Смолкни, пташка-канарейка...» До утра он караулил усадьбу,

днем спал, — дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голем саду, цыкать в елках клесты, появились свиристели, снегири и еще какие-то неторопливые крохотные птички, стайками перелетавшие с места на место по гумну, па́дрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-нибудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темнеть, и в усадьбе говорили: «Как поздно машина-то теперь проходит!» — хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казаково и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге — то, что видел и слышал в деревне... Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный

мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он встречал не только во всемирские, но и во все соседские — после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не поддавало дела настоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять...

— Да ведь язык-то без костей, — говорил Серый. — Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и брещи.

Земли у него было порядочно — три десятины. Но податей зашло — на десятерых. И

отвалились от земли руки у Серого: «Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!» Сам он сеял не больше полнивы, но и ту продавал на корню, — «милое за немилое сбывал». И опять с резонном: дождись-ка ее, попробуй! «Все, к примеру, дождаться-то лучше...» — бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмехался и Серый — печально и презрительно.

— Лучше! — хмыкал он. — Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня — глянь, угол-то сидит... ребятишек-то. Не чужие ведь. Я вон козу для них держу, поросенка выкармливаю... Тоже небось пить-есть просят.

— Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна, — возражал, раздражаясь, Яков. — Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

— Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квартирам, нанимался и в городе, и по имениям. Ходил и на клеверá. И вот на клеверах-то и повезло ему однажды. Нанялась артель, к какой пристрял Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его — Серый подрядился машонку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и простояла она без крыши год, почернела вся. А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить подешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе — ну, на худой конец, десять тысяч кирпичей, за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной... Озабочен-

но приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую — крепкую, просторную, теплую.

— В этой я, прямо говорю, не жилец! — отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, потряхнул шапкой.

— Так. Значит, ждешь, корабли приплывут?

— И приплывут, — ответил Серый загадочно.

— Ой, брось дурь, — сказал Яков, — наймись куда ни на есть да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной, настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

— Она, видно, работа-то не мед, — говорили соседи.

— Небось была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую ис-

торию: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

— Да я и сейчас поди туда — с руками оторвут! — восклицал он. — Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

— Ну, к примеру, и шел бы...

— Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду — руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская экономия хуже горькой редьки.

— Ой, мальй! — сказал раз приказчик. — Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи наладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед да и норовите в кусты.

— Это, может, бродяга какой так-то норовит, а не мы, — отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать воз соломы. Подошел приказчик:

— Разве я тебе не русским языком сказал — хоботье накладывать?

— Не время его накладывать, — твердо ответил Серьга.

— Это почему?

— Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.

— Да ты-то что за учитель такой?

— Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

— А везешь солому?

— На все время надо знать.

— Сию же минуту брось накладывать!

Серый побледнел.

— Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя бросать.

— Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

— Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу — и отойду. И совсем уйду.

— Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и назад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солону:

— Это я-то припру?

— Ты-то!

— Ой, малый, не припри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

— А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело, — за что?

— Мне нечего говорить, — пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги от страха.

— Нет, брат, брешешь — скажешь!

— А куда мука девалась? — внезапно крикнул Серый.

— Мука? Какая такая мука? Какая?

— Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу — и на мгновение оба замерли.

— Ты что же это — за пельки хватать? — спросил Серый спокойно. — Задушить хо-

чешь?

И вдруг яростно завизжал:

— Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

— Ребята! — заорал приказчик, хотя кругом никого не было. — За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

— Не суйся, нос сшибешь! — сказал Серый, держа вилы наперевес. — Авось не преждее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся — и Серый торчмя головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды, гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб

и сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый, первый, со всего разбега, шарахнулся в воду — спасти... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать — и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывал брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

— Хорошо. Снюхалась она, Матрюща-то, с Егоркой с этим... Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то под окошечком, вижу — раз Егорка прошел мимо избе, два... А моя — все нырь да нырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут нормочку скотине дай, а я пойду, — на сходку

повещали. Сел за избой в солому, сижу, жду. А уж снежок первый напал. Вижу — опять снизу крадется Егорка... А она и вот она. Зашли за погреб, потом — шмыг в избу в новую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

— История! — сказал Кузьма и болезненно усмехнулся. Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

— Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь — да за ними... Вскочил на порог — прямо на ней и прихватил! Перепугались они — до страсти. Он, как куль, наземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... «Ну, говорит, бей меня теперь». Это он-то. «Бить, — говорю, — ты мне не нужно-он...» Поддевочку его взял, пинжачок — тоже, оставил в одних подштанниках, почесть, в чем мать родила... «Ну, — говорю, — ступай теперь, куды хочешь...» А сам домой. Смотрю — и он сзади идет: снег белый — и он белый, идет, сопит... Деться-то некуда, — куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе, — в поле! Зака-

тилась — насилу соседка под самым Басовом за рукав поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: «Мы люди бедные ай нет?» Молчит. «Мать-то у тебя убогая ай умная?» Опять молчит. «Как ты нас оконфузила? А? Ты что ж, полон угол мне их нашвыряешь, выбледков-то своих, а я глазами моргай?» Ну, и зачал ее лудить, — был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю поясницу ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика...

— И женил? — спросил Кузьма.

— Вона! — воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток. — Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

«Ну и рассказ!» — долго думал Кузьма после этого вечера. А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова, — совершенно лысый мужик в огромной шапке, — писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Буты-

лочка с Мыса — писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать — в слезы.

— Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин... — И заплачет.

— Ну? — спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку — поверх пенсне. — Ну, написал. Дальше что?

— Дальше-то? — спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

— Дальше-то пиши, касатик, поскладнее. Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... В собственные руки...

И продолжает — то с остановками, то совсем без остановок:

— Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича денемся... Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за-ради Господа Бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей...

И опять сквозь слезы шепотом:

— Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре — дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, с строгим лицом подавала Молодая.

«Куда бы поехать?» — думал он порою.

Соседей поблизости было всего только

трое: старуха-княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говоривший только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот, ни другой. Кузьма угостил священника только чаем — священник резко и неловко захохотал, увидев на столе самовар. «Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тароваты на угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя

и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слабovolен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

— Ай опять к Русанову ходил? — спросили соседи.

— Ходил, — ответил Серый.

— Зачем?

— Уговаривали наняться.

— Так. Не согласился?

— Дурей их не был до веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело и — загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья — пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит наво-

зом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке, — угольком краснеет его трубка; хозяйка — смиренная, молчаливая, с придурью баба — тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок — большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой о потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

— Ктой-то? — раздается из темноты негромкий голос.

— Я.

— Никак, Кузьма Ильич?

— Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темно-

той, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустынное. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, пошел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте. Превратились в мерзлые глыбы водовозки, выросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам — и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых

пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки «зашлись с пару», что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сип-

лый голос — голос человека, проснувшегося рано, натоцкак озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Одноворки, что говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал сигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расставаться с теплом, курил и думал: «Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей...» То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью; днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмехался он

порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи, у него на все один ответ.

— Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

— Брехня. Знаем мы этот катар.

— Да мне фельдшер говорил.

— А ты слушай его побольше...

— Хочу газетку выписать, — скажешь ему. — Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья рублей десять.

— Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный не то двугривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

— Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

— Это как же так — чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз даже спросил,

усмехнувшись:

— А как спать-то вам — ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

— Стыдно, брат, Тихон Ильич, — пробормотал он, отвертываясь к окну. — И особенно после того, что ты сам же открыл мне...

— А чего ж она покраснела? — зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень. Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле

изб — лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубевшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто, — только у Якова дымились ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую — горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь, и

дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке, — часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда, по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал — был на почте и у брата. И по-

ездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысынами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надышаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся грудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило... А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахаров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур

или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков, о необходимости поскорее, поскорее развязаться с именем. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встречала в беседу, невпопад хвалила его — его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

— Уж такой доступный до всего, такой доступный! — говорила она — и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу. «Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» — бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке и тоску

свою, и старую холодную одежду...

На Святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно было дожить век и у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Он косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке, с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег, — и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай Бог дому сему да хозяина в дому», — и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Ивануш-

ке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли, и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она, улыбаясь, — она улыбалась только ему одному, — негромко говорила:

— Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: «Спаси тебе Господь, внучкя», широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.

— Небось холодно в одном чекмене-то? — громко спрашивал Кузьма.

— Ась? — слабым голосом отзывался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

— Холодно тебе небось?

Иванушка думал.

— Чем холодно? — отвечал он с расстановкой. — Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

— Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

— Теперь, брат, не подынешь... Гнеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя — искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая спрашивали — и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть — «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: «дюже был грузен»; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и,

крестя, бил крестника костылем железным в голову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норovit человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали «на чепи» — так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а оттого, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге... Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду, не склоняясь ни на какие увещания остаться до утра... И простудился насмерть — и под Крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил «не поддаваться». Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду

просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью раз пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжело вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегрешения...» Потом задумался, долго молчал, прикинув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказал: «Нет, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

— Ай мне на похороны? — спросил он дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно, — у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб — тоже хороший, дорогой гроб, — привезли из города муки, водки, соленого судака; а Лукьян возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попрека-

ми со свету... Иванушка, вспомнив это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише — и вдруг затряс коленами, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых губах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на Крещенье говорили, что птица мерзнет на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и зачоченевшие под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться. А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог, — поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой

свечки, прилепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина — продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рога-че и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело, от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали наворачиваться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Заиндевевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед меринком, рассыпались по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпались. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал,

что задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную маску... Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и зазубрин тянулись голубые тени... Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запущенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, окошел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.

— Готов! — сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновка, занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.

— Заболел я, Дунюшка! — ласково сказал Кузьма, в надежде услышать от нее ласковое слово.

Но Молодая равнодушно, сухо ответила:

— Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ничего и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату и, весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда он будет ходить теперь за нуждой, лег на диван... И вечера мешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся...

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал в стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе.

Значит, в прихожей, пахнущей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!

— Господи, спаси и помилуй, Господи, помоги хоть сколько-нибудь, — зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по

карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячий, в пылающей голове шумело и звенело, руки, ноги леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана... Одета она была барышней, — бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха, — руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза покраснелись... «Ах, как хорошо распуталось все!» — шептал кто-то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажгла огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки... что она внезапно басом запела под гитару: «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя...»

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, но даже в бреду не покидала его мысль — сказать кому-то, чтобы хоть в одном сжалились над ним — не хоронили в Колодезях. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он пришел в себя утром, когда топили печку, — и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показа-

лись ему так беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна, чужда и странна больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар — и онемел: послышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, и отрывистый ответ Молодой:

— А, да ну его! Помрет — похоронят...

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акаций, предвечернее солнце. Синел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнувший лекарствами и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за

Дурновку, — и был совершенно равнодушен...

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок — найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом — покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду, — и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгну-

ла и, с визгом, с желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним — и достигла бы, да «спасибо, снег был глубок»... Кузьму так поразили этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай — и понемногу оправился. Покурил, посидел... Наконец встал, вышел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поляны, краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сторбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на девственно-чистый снег. «Иванушка, Серый, вороны... — подумал Кузьма. — Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал,

что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стояла вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще хотелось — жить, ждать весны, переезда в город, жить, покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба... И, конечно, у брата, — какой он ни есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

— Куда ж мне гнать-то тебя, — сказал он, подумав. — Я и лавку с двором с первого марта передаю, — поедем-ка, братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Одноворка и передавала подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро заживет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти рассказы брехнею, потом, по

намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. Но, ободрав лошадь, получив целковый от Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на сигарки потолок, который Дениска оклеил газетами и разными картинками. Обдирал он, конечно, тайком, но раз-таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал — и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбегались соседи... Но, думал Кузьма, не живорез ли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услыхав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. «Зверь, дикарь! — думал он и, вспоминая о свадьбе,

злобно прибавлял: — И отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость, и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича — и она спокойно ответила:

— Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай Бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

— Хорошо? — изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

— Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяницу...

— А лодыря, драчуна, дурака набитого, — прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

— Да как знаете, — сказала она с дрожью в голосе. — Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами.

Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

— Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла

желаю?

Молодая обернулась и остановилась.

— А разве не зла? — горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами. — Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глотать? Бездомной побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраиывать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.

— Ну, спасибо вам, — сказала она тем милым тоном, каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы — и опять развел руками Кузьма.

— А теперь-то ты о чем? — сказал он.

И Молодая тихо ответила:

— Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на

черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля...

— Авдотья! — крикнул Кузьма, поднимаясь с места. — Скажи Кошелю — лошадь в козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с насупленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

— А! братуша! — приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей. — Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?

— Уж очень соскучился, брат, — ответил Кузьма, целуясь с ним.

— Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

— Очень ты похудел, братуша! — сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.

— Похудеешь, — ответил Кузьма тихо. — Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

— Брехню-то эту? Нет, Бог милует.

— Сколько казней, если бы ты знал!

— Казней? Поделом... Ты не слышал, что под Ельцом-то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь небось, — картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак ве-черком, играют в шашки... Вдруг — что такое? Топот на крыльце, крик: «Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть — вваливается ихний работник, мужичишка на манер Серого, а за ним — два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломами. Подняли ломы да как заорут: «Руки вверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: вверх да вверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк.

— Да договаривай же, — сказал Кузьма.

— Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам надо-то?» — «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» — «Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да

вот они, на притолке на гвоздике висят...»

— Это с поднятыми-то руками? — перебил Кузьма.

— Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

— Это за ветчину-то удавят?

— Нет, за транду, прости ты, Господи, мое согрешение, — полусердито, полушутливо отозвался Тихон Ильич. — Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать...

Кузьма потерял свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

— Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни, — какое-то дело.

— Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как

ни можно скорее кончал эту музыку, — твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю. — И прошу тебя, братуша, — прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того перебирайся сюда. Гáрно, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего. Только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, бог даст, до города, — за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее, — и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в виду, — сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивая кулаки, — у меня еще не вывернешься, мне еще рано на печи-то лежать! Черту рога сломя!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова, — слушал и молчал. Потом спросил:

— Брат, скажи ты мне за-ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, Бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я

прямо видеть не могу. Этот новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается, — это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

— Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь, — нахмурившись, перебил Тихон Ильич. — Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь — животное!

— Да, долблю и буду долбить! — горячо подхватил Кузьма. — Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как «живорез, в холку народу въелся», а ты его живорезом ругаешь! Он нагло хвастается по деревне, что теперь он — кум королю...

— Да знаю я! — опять перебил Тихон Ильич.

— А про Молодую он, знаешь, что говорит? — продолжал Кузьма, не слушая. — У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет

лица, а он, животное, знаешь, что говорит? «Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: «Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла...»

— Знаю! — крикнул Тихон Ильич. — Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хороши хозяева! Я, помню, об деле тебе говорю, — в трактире-то, помнишь? — а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

— Как что? И при чем тут перепел? — спросил Кузьма.

Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, отдельно отчеканил:

— Имей в виду: воду толочь — вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал — сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне Господь.

Кузьма вскочил с места.

— Господь, Господь! — воскликнул он фальцетом. — Какой там Господь у нас! Какой Господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

— Поймай, — строго спросил Тихон Ильич. — У какого такого Акимки?

— Я вон околевал лежал, — продолжал Кузьма, не слушая, — много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! — крикнул Кузьма. — Не научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

— Запомни, брат, — сказал он, и скулы его покраснели. — Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы — дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился:

— Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

— Ты подумай только: падут целую тыся-

чу лет, да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы», — только и всего. Заметь! — строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма. — «Как люди, так и мы!» Хлеба ни единая баба не умеет спечь, — верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой — кислая вода.

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

«Он рехнулся!» — подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигающим лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

— Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь, — заорал он, не видя, что заниженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью, — не нам, а друг другу! И все они такие, все! — закричал он плачущим голосом и с треском надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы

летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

«Рехнулся, — думал он безнадежно. — Да туда и дорога. Все равно!»

Закурил, стал успокаиваться и Тихон. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:

— А ты — «Дениска»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружкой со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках — и четыре дня ходили насильовали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

— Тихон Ильич, — ласково сказал Кузьма, — что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

— Пьешь? — тихо повторил Кузьма.

— Пью, — тихо ответил Тихон Ильич. — Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухой? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует, кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди, — будет дело, будет! Зарезали мы их!

— А за ветчину — давить? — спросил Кузьма.

— Ну уж и давить, — отозвался Тихон Ильич страдальчески. — Это ведь я так, к слову пришлось...

— Да ведь удавят!

— А это — не наше дело. Им отвечать Всевышнему.

И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

— Ах! — сокрушенно сказал он с глубоким вздохом. — Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник — и плачу, ры-

даю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой...

И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

— Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

— Воистину суета человеческая, житие же — сень и соние. Ибо все мятется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, идеже вкупе царие и нищий...

— Царие и нищий! — восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. — Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, а она взяла да и истаскала его наизнанку... Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, — праздника, мол, дождусь, — а пришел

праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... *С жизнью-то своей...* Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно — тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор. У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей — коротконогий Дениска, без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

— Да у меня нету, — говорила Молодая. — А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты подожди до завтра-то.

— Мне, был, ждать-то нельзя, — певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

— Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, потрянув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

— Ну, что ж язык-то даром трепать, — громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость. — Говорил с тобой Тихон Ильич?

— Говорил, — ответила Молодая. — Надоел даже.

— Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

— Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым — и Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом потрянули волосами и подняли лица.

— Сват, не сват, а добрый человек! — не спеша начал Серый необычно-развязным и

ладным тоном. — Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился. Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

— Беги, ищи, — шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

— Да я тут, — сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.

Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.

— Ну, как же, дочка, решай, — усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

— Я малого не корю...

— А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

— Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо... Может, бог даст, ничего...

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Одинодворка, раньше всех узнавшая новость и прибежав-

шая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:

*Как у нас да по садику,  
Зеленóm виноградику,  
Ходил, гулял молодец,  
Пригож, бел-белешенек...*

На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал: «Ты бы хоть немножко-то помог молодым!» То же сказал и Кошель: «Дело их молодое, молодым помогать надо». Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чугуничка и моток черных ниток.

— Вот, невестушка, — сказал он смущенно, — на, свекровь прислала. Может, на что годится... Нету ведь ничего, — кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном

Ильичом «заместо фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему «не мед», но помялся, вздохнул и, поставив чугушки на подоконник, вышел.

— Нитки-то я в чугушник положил, — про-  
бормотал он.

— Спасибо, батюшка, — еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и, как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику...»

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

— Слушай, — сказал Кузьма. — Может, кинуть всю эту историю?

— Теперь поздно, — негромко ответила Молодая. — Уж и так страму не оберешься... Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупчатой муки, пшена и худую свинью... Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!

— Ох, — сказал Кузьма, — измучили вы меня! «Срам, расход»... Да ай ты дешевле сви-  
ньи?

— Дешевле, не дешевле, — мертвых с пого-  
ста не носят, — просто и твердо ответила Мо-  
лодая и, вздохнув, аккуратно сложила выгла-  
женную, теплую гардину. — Обедать-то сей-  
час будете?

Лицо ее стало спокойно. «Ну, шабаш, — тут  
пива не сварить!» — подумал Кузьма и ска-  
зал:

— Ну, как знаешь, как знаешь...

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Тем-  
нело. В людской, он знал, уже спекли ржаную  
витушку «ряженный пирог». Готовились ва-  
рить два чугуна студня, чугуны лапши, чугуны  
щей, чугуны каши — все с убоиной. И Серый  
хлопотал на снежном бугре между амбарами  
и сараем. На бугре, в синеватых сумерках,  
оранжевым пламенем пылала солома, кото-  
рой завалили убитую свинью. Вокруг пламе-  
ни, поджидая добычи, сидели овчарки, и бе-  
лые морды их, груди были шелковисто-розо-  
вые. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял  
костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна

он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень, тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка — созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребке, переходившую с девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменяв пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармоньях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Былолюдно, тесно в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватали за шеи и выталкивали вон, они снова лезли...

— Да пустите, ради бога! — сказал Кузьма,

сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше — и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище — девки в цветных шالях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полшубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

*Как у нас при вечеру-вечеру,  
При последнем конце вечера,  
При Авдотьином девишнику.*

Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова — и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: «Родной мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:

*Растопися, банюшка,  
Ты ударь, звонкий колокол!*

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голениям, сладостно заломило скулы, и глаза налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий.

— Будя, девки! — крикнул кто-то.

Но девки не слушали:

*Ты ударь, звонкий колокол,  
Разбуди мово батюшку...*

И невеста со стоном стала падать лицом на

свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели наконец в холодную половину избы — наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружкó, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц.

— Будя драть-то! — грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: — Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

— Без троицы дом не строится, без четырех углов — изба не кроется. Положь по рублю на каждом углу, пятый — посередке да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли — и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом — во-

шла, расталкивая народ, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах — и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял икону из рук Однодворки — и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонились в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновенье, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал: «Сейчас брошу образ на пол...» Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе — и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ,

шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на Мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шалями, шли к саням опасливо, мелкими шажками, церемонно приговаривая:

«Батюшки, свету божьего не видно!..» На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову — она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шляпами, подшальниками. Она так ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке.

— Ух, мать твою не замать! — бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом.

И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

— Господа бояре, бословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

— Бог бословит...

И бубенцы заныли, полозья заскрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились вихри, гривы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно — от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонявшегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи — на сапогах и лаптях натаскали много снега, — в спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

— «Боже пречистый и всея твари содетелью... — говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос. — Иже раба твоего Авраама благословивый и разверзый ложесна Саррина... иже Исаака Ревеце даровавый... Иакова

Рахили сочетавый... подаждь рабом твоим сим...» Имя? — строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ: «Денис, Авдотья...», продолжал с чувством: — «Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... сподоби я видеть чада чадов... И даждь има от росы небесныя свыше... исполни дома их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские...»

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому, коротконогому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец — медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья...

Вьюга в сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно шибко, и гор-

ластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

*У голубя, у сизого  
Золотая голова!*

*Москва. 1909–1910*

## Суходол

### I

**В** Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Сухо-долу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Лунева, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит; выйдя, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

— Ты ведь сирота, Наталья?

— Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

— А они отчего рано померли?

— Смерть пришла, вот и померли-с.

— Нет, отчего рано?

— Так Бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворне сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и запорол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула — да и дух вон от ужаста!

— А отчего ты замуж не пошла?

— Да жених не вырос еще.

— Нет, без шуток?

— Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

— Ну-у, какая же ты барышня!

— В аккурат-с барышня! — отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ей губы, и обтирала их темной старушечьей рукой. — Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, — истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

— Да и правда, — говорила Наталья, — как было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее»

их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума — от несчастной любви — и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Сóшки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

— Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

— То есть с арапниками? — спросили мы.

— Да это все едино-с, — сказала она.

— А зачем?

— А на случай ссоры-с.

— В Суходоле все ссорились?

— Борони бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были — чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей — и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга — и у каждого арапник на коленях; мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

— Что делать-с: привычка, — скромно говорила она. — Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Лунево:

— Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

— Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед

за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

— А и Суходол хорош, пропади он пропадом! — прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская, — душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хруще-

вым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращурьы. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отравы для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, — где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, — тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых, — с такой беззаботной печалью, с таким ласковым

укором, с такой слабОВОЛЬНОЙ задушевностью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры — вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Луневом, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба, — улей, оставленный на волю Божью, в полях, при заглохшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых

оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лунево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что старой степной деревней пахли их подарки: мед — цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца — пуньками, курными избами времен дедуш-

ки... Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

## II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво засту-

пила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидели мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шляке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы бы-

ли глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья — дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубахе с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом — давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада — кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских — изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подснежником... Запахло самоваром, посыпались распросы; стали появляться из столетней горки

хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на сцене в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы Божьей Матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою голову в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путе-

водительницы, — на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, — туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы. Ливень, верно,

не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробежавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

— Чай кушать пожалуйста-с, — окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

— Où êtes-vous, mes enfants?[1] — жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было прыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки — и в ситцевых пестреньких платицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шальях — залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только

серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски — и думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, — и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в

той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые тусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили они далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишенник! А в полураскрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки, — и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы... Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало — и поля, и деревня, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вокруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

— Исусе сладчайший, помилуй мя, — шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробежала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью — и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши — и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, — и вдруг выпускал вопль изумления; смолкал — и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал — и раздражался стонами, всхлипываниями, рыданиями.

ми... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошинным лесом — и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставляли Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте, — и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

— Наталья? — тихо окликали мы.

— Я-с? — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

— Что же ты не спишь до сих пор?

— Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка...

— Гуляли-с?

— Гуляли.

— Что ж, дело молодое... Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

— Хорошо жилось прежде?

— Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

— Чего это, нянечка, филин кричит? — говорила сестра.

— Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья пострацать. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

— А как захворала она?

— Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

— Не дружно, значит, жили?

— Куда как дружно! А уж особенно после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были — чистый порох!

— А пороли дворовых часто?

— Этого у нас и в заведенье не было-с. Я как про-винулась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

— А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямоотой и тщательностью; но порою запинаясь, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмеяется:

— Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду...» А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково спросила ее:

— Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

— Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомяну-с теперь.

— Неправда, неправда!

— Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

— «Как на грех, на беду...» То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду — песню томную... Глупой спать не давал — в ночьку темную...»

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

— А ты очень была влюблена в дядю?

И Наталья тупо и кратко шептала:

— Очень-с.

— Ты всегда поминаешь его на молитве?

— Всегда-с.

— Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

— В оморок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху...

В городе чуть не задохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них, — крикнула я, да и замертво! А пришедши в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!

— Строг он был?

— Не приведи господи!

— Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была?

— Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордились, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

— Ну, а дедушка?

— Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед, — энтото и следовало! — а вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят...

— А скажи, — он хорош был, Войткевич-то?

Наталья задумывалась.

— Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

— Ведь и дед от любви с ума сошел?

— Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен, — невеселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование...

#### IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в половицу: «В старину везде леса были...» Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то бы-

ло при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях — рожь, овес, греча, на большой дороге — редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху — только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и — беззаботная.

— Вся в господ-с! — говорила Наталья. — И господа беззаботны были — не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, поделились с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбе-

жалася...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворе, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч, — сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню, — в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

— Это я для Тонечки в приданое, — бормотал он, когда захватывали его. — Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну, а за всем тем — воля ваша: не хотите — я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чье-

го-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю — неумело толлок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся су-ровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбрелись по излюбленным углам и надолго засыпали, не знал, куда деваться, одинокий, даже по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

— Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: «Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!» — торопливо успокаивал:

— Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше, — минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый, — а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выду-

мывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками, — «уж не Петенька ли из полка в побывку», — или что заходит страшная градовая туча.

— Они, голубчики, уж очень грозы боялись, — рассказывала Наталья. — Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый, господь с ним. А день летом — год. Дворни девать было некуда... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам, — особенно к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» — «Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?» — «Домовому, сударь: спросонья...» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А гробы, и правда, куда как часто в старину собирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать

иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать, — боялась я того полотенца до смерти! — али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...

Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы, — сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадмазель Сизи, — когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идите и больше не вернитесь!» — когда слышалось в классной: «Maître corbeau sur un arbre perché»[2] — и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Пет-

ру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья, и без призора... Наталья говаривала:

— Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится, — волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начередил: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. «Что ж, — говорит раз барчуку, — ты подрастете, будете меня пороть?» — «Буду». — «Ан нет». — «Как так?» — «А так...» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. «Перва, — говорит, — ты, барчук, про-

жете, а там я...» Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка Царица Небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказались...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяйева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла, — обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, — и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу,

когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары, — по ночам в доме было страшно. А днем — сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обиждаю...» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Гервасье, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

— Так уж мы и знали-с, — говорила Наталья, — в доме только почивают. А не почивают, — значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою — зайцы, осенью — лисицы, летом — перепела, утки либо

дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с господом: нынче на Среднюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, за-ради бога, „Закатилось солнце красное за лес...“». А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перва ручку у меня». Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его что есть силы по щеке, а он только головой мотнет и еще черней сделается, насупится, как разбойник какой. «Встать, негодяй!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. «Проси прощенья». — «Виноват, сударь». А барчук задвохнутся — и уж не знают, что дальше сказать. «То-то „сударь“! — кричат. — Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтись, я, мол, иной раз думаю: я для него души не по-

жалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»

— Диковинное дело! — говорила Наталья. — Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной — барышня. Барчук, — а по правде-то сказать, и сами дедушка, — в Герваське души не чаяли, а я — в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась пося своей провинности...

## V

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того, как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья — из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временами молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи и для тети Тони.

Они обе влюбились. Не заметили, как влю-

бились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад — на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым — и делал это неумело, помальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

— Помнится, брат Аркадий, — сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле, — помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:

— Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

— Вы изволили забыть, сударь, — сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки. — У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.

— Это еще что такое? — крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. — Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

— Так, так, Петенька! Фора! — радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал. — Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

— Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают, — возразил он, насупясь. — А то и мне все лезет в голову: пора барину в царство небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого

неожиданно дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности — и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.

Счастье ее было необыкновенно кратко — и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и доньше, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это — длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце — и так была

поражена красотой его, — как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, — что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила Бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приходом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире — радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, — за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладани-

ем своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и на-смотреться на себя до головокруженья, а по-том опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безум-ной надежде понравиться, и заглядыва-лась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончи-лась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала На-ташка... Кончилась тем, что сам же Петр Пет-рович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и со-бой. Он сам открыл и превратил ее преступ-ление в простое воровство, в глупую продел-ку дворовой девчонки, которую, в затрапез-ной рубахе, с лицом, опухшим от слез, на гла-зах всей дворни, посадили на навозную теле-гу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведо-мый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет

стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную переключку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: «Шу-у!..» Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, — конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение

к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула — и очнулась уже в городе. И город поразила ее только скукой, сухью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издали пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер «обжорных» навесов, — пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул

на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами, — сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом под мышкой, снова заводить лошадь в оглобли.

— Припоздали мы с тобой, королевишна, маленько! — оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. — Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану, — мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, — говорил он, уже разумея Демьяна. — Разинул хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то...» А-ах! — думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, чернонёбому. «Смотри!» А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу — и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам пере-

крещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хутора — только слово сказать: в один мент за Ростовом-батюшкой очутишься... А там и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» — сменилась в стриженной голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалось солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли пута-

лись, — нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

— Припоздали, девка, — уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням... «Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, — не то думала, не то чувствовала Наташка, — повернуть, доскакать до Суходола — и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома — и все это замыкалось огромным белым собором под новым беложестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня

поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера — приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукой и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

«У ней — свой, а у меня — свой», — не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного, — того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами — и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряжен-

ный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... «И зачем поехал тут Евсей, — думала она, — как решился он греметь тут телегой?»

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косягам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму — и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцей, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе, — только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнув-

ши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову — и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты — и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, — только головой покачивал, — и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее — одна душа. И ду-

ше этой было «так хорошо, ровно в царстве небесном»...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более *заповедную*, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

## VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей — и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал — и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке — веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не

скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими — просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзой. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадавал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, — и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай, — топтался от волнения, завидя же входящего, кидался ему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал

низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

— Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» — что могли думать гости после таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена...» Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, — поднести, например, ей цветок, — и Войткевич внезапно уехал. Когда он уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко

зарыдать — и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрерывный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибежал дедушка. Тогда Тонечка начинала топтать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» — и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

— Да пойми же ты, пойми, — бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку, — пойми, змея, что могут вообразить!

— Ай! — неистово взвизгивала Тонечка. — Папенька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козло-

вые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под польку не пожелал — подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: «А скоро ты, борзой, издохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положи-

тельно скотина ты, брат!» — на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтоб его выпороли.

— Очень я грубиян и горячий, сударь, — сказал он безразлично, играя черными глазами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

— Успеется еще, голубчик! Успеется! — притворно-строго крикнул он. — Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

— Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры — ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в

ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!»

— Смотри не напейся, — рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

— С отроду не пил, — как равному кинул ему Герваська. — Неинтересно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:

— Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством

отзывался:

— Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

— До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услышал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь зал закричал предводителю:

— Ваше превосходительство! Подайте руку помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого — на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными

ми глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, — крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:

— Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте на вечер. Как дело на́ вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали... Я беспрерывно помру вечером, — попомните мое слово! Мне Мартын Задека предсказал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: «ради него» много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много и все разное, так что

можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И, значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

«Да, да, — волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия. — Да, да, смерть грешнику люта... Да не зáйдет солнце в гневе нашем!»

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки Псалтырь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза

на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:

— Да, да: есть старик — убил бы его, нет старика — купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнувших табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом, белоствольных берез, и прелестный, радостный,

неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму — и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська — без казакина, заспанный, «злой, как черт», как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шепотом:

— Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той же нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:

— Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, вместо благодарности барину...

— Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени! — перебил Герваська. — Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его заты-

лок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

— Тыпусти! — мгновение подумав, негромко крикнул он. — Это ты должён уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!

— А! — досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, — и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками — и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно раскосившиеся глаза и ра-зи-нутый рот, Герваська сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре... оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем неслышно и быстро вышел из гостиной — и как в воду канул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

## VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился

Петр Петрович, и отправились братья «Охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.

В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, закрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

— Ужли это ты, Наташка?

— А то кто же? — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

— Добре ты нехороша-то стала!

А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженной девчонки, круглолицой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

— Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Она только головой помотала:

— Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

— Это с какой же радости? — спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя Богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные снились ей не раз...

— Что ж ты видела? — спросил Евсей.

— Да так, пустое, — сказала она. — Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и снилось.

— А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

— Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиста, да и пошел себе...

— Да что ж ты хозяев-то не кликнула?

— Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал, — спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя.

— Хорошо было, — повторяла она.

А раз сказала тоном богомолки:

— У Бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну «Охотниками», что барышня «тронулась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня, — маленькая, полная, очень живая, беременная...

Барыня крикнула за обедом:

— Позовите же сюда эту... как ее? — Наташку.

И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образом,

потом барыне и барышне — и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня, — барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

— Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же внимательно-равно-душ-но, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы — за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала; а выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

— Ну, люта-а! — сказала она. — Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

— Что ж видела во сне? — спросила ба-

рышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

— Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась — и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: «Ничего-с не видала», — барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое умение: увертываться.

Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал ей много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку, и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее «как света белого»: барышня-то и вспомнила о ней — все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет со-

всем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась — и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

— Что ж, лучше тебе? — спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

— Лучше-с, — шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

— У, хохлушка подколотная! — крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натывавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно усмехнулась.

— А что ж, — сказала она задумчиво. — И

то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придавала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро, и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молол без умолку — и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркальце, — а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело заныл под нос: «Круть, верть, метелиця...» Потом стала она понемногу приходить в себя — и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила — ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретёная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских

изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие под ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы, — он только усы носил, — тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко, — тяжелы были его сапоги, — в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты — такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулсЯ слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни сидины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Стари-

ка-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямою и строгой живостью глаз — не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегал удлинненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Нечаева, о том,

*Як зійшла зоря вечірова  
Та над Почаевом стала,*

как сама Божья Матерь святой монастырь «рятувала», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонок Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёканьем и свистом. Шарый пел только на-

смешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

*В кінці греблі шумлять верби,  
Що я посадила, —*

тоскливо-протяжно рассказывала она — и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

*Нема мого  
Миленького,  
Що я полюбила...*

И в одиночестве медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные и милые сны, часто снявшиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние — покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ него, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было

долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни — и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе... Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать, — вплоть до того, как он насмерть «толкнул» деда, и твердо сказал:

— Ну, а теперь прощай дó веку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазами, крикнул, выходя на дорогу:

— А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не годишься... Образуься!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя — и образумилась.

Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на Господа Бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу: не думать.

— Думай, не думай — по-нашему не бу-

дет, — говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль. — У Господа Бога всего много... Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и стращали — грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле, — трудно было сначала не думать-то! — думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидела она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами — и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со включенными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, развевающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка! — крикнула она в тревоге и ужасе. — Ай пожар?» — «До шпенту все слетит сейчас! — тоже криком, заглушаемым го-

рячим ветром, отозвался карлик. — Туча идет несказанная! И думать не моги замуж собираться!» А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то — и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» — крикнул он человеческим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами — и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.

— Господи Иисусе, — скороговоркой шептала она. — Матушка Царица Небесная! Угодники Божии!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в

голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась, — недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! — что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам — в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.

## VIII

У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля — за нею, когда увидела она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидела рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путаную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидела знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом, — мутно-серого на спине, а

спереди, с груди, с густо опушенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

— Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении — смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи, — с прямо вытянутыми ногами, — с на-

пряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что «нечего в гроб положить», без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце, — вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

— Нет, дед, не калянсья: видно, уж придется подгузники скидывать! Не минуешь!

А как забилося сердце, когда увидела она выгон, ряд изб — и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно — все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила те-

лега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнувший восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном, — и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей...

По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостинной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось, все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем — и особенно в запахе цветов — чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся — самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, ка-

чавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приготавливая его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, — барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидела роковое зеркальце в серебряной оправе — и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидание стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходоль-

ская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей речки. Не пугали ее изнуряющие будни — пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и — огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сравнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичицу произвели в няньки — и Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва таращил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал но-

вый Хрущев. А его уже называли барчуком, — уже слышались из детской старые, старые причитания:

— Вон он, вон он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой — нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна — и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня «почесть, совсем как живая», хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преображавшегося в волхва возле

болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда — поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.

— Зорька... темнеет... пора, — говорил он таинственно.

Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом, — даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре, — на случай зова, приказаний Клима, — мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он

проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

— Встань, раба Божия!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

— Доску, — кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом:

— Взыдет Филат... Окна откроет... Двери растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

— Тоска, тоска! — восклицал он с внезапной силой и грозной властью. — Ты иди, тоска, во темные леса, — там твои мяста! На море, на окяне, — бормотал он глухой зловещей скороговоркой, — на море, на окяне, на острове Буяне лежит сучница, на ей серая руница...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу пере-

носящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимым недугом, — тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:

— Ну, теперь еще две зорьки осталось... Авось, Бог даст, полегчает маленько... Сеяли гречишку-то в нынешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!

Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться — по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Пет-

ровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что она за-таивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здоровье, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед — и тем, что держала она в тайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи — о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стучался головой в стену и с радостным

лицом отскакивал.

— Птушечки мои! — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. — Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!

И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:

— Угодниче Божий Дроние, моли Бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза оставались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косоного младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубашке и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от

неминуемой гибели.

— Бяда! — бормотал он, задыхаясь. — Бяда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

— Когда ж еще придешь, Тимоша? — кричала ему барышня.

И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни:

— О Святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вслед ему барышня:

— Угодниче Божий! Моли Бога за мя, грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах — о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог тем-

ные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмирится огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечи... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — «явление природы». Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали — торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец к этим радениям пристрял некто Юшка, «провинённый монах», как он называл себя.

## IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец

не ударил он никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности». «Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож, — говорил он. — Что ж мне работать!»

И правда, смотрел он как горбун — едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему «непристойно и скучно». Вот он и пошел в Киевскую лавру, «подрос там» — и был изгнан «за провинность». Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу, — старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет, — он никогда не пьянел, — издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

— Ну, известно, — рассказывал он мужикам, подмигивая, — известно, сейчас меня, раба Божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду, мол!

И точно — не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

— Так и зарекся ты навек работать? — спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей.

— Черт меня теперь заставит работать! — отзывался Юшка. — Набалован, брат! Яровитя пуще козла лаврского. Девки эти самые, — мне бабы и даром не надобны! — боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам — хоть куда: пёрушком нехорош, зато косточкой строён!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу...» Увидев его, она в ужасе вскочила.

— Да ктой-то? — крикнула она.

— Человек, — ответил Юшка, быстро огля-

дывая ее с ног до головы. — Доложи барыне.

— Кто это? — крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину — и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямо-той барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они нестрашны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: «Влюбился я в тебя, девка!» — глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала

одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: «Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь — дотла вас сожгу». Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто *немину- чее*, что близко осуществление страшного сна ее, — в Сошках, про козла, — что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змий эдемский, иерусалимский душил мя!» А кто же этот змий, как не черт, не тот самый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Ду-

мая о своем роковом, неминуемом часе, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжелой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве — и бежала, изуверски, сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И неминуемое свершилось. Юшка пришел — как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Надеящего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала — и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время — она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и

слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала — и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, — и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.

— На море, на окияне, на острове Буяне... — зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями. — Там лежит сучница, серая руница...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидала, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его мол-

нией — бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию — и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей...

Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходил и еще много ночей, — и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному в конце концов в Сибирь, на поселение... Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол — и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее сновидение. За-

горелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани, — от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах, — рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все, — расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у

мощей и Наталья — и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уже нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготовлялась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастьи, — ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! — и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам Бог отметил их с барышней губительным перстом своим — им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвращаясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем.

Буднично стало в Суходоле. Пришли опре-

деленные слухи о воле — и вызвали даже тревогу и на дворе и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать — начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле — все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу: начались «нелады», как говорил отец, дошло до татарок за столом... Нужда стала напоминать о настоящей необходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой — нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около трехсот захудавших лошадей, — собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыга-

на. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другою, к весне почему-то поколели...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастье не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвращения своего из Крыма, Петр Петрович ехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег, — будто бы головой к ней, — спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню

побоями, — крикнул: «Пошел!» — и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гнедой коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную мусть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи... А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.

— Беда, девка, беда, — забормотал он глухо, странно, как во сне, — барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и — копытом... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...

## Х

Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и нищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий, ладный полусшепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову — во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад, — дедовский сундук с выдвигаемыми ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закопанными воском. Потом исчез и он.

Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, гостиной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, «жидки на расправу» были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все

более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и словом, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распаханно и засеяно, как распаханна, засеяна была земля на местах многих

других усадеб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича, — ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы Суходола — Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! «Летом нам рай!» — говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А топить — топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни, — единственной жилой

горницы, — жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетья в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетья Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим набор фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, по-

сидеть, подумать над родной могилой, — если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их — возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом — целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И си-

дишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

— Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... И в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.

*Васильевское. 1911*

# Дневник, 1917–1918 гг.

*«...Все преграды, все заставы божеские и человеческие пали».*

*«...России — конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец».*

**Г**лотово. 1 августа 1917 г.

Хорошая погода. Уехала Маня. Отослал книгу Нилуса Клестову. Письмо Нилусу. Низом ходил в Колонтаевку. Первые признаки осени — яркость голубого неба и белизна облаков, когда шел среди деревьев под Колонтаевкой, по той дороге, где всегда сыро.

Слух от Лиды Лозинской, — Ив. С. В лавке говорил, что на сходке толковали об «Архаломеевской ночи» — будто должна быть откуда-то телеграмма — перебить всех «буржуев» — и что надо начать с Барбашина. Идя в Колонтаевку, зашел на мельницу — то же сказал и Сергей Климов (не зная, что мы уже слышали, что говорил Ив. С.): на деревне говорили, что надо вырезать всех помещиков.

Позавчера были в Предтечеве — Лихарев

сзывал земельных собственников, читал устав «Союза земельных собственников», приглашал записываться в члены. Заседание в школе. Жалкое! Несколько мальчишек, Ильина с дочерью (Лидой), Лихарев (Коле сказал «риторатор»), Влад. Сем., Коля, я (только в качестве любопытного), что-то вроде сельского учителя в старой клеенчатой накидке и очках (черных), худой старик (вроде начетчика), строгий, в серой поддевке, богач мужик (Коля сказал — Саваоф), рыжий, босый, крепкий сторож училища. У всех последних страшное напряжение и тупость при слушании непонятных слов устава. Приехал Абакумов, привез бумаги на свои владения, все твердил, что его земля закреплена за ним, «остолблена его величеством». Думал, что членские взносы пойдут на «аблаката» (долженствующего защищать интересы земельных собственников). Генерал Померанцев, гостящий у Влад. Сем., замечательная фигура.

Абакумов вернулся вместе с нами, возбужденный. «Ну, записались! Теперь чтой-то даст Бог!»

*2 августа*

Очень холодное, росистое утро. Юлий и Коля ездили в Измалково.

День удивительный. В два часа шли на Пески по саду, по аллее. Уже спокойно, спокойно лежат пятна света на сухой земле, а в аллее, чуть розоватые. Листья цвета заката. Оглянулся — сквозь сад некрашенная железная, иссохшая крыша амбара блестит совершенно золотом (те места, где стерлась шелуха ржавчины).

Перечитывал Мопассана. Многое воспринимаю по-новому, сверху вниз. Прочитал рассказов пять — все сущие пустяки, не оставляют никакого впечатления, ловко и даже неприятно щеголевато-литературно сделанные.

Был Владимир Семенович. Отличный старик! Как Абакумов, не сомневается в своем пути жизненном, в своих правах на то и на другое, в своих взглядах! Жалуется, что революция лишила его прежних спокойных радостей хозяйства, труда.

*3 августа*

Снова прекрасный день, ветер все с востока, приятно прохладный в тени. На солнцезной. Дальние местности в зелено-голубом тумане, сухом, тончайшем.

Продолжаю Мопассана. Места есть превосходные. Он единственный, посмевавший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины.

В саду по утрам, в росистом саду уже стоит синий эфир, сквозь который столбы ослепительного солнца. До кофе прошел по аллее, вернулся в усадьбу мимо Лозинского, по выгону. Ни единого облачка, но горизонты не прозрачные, всюду ровные, сероватые. Коля, Юлий, я ездили в Кочуево к Ф(едору) Д(митриевичу) за медом. Возвращались (перед закатом), обогнув Скородное. Разговор, начатый мною, опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т. д.!

*4 августа*

Ночью уехал (в Ефремов) Женя. Почти все

утро ушло на газеты. Снова боль, кровная обида, бессильная ярость! Бунт в Егорьевске Рязанской губернии по поводу выборов в городскую думу, поднятый московским большевиком Коганом, — представитель совета крестьянско-рабочих депутатов арестовал городского главу, пьяные солдаты и прочие из толпы убили его. Убили и товарища городского головы.

«Новая жизнь» по-прежнему положительно ужасна! Наглое письмо Троцкого из «Крестов» (?) — напечатано в «Новой жизни».

День — лучше желать нельзя.

Если человек не потерял способности ждать счастья — он счастлив. Это и есть счастье.

*8 августа*

Шестого ездил в Каменку к Петру Семеновичу. Когда сидели у него, дождь. Он — полное равнодушие к тому, что в России. «Мне земля не нужна». «Реквизиция хлеба? Да тогда я и работать не буду, ну его к дьяволу!»

Погода все время прекрасная.

Нынче ездили с Колей в Измалково. Иде-

альный августовский день. Ветерок северный, сушь, блеск, жарко. Когда поднимались на гору за плотиной Ростовцева, думал, что бывает, что стоит часа в четыре довольно высоко три четверти белого месяца, и никто никогда не написал такого блестящего дня с месяцем. Люблю август — роскошь всего, обилие, главное — огороды, зелень, картошка, высокие конопли, подсолнухи. На мужицких гумнах молотба, новая солома возле тока, красный платок на бабе...

Колю подвез к почте, сам ждал его возле мясной лавчонки. Возле элеватора что-то тянут — кучка людей сразу вся падает почти до земли. Из южного небосклона выступали розоватые облака.

Поехали домой — встретили на выгоне барышню и господина из усадьбы Комаровских. Он весь расхлябанный по-интеллигентски: болтаются штаны желтоватого цвета, кажется, в сандалиях, широкий пояс, рубаха, мягкая шляпа, спущенные поля, усы, бородка — à la художник.

*9 августа*

Ездили с Верой в Предтечево. Жаркий дивный день. Поехали к Романовским за медом, не доехали — далеко чересчур мост, повернули назад, поехали к Муромцевым...

*11 августа*

С утра чудесный день. Вера не совсем здорова, опять боль, хотя легкая, там же, где в прошлом году, и под ложечкой. Беспокойное темное чувство.

Перед вечером к Федору Дмитриевичу на дрожках — я, Коля, Юлий. Потом кругом Колонтаевки. Тучи с запада. В лесу очень хорошо, я чувствовал тайный восторг какой-то, уже чувствуется осенняя поэзия. Дорога в лесу и то уже осенняя отчасти. Когда выехали на дорогу — грандиозная туча с юга, синяя. Ливень захватил уже на дворе.

Дней десять тому назад начал кое-что писать, начинать и бросать. Потом вернулся к делу Недоноскова. Нынче уже опять почувствовал тупость к этой вещи.

*13 августа*

Как и вчера, день с разными тучками и об-

лаками, — небом необыкновенной красоты. Вчера опять ездили с Колей к Федору Дмитриевичу за медом. Умиляющее предчувствие осени.

Нынче Коля уехал в Ефремов. Совсем уехала кухарка с детьми, с Жоржиком. Я возле телеги шутил с ним, целовал (как не раз прежде) — они уехали, даже головой не кивнув. Животные!

Ходили с Юлием к Вас... Дежурному. Заходили тучи, была жара. Потом разошлось, прелестная погода. Сидели в лощинке, читали газету. Потом по деревне. Грязь, все развалено. Собственно, никто ничего не делает почти круглый год. А Шмелевы лгут, лгут про русский народ!

Кажется, одна из самых вредных фигур — Керенский. И направо, и налево. А его произвели в герои.

Читал «Наше сердце».

«Хвост и уши отрубить (собаке) — злей будет». Как глупо!

*14 августа*

Проснулся от юношески сильной эроти-

ки — сон, что мне отдалась в первый раз какая-то девушка, чарующая какой-то простой прелестью.

Девка на варке что-то работает лопатой железной — заносит высоко и ставит ногу на лопату — видел это, выйдя на двор днем, и волновался.

Кончил «Наше сердце». Искусно, местами очень хорошо, но остался холоден. Так длинно и все об одном и в конце концов пустяковым. Герой совсем не живой и не заражает сочувствием, героиня видна, но тоже как будто неживая.

Утром немного работал над «Любовью», немного так — одесское утро (начало — чего, еще не знаю).

Облака и солнце. После обеда я, Юлий и Вера в Колонтаевку. Жара. Вера после болезни еще — прозрачней, что ли. Зашел в контору, там наговорил глупостей с Каблуковым и Дм. Алекс., взял «Раннее утро». Прочел первый день московского совещания. Царские почести Керенскому, его речь — сильно, здорово, но что из этого выйдет? Опять хвастливое красноречье, «я, я» — и опять и направо и

налево. Этого совместить, вероятно, нельзя. Городской глава — Руднев! до сих пор не могу примириться! — приветствует совещание, а управские курьеры хулиганят в знак протеста против этого «контрреволюционного» совещания — вылили чернила из всех чернильниц — и управа не работала! Зайчик (солдат наш), «как капля солнца», отражает в себе все главное русское демократии (тот, что прогнал девиц из Ельца, переписывающих хозяйство мужиков, и кричал, чтобы мужики, выбиравшие представителей на выборы в церковный собор, не подписывались — «вас в крепостное право хотят обратить»).

К вечеру свежий ветер с юга, тучи. Лежал на соломе. Облака на восточном горизонте изумительны. Гряды, горы бледно, дымчато лиловатые (сквозь них бледность белизны внутренней) — краски невиданной у нас нежности, южности.

*15 августа*

Весь день с небольшими перерывами сильный прямой дождь (обрушивался еще ночью, я слышал сквозь сон). Бахтеяровская сто-

рона как в дымке. Все еще очень зелено и густо, поэтому похоже на летний дождь.

Засыпая вчера, обдумывал рассказ. Конец 20-х годов, Псковская губерния, приезжает из-за границы молодой помещик, ездит к соседу, влюбляется в дочь. Она небольшая, странная, ко всему безучастная. Чувствует, и она его любит. Объяснение. «Не могу». Почему? Была в летаргии, побывала в могиле. Нынче другой рассказ. Англичанка с термосом. Всюду встречаю — Бернер-Пасс, Алжир, Сицилия, Рим, потом Асуан. Умирает на Элефантине в чахотке. Всю жизнь мыкалась, весь мир «very nice»[3]. Нехороша; как ребенок, радостна.

На висячей зелени-хвое за окном висят бисером стеклянные капли. Плещет желоб. Статья Кусковой. «Репрессиями не поможешь. Нужно просвещать деревню. Футбол и т. д.».

*16 августа*

Шипит сад, волнует, шумит дождь. Ветер, дождь часто припускает. Читал Мопассана, потом Масперо о Египте, — волновался, грезил, думая о путешествии Бауку в Финикию, потом читал Вернон Ли и думал о Неаполе,

Капри, вспоминал Флоренцию.

Высунулся в окно. Сорочка со скребом когтей перебралась через потемневший от дождя забор из сада и пробежала мимо окна, улыбнувшись мне дружески, сердечно и замотав хвостом. Как наши души одинаковы!

*17 августа*

День прекрасный. Много гуляли с Юлием. Часу в пятом пошли мимо кладбища, потом по лугу в лес, называемый нами «Яруга».

Ночь лунная. Гуляли за садом. Шел по аллее один — соломенный шалаш и сад, пронизанный лунным светом, — тропики. Лунный свет очень меняет сад. Какое разнообразие кружевной листвы, ветвей — точно много-много пород деревьев.

*18 августа*

В час уехал Юлий — в Москву. Лето кончилось! Грусть, боль, жаль Юлия, жаль лета, чувство горькой вины, что не использовал лета лучше, что мало был с Юлием, мало сидел с ним, катался. Мы вообще, должно быть, очень виноваты все друг перед другом. Но

только при разлуке чувствуешь это. Потом — сколько еще осталось нам этих лет вместе? Если и будут эти лета еще, то все равно останется их все меньше и меньше. А дальше? Разойдемся по могилам! Так больно, так обострены все чувства, так остры все мысли и воспоминания! А как тупы мы обычно! Как спокойны! И неужели нужна эта боль, чтобы мы ценили жизнь?

Читаю эти дни Вернон Ли «Италия». Все восторгается, все изысканно и все только о красивом, о изящном — это скоро начинает приводить в злобу.

*20 августа*

Большинство женщин беспокойно мучается недовольством своей жизнью, ищет «цели жизни», изменяет или ждет любовников в надежде, что тогда придет счастье — почему? Оне растут, оне воспитываются в сознании, им всячески внушают, что оне непременно должны быть счастливы, любимы и т. д.

Чем я живу? Все вспоминаю, вспоминаю. Случалось — увидишь во сне, что был близок с какой-нибудь женщиной, с которой у тебя в

действительности никогда ничего не было. После долго чувствуешь себя связанным с нею жуткой любовной тайной. Не все ли равно, было ли это в действительности или во сне! И иногда это передается и этой женщине.

Вчера ездили с Верой на шарабане кататься — к Крестам, потом в Скородное и вокруг него — обычная дорога, только наоборот. День был прекрасный. Когда выехали, поразила картина (как будто французского художника) жнивья (со вклиненной в него пашней и бархатным зеленым кустом картофеля) — поля за садом, идущего вверх покато — и неба синего, и великолепных масс белых облаков на небе, — и одинокая маленькая фигура весь день косящего просо (или гречиху красно-ржавую) Антона; и все мука, мука, что ничего этого не могу выразить, нарисовать!

Читал (и нынче читаю) «Завоевание Иерусалима» Гарни. Много времени, как всегда, ушло на газеты. Керенский невыносим. Что сделал, в сущности, этот выскочка, делающийся все больше наглецом? Как смел он крикнуть на Сахарова «трус»?

Все читаю Мопассана. Почти сплошь — пу-

стяжки, наброски, порой пошло.

Нынче серо, прохладно, прохлада уже осенняя. Все утро звон — кого-то хоронят. По-минутно, с промежутками: «блям!» Вот кого-то несут закопать... как мы равнодушны друг к другу! Ведь, в сущности, я к этому отношусь как к смерти мухи.

Все гул, гул молотилки паровой последние дни — у Барбашина.

*21 августа*

Серый, со многими осенними чертами, с много раз шедшим дождем день. Пели петухи, ветер мягкий, влажный, с юга, открыта дверь в амбар, там девки метут мучной пол, — осень! Свежая земля в аллеях уже сильно усыпана желтой листвой. Листья вяза шершавые, совсем желтые.

Перечитываю «Федона». Этот логический блеск оставляет холодным. Как много сказал Сократ того, что в индийской, в иудейской философии!

В девять вечера вышли с Верой — ждали Антона и Коли со станции, пошли к бывшей монополии. Луна была еще низко над нашим

садом. Многое еще в очень длинных тенях. Над бахтеяровской стороной ужасное и мрачное величие сгрудившихся туч, облаков (против луны). Белизна домов там — точно это итальянский городок. Коля опять не приехал.

Газеты. Большевики опять подняли голову. Мартов... требует отмены смертной казни.

В 10 1/2 вышел один гулять по двору. Луна уже высоко — быстро неслась среди ваты облаков, заходя за них, отбрасывая на них круг еле видный, красновато-коричневый (не определишь). За чернотой сада облака шли белыми горами. Смотрел от варка: расчистило, деревья возле дома и сада необыкновенны, точно бёклиновские, черно-зеленые, цвета кипарисов, очерчены удивительно.

Ходил за сад. Нет, что жнивье желтое, это неверно. Все серо. На северо-востоке желтый раздавленный бриллиант. Юпитер? Опять наблюдал сад. Он при луне тесно и фантастично сдвигается. Сумрак аллеи, почти вся земля в черных тенях — и полосы света. Фантастичны стволы, их позы (только позы и разберешь).

11 1/2 ч. Лежал в гамаке, качался — белая

луна на пустом синем небе качалась как маятник. В спину дуло.

*22 августа*

Дождь льет, но день вроде вчерашнего. Начал читать Н. Львову — ужасно. Жалкая и бездарная провинциальная девица. Начал перечитывать «Минеральные воды» Эртеля — ужасно! Смесь Тургенева, Боборыкина, даже Немировича-Данченко и порою Чирикова. Вечная ирония над героями, язык пошленький. Перечитал «Жестокие рассказы» Вильеда Лиль Адана. Дурак и плебей Брюсов восхищается. Рассказы — лубочная фантастика. Изысканность, красавость, жестокость и т. д. — смесь Э. По и Уайльда, стыдно читать.

Дочь Аннета. Какая-то почти жуткая девочка, очень крупная, смесь девочки и женщины, — оттого что очень рано стала б..., должно быть?

«Учение есть припоминание». Сократ.

Последние минуты Сократа, как всегда, очень волновали меня.

Вечером приехали Коля с Евгением. Коля в Ефремове все задышался.

Взята Рига. Орлов рассказывал Коле — где-то церковный сторож запретил попу служить, запер церковь — поп «буржуй», «ездил в гости к Стаховичу».

*23 августа*

Вчера после обеда дождь лил до восхода луны, часов до десяти. Нынче часов с двенадцати опять то же. Похолоднело. Лес за Бахтеяровым в тумане.

Думал о Львовской, дочитав ее книгу. Следовало бы написать о ней рассказ.

Читаю «Стихи духовные» (со вступительной статьей Ляцкого).

Почти весь день нельзя было выйти — очень часто осенний ливень.

Вечером Антон привез газеты, письмо Юлия. Юлий с вокзала заплатил извозчику одиннадцать рублей. В газетах ужас: нас бьют и гонят, «наши части самовольно бросают позиции». Статья Кусковой — «Русские кошмары» — о мужиках, как они не дают хлеба и убивают агентов правительства, разъясняящих необходимость реквизиции хлеба. «Разруха ли»!

*24 августа*

С утра сильнейший ветер, часто припускает дождь. Перечитываю стихи Гиппиус. Насколько она умнее (хотя она, конечно, по-настоящему не умна и вся изломанна) и пристойнее прочих — «новых поэтов». Но какая мертвяжина, как все эти мысли и чувства мертвы, вбиты в размер!

6 ч. 20 м. Свет солнца с заката в комнате — на правой притолоке двери, кусок на красной материи на отвале кровати и на стене над кроватью (на южной стене) — желтый с зеленоватым оттенком. Эти светлые места все испещрены колеблющейся тенью деревьев палисадника, волнуемых ветром. Кажется, переходит в погоду. Читаю стихи Гиппиус «Единый раз вскипает пеной...».

*26 августа*

Позавчера вечером были с Верой у Лозинских, — у них оказалось «Русское слово» за двадцать третье. Мы ходили по луне (уже невысокой, три четверти), ждали, пока они дочитают, потом взяли. Аресты великих кня-

зей, ужасы нашего бегства от Риги, корпус бежал от немецкого полка, переходившего Двину.

Вчера было прохладно и серо, вид уже совсем осенний. Нынче поминутно дождь, ветер косо гонит его, мелкий, с севера-запада, бахтеяровская сторона часто в тумане. Вчера мы с Колей ходили к Пантюшку. Он ничего, но подошли бабы. Разговор стал противный, злобный донельзя и идиотский, все на тему, как господа их кровь пьют. Самоуверенность, глупость и невежество непреодолимые — разговаривать бесполезно.

Нынче читаю о Владимиро-Суздальском царстве в книге Полевого. Леса, болота, мерзкий климат — и, вероятно, мерзейший, дикий и вульгарно-злой народ. Чувствую связь вчерашнего с этим — и отвратительно.

Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мертво вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической природы в ней ни на йоту.

*27 августа*

День серый и холодный. Вечером приехал

Митя. Его рассказ о трех юнкерах.

*28 августа*

Солнечный прохладный день.

*29 августа*

День еще лучше. Ходили в контору — я, Вера, Митя. Жуткая весть из Ельца — Митя говорил по телефону: Корнилов восстал против правительства. В четыре часа пошли низом в Колонтаевку. Возвратясь, опять зашли в контору. Весть подтверждается...

*30 августа*

Ездили с Митей в Измалково. На почте видел только «Орловский вестник» 29-го. Дерзкое объявление Керенского и еще более — социалистов-революционеров и социал-демократов — «Корнилов изменник». Волновался ужасно.

*31 августа*

Телефон из Ельца — Орлов и Арсик — что «состоялось соглашение». Дико! Вера утром уехала с М. Н. Рышковой в Предтечево. Поеха-

ли за ней с Митей. Там «Новое время» и «Утро России». Ошалел от волнения. Воззвание Корнилова удивительно! Вечером газеты — «Русское слово» от 29 и «Р<усский> <голос>» <?> от 30-го. Последняя поразила: истерически-торжественное воззвание Керенского: «Всем! всем! всем!» Таких волнений мало переживал в жизни. Просто пришибло.

Нынче весь день угнетен, как не запомню. Снова звонил Митя в Елец. Оказывается, нет, не все еще кончено, «только ночи настали», сказал К., будто взят Курск Калединым.

В пятом часу поехал в Жилых за рисом. Дни были хорошие, нынче серо, прохладно, все беззвучно, неподвижно.

В Жилых у плотины девочка навстречу. «Где потребиловка?» — «Вон на той стороне, где камни на амбаре». Двойная изба, в сенцах свиньи. Грязь, мерзость запустения. В одной половине пусто, в углу на соломе хлеба. Милая баба, жена Семена, торгующего. Ждал его. Но сперва пришел пьяный мужик, просил что-то «объяснить». На взводе затеять скандал. Потом старик, которого Семен назвал «солдатом», и молодой малый с гармонией,

солдат, гнусная тварь, дезертир, ошалевший, уставший от шатанья и пьянства. Молчал, потом мне кратко, тоном, не допускающим возражений: «Покурить!» Мужиков это возмутило — «всякий свой должен курить!». Он: «Тут легкий». Я молча дал. Когда он ушел, «Солдат» рассказывал, что дезертира они не смеют отпирать: пять раз сходку собирали — и все без результата: «Нынче спички дешевы... сожжет, окрадет». Вечером газеты, руки дрожат.

### *2 сентября*

С половины дня ливень и до ночи. И ночью, хотя уже не такой — до утра. «Русское слово» от первого.

### *3 сентября*

Утром «Русское слово» от 2-го. Опять подлая игра в смену кабинета. Где Корнилов? Все-таки, видимо, ужасно испугались. Первый день я сравнительно спокойней. С утра дождь, потом распогодилось. Но все насыщено водой.

### *4 сентября*

Письмо от Юлия. Он еще лечится. Это ужасно. Неужели это не придет в норму или будет повторяться?

«Русское слово» от 31-го и 1-го. В совете рабочих депутатов Каменев и Стеклов говорят, что «снесут голову с Корнилова». «Голос народа» от 2-го: Корнилов будто арестован.

Серо, потом то дождь, то солнце. Сейчас полдень. Уехал Евгений.

К вечеру распогодилось.

В десятом часу вечера — газеты. *Государственный переворот!* Объявлена республика. Мы ошеломлены. — Корнилов арестован.

Воля Гоца, Дана, Либера и т. д. восторжествовала — Россия в их руках! Что же значили эти переговоры Керенского с Кишкиным?! — Авксентьев, Либер в ужасе: «Каледдин!»

Заснул почти в два часа.

Ночь была очень светлая, небо засыпано чистейшими звездами.

С неделю уже ровно ничего не делаю.

7 сентября

Уехал Митя. Мы с Колей ездили по предте-

чевским лугам, потом через Победимовых и Скородное домой, было солнечно, лес уже по-осеннему в свете и волнении. Мужики все рубят и рубят леса. К вечеру опять на дождь, ехали назад, на севере — мертвенно-синеватые облака.

*8 сентября*

Погода светлая, хорошая. К вечеру приехал Мишка, возивший Митю: опоздали на поезд, поехали в Елец.

Был в конторе. Сын медника, рабочий, приятный, хорошо осведомлен, но кое в чем путается. И против большевиков, и «Новую жизнь», увидав у меня, назвал «хорошей газетой». Я послал за Митей отказ в «Новую („Свободную“) жизнь».

*9 сентября*

Ночью была ужасная гроза, ураган. Нынче хорошо, ветрено, солнечно.

Были на Жадовке, у Сергея Климова. Все в один голос одно: «Корнилов нарочно выпущен немцами» и т. д. В этом и весь призыв его.

Клен в жадовском саду — цвета королька, по оранжевому темно-красное.

Изумительны были два-три клена и особенно одна осинка в Скородном позавчера: лес еще весь зеленый — и вдруг одно дерево, сплошь все в листве прозрачной, багряно-розовой с фиолетовым тоном крови.

Читал Жемчужникова. Автобиография его. Какой такт, благородство!

Сейчас пишу — по рукам, тетради желтый свет заходящего солнца. Оно садится за бахтеяровской усадьбой, как раз против спуска с той горы. По моим часам около шести. Сергей Климов: «Да Петроград-то мать с ним. Его бы лучше отдать поскорей. Там только одно разнообразие».

*11 сентября*

Все пустые дни! Читал Жемчужникова, «Анну Каренину». Приехала М. Ник. Рышкова. Погода холодная, переменчивая, дурная.

*12 сентября*

Очень холодно. Кажется, вчера утром — косые космы пухлых низких облаков гряз-

но-лиловатых, северных, морских по западному горизонту (утром часов в восемь). Среди дня много солнечных моментов, но ветер, прохладно. К вечеру очень холодно — в пору полушубок. Луна уже три четверти.

### *13 сентября*

С утра очень холодно, был за садом, летели листья с кленов, взял один.

Коля в астме. Вечером поехал со мной в Знаменье. Серо, потеплело — дочитал Жемчужникова. В общем, серо, риторика.

### *14 сентября*

Теплый прелестный день, солнечный. Ездили с Верой в Измалково, перед вечером. Луна три четверти стала видна с пяти часов.

### *15 сентября*

Проснулся в 6 1/2, еще солнце не показалось; утро удивительное, росистое. День еще лучше. Совсем лето. Все аллеи усыпаны листвой. Читал Минского. Прочел сорок восемь страниц. Ужасная риторика!

Коля все еще болен. Еле выбрался в сад, си-

дел на скамейке с Верой. Алекс. Петр. плача рассказывал про Ваню.

Газеты. На советы narосла, видимо, дикая злоба у всех. Разъяснение Савинкова. Да, «совершена великая провокация». Керенского следовало бы повесить. Бессильная злоба.

В пять поехали с Верой в Скородное и вокруг него. По дорожке среди осинок. Еще не желтые осинки, но дорога вся усыпана их листвой круглой — сафьян малиновый, лимонный, палевый, почти канареечный есть. Когда выехали, чтобы повернуть направо, кто-то среди деревьев на опушке что-то делал лежа; красного солнца осталось уже половина. Месяц довольно высоко, — *зеленовато-белый*, небо под ним гелиотроповое почти. Хороша та дорога, где всегда грязь! Глубокие колеи — все возят тяжелое, все воруют лес. Возле места, где была Караулка, стояли, вертел курить, дивились на красоту: месяц впереди, в левом направлении, над лесом, кое-где желтые высокие стройные деревца (кажется, клены), закат направо совсем бесцветный, светлый. Под месяцем <?> опять гелиотропы, ниже и левее синева цвета сахарной бумаги. Ве-

ра смотрела направо — дивилась, как зубчатая линия леса — на закате. Дальше по просеке — дороге трудно ехать — так много сучьев. Уже темнело (в глубине-то леса). Выехали на опушку, чтобы повернуть направо (караулка), постояли, опять подивились — хорош был кровавый клен. Я взял листок. Он сейчас передо мной, точно его, бывший светло-палевым, обмакнули в воду с кровью.

Как осенью в лесу, в чаще, вдруг видишь: светит желтизной, выдвинулась ветка орешника. Даже жутко. Когда проехали Победимовых, повернули направо, стали спускаться с горы, закат уже краснел, а луна (направо, над лощиной, полной леса) была на сером, освещенном ею небе. Вообще небо было почти все серое, чуть в глубине синеватое.

Как странно все освещает осенняя заря! — сказал Вере, поднимаясь в гору.

*16 сентября*

Все же у него была душевная жизнь.

Ездили кататься. (День прекрасный). Возле того места, где была караулка, крякнула задняя ось. Дошли пешком. Спеша за мерином,

запотел, устал.

Коля болен. Нынче что-то схватило в кишках — вернулся из нужника страшный — гробовая бледность.

Чуть не все за садом засыпано желтой листвой кленов. Уже очень много вершин зарыжело, зажелтело. Как поражает всегда этот цвет! Остров почти весь зелен. Но, едучи кататься, видел осинку в этой зелени — совершенно малиновая!

Луна ночью была необыкновенно ясна. Со всем полная.

*17 сентября*

Довольно сильный и прохладный ветер. Сад сипит, кипит. Почти все небо в грифельной мути, облачности. Светлее, где солнце. Еще больше желтых, краснеющих, красно-оранжевых вершин.

Гляжу на бахтеяровский сад: местами — клубы как будто цветной капусты этого цвета.

Вчера, едучи мимо пушешниковского леса, видел вдали, в Скородном (на косогоре, где дорога к Победимовым), целый островок желто-

го (в которое пущена красная краска — светлая охра? Нет, не то!) — особый цвет осенних берез.

*11 1/2 ч. дня.* Дочитал «Каренину». Самый конец прекрасно написан. Может быть, я ошибаюсь насчет этой части? Может быть, она особенно хороша, только особенно проста?

Были облака, ветер. Ночь была поразительно ясная, луна чиста необыкновенно, в небе ни единого облачка, так все продрал резкий ветер.

*22 сентября*

Ездили с Верой в Озерки. Хороший день, но ветер, довольно прохладно, а когда возвращались зарей, то и совсем.

*23 сентября*

Два дня были необыкновенно хороши — солнечные, теплые. Вчера отправил письмо Кусковой. Был дождь!

Нынче холодно, низкие синеватые небо-склоны с утра. После обеда гуляли втроем. Дивились на деревья за сараем, с поля из-за ри-

ги — на сад: нельзя рассказать! Колонтаевка — и желтое, и черно-синее (ельник), и что-то фиолетовое. Зеленее к Семеновкам — миллиардное сукно. Клены по нашему садовому... необыкновенные. — Сказочный — желтый, прозрачные купы. Ели темнеют — выделились. Зелень непожелтевшая посерела, тоже отделяется. Вал весь засыпан желтой листвой, грязь на дороге — тоже. Ночью позавчера поразила аллея, светлая по-весеннему сверху — удивительно раскрыта.

Вообще — листопад, этот желтый мир непередаваем. Живешь в желтом свете.

Сейчас ночь темная, дождь. Был нынче на мельнице. Злобой мужики тайно полны. Разговаривать бессмысленно!

*27 сентября*

Абакумов: нет, жизнь при прежнем правительстве — куда красней была! Теперь в... нельзя — того гляди — голова слетит.

День несколько раз изменялся. С утра было холодно. Все вспоминаю противный разговор на мельнице — Л(нрзб), придиравшийся к виноктуру, к монопольщику, лгавший, что его

мальчишку бросил австриец в окно завода, грозивший «убить» — теперь это слово очень просто! — солдат Алешка...

Ездил с Колей кататься. Лес рубят.

*28 сентября*

Почти летний день. Разговор за мельницей с «Родным» и другими шедшими из потребиловки.

Вечером что-то горло.

*29 сентября*

Не выхожу. Больно железу, в горле что-то есть. Летний день. Все читаю Фета. Как много...!

*30 сентября*

Горло ничего, слава Богу. Гуляли. На гумно Андрея С. — там молотья. А. Пальчиков в очках черных в кожаном футляре подает, серо-бурая борода, темна по окраинам на щеках (как... — нрзб — как многие старики), бабы одно и то же: «что гуляете, идите к нам солому тресть». По деревне к лесу. День летний. Поразил осинник на мысу — совершенно

оранжевый, и так выделилось каждое дерево и выпуклость бугра, и до неприятности похоже на гигантского ужа. Извив тропинки по бугру. Поразителен и осинник в лощине в начале леса, такой же. Все, весь лес необыкновенно сух, шуршит, и непередаваемо прекрасный запах подожженных сушью, солнцем листьев. Блеклая трава засыпана листвой, дубовая листва коричневая на опушке, — дубы все шуршат, все бронзово-коричневые.

Говорил, как ничтожно искусство!

Поразила декларация правительства, начало: анархия разлилась от Корнилова! О негодяи! И все эти Кишкины, Малянтовичи! Ужасны и зверства, и низость мужиков, легендарны.

*1 октября*

Утром вышел — как все бедно стало: сад, солнце, бледное небо. Потом день превосходный. Ездили с Колей к Победимовым.

И снова мука! Лес поражает. Как он в два дня изменился: весь желто порыжел (такой издали). Вдали за Щербачевкой шапка леска буро-лиловата, точно мех какой на звере об-

лезает. А какой лес по скату лощины! Сухая золотая краска стерта с коричневой: кленоватой.

*2 октября*

Проснулся в шесть. Лежал час. Душа подавлена. Юлий, думы о том, что, может, скоро опустеет мир для меня — и где прежнее — беспечность, надежда на жизнь всего существа! И на что все! И еще — совсем отупела, пуста душа, нечего сказать, не пишу ничего, пытаюсь — ремесло, и даже жалкое, мертвое.

Вчера воззвание Брешко-Брешковской к молодежи — «идите, учите народ!».

Ночью гулял — опять все осыпано бриллиантами сквозь голые ветви. Григорий идет от кума — «пять бутылочек на двоих выпили». «И ты не выпивши?» — «Да нет, ведь я ее чаем гоню...»

Нынче еще бледнее утро, хотя прелестное и свежее, бодрое. Уже на кленах на валу на немногих и местами желтая, еще густая листва.

*3 октября*

Вчера в три часа с Колей в Осиновые Дворы. Скородное издали — какой-то рыже-бурый медведь. Ехали через Ременский лес. Дубки все бронзовые. Сквозь него изумительный пруд, в одном месте в зеркало льется отражение совершенно золотое какого-то склоненного деревца. Караулка, собачонка так зла, что вся шерсть дыбом, — знакомая; выскочил тот старик, радостно-шалевой, торопливый, бестолковый, что видел в Скородном. Федор Митрофаныч, конечно, солгал, что у Ваньки отняли ружья, был скандал, он стрелял уток барских на пруде возле этой караулки, но не отняли. «Как ты попал сюда?» — «Позвольте, сейчас...» Страшно-радостно и таинственно: «Поросенка пошел куплять, у Борис Борисыча... Борис Борисыч отвечает...» (вместо «говорит» и очень часто некстати: хотя). Были в Польском (деревушке). Два совершенно синих пруда — сзади нас, как въезжали на гору — предвечернее солнце. Поразили живописность и уединение Логофетовой усадьбы. Сад, да и ближе деревья — главное рыже-бронзовое. Наше родовое. Охватила мысль купить. Стекла горят серебряной слюдой, лу-

чезарными звездами в доме, издали. В Осиновых дворах два мужика: один рыжий, нос картошкой, ласково-лучистый, профессор, другой — поразил: IV <?> в., Борис Годунов, крупность носа, губ, толстых ноздрей, профиль почти грозно-грубый, черные грубые волосы, под шапкой смешаны с серебром. Должно быть, древние люди, правда, не те были. Какое ничтожество и мелкость черт у ребят молодых! Говорили эти мужики, что они про новый строй мутно знают. Да и откуда? всю жизнь видели только Осиновые двory! И *не может* интересоваться другим и своим государством. Как возможно народоправство, если нет знания своего государства, ощущения его, — русской земли, а не своей только десятины!

Шесть часов вечера. Сейчас выходил. Как хорошо. Осеннее пальто как раз впору. Приятный холодок по рукам. Какое счастье дышать этим сладким прохладным ветром, ровно тянущим с юга вот уже много дней, идти по сухой земле, смотреть на сад, на дерево, еще оставшееся в коричневатой листве, краснеющей не то от зари (хотя зоря почти бесцвет-

на), не то своей краской. Вся аллея засыпана краснеющей, сухой, сморщенной листвой, чем-то сладко пахнущей. Как нов вид на сквозной сад, сквозь который за долиной воздух чуть зеленоват, и заря наполняет весь сад розоватым светом. Почти все голо, почти все клены на валу и аллея и т. д., лишь яблони в золотисто-бронзоватой мелкой мертвой листве.

Правительство «твердо, решило подавить погромы». Смешно! Уговорили? Нет, это *не* ему сделать! «Они и министры-то немного почище нас!» Вчера в полдень разговор с солдатом Алексеем — бешено против Корнилова, во всем виноваты начальники, «мы большевики, пролетариат, на нас не обращают внимания, а вон немцы...» Младенцы, полуживотная тьма!

Нынче хорошее настроение, написал два стихотворения нрзб.

Гулял в Колонтаевку, послал утром книгу Белевскому (последний том «Нивы» в переплете).

Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, не преследу-

ют вкуса — лишь бы нажраться. Бабы готовят еду с раздражением. А как, в сущности, не терпят власти, принуждения! Попробуй-ка введи обязательное обучение! С револьвером у виска надо ими править. А как пользуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, — сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. Злой народ! Участвовать в общественной жизни, в управлении государством — не могут, *не хотят* за всю историю.

Прогулка в Колонтаевку была дивна: какая сине-темная зелень пихт не пожелтевших! (Есть еще такие, хотя большинство все дорожки усыпали своими волосами). Шли дорожкой — впереди березы, их стволы, дальше трубы тонкие пихт, серая тьма и сквозь это — сине-каменное небо (солнце было сзади нас, четвертый час). Бёклин поймал новое, дивное. А как качаются эти тонкие трубы в острых сучках на стволах! Как плавно, плавно и все в разные стороны!

Возле бахтияровского омета сквозь голый сад видна уже церковь. Как ново после лета!

Интеллигенция не знала народа. Молодежь Эрфуртскую программу учила!

*4 октября*

Вчера было радостное возбуждение — подумал: будет дождь. Так и есть. С утра очень тихо, дождь. Щеглы на «главном» клене. Потом ветер. Часов с трех повернул — с северо-запада. Образовалась грязь. Заходили на мельницу, к Колонтаевке. Листва (почти не изменилась) на сирени. Про яблони, кажется, неверно записал вчера — оне... ну, грязная золотистая охра, что ли, с зеленоватым оттенком. Яблони еще все в листве (такой).

Все читаю Фета (море пошлого, слабого, одно и то же), пытаюсь писать стихи. Убожество выходит!..

*5 октября*

Вчера вечером около одиннадцати ветер повернул — с севера-запада. Вызвездило. Я стоял на последней ступеньке своего крыльца — как раз против меня был (над садом) Юпитер, на его левом плече Телец с огоньком Альдебарана, высоко над Тельцом гнездо

бриллиантовое — Плеяды.

Нынче очень холодно, ветер почти с севера, солнечный день. Ездил с Колей к Муромцевым. Как хороша его усадьба с этими деревьями в остатках осенней листвы (когда ехали, поразило Скородное далекое нрзб, мех (пух, что ли) зверя — дымчато-серый, кое-где клоки рыжеватой шерсти еще не оципаны. Далекий лесок под Щербачевкой — цвета сухой малины. Прочие лесочки за <нрзб> — все бурое <нрзб>. Петруха, кучер Муромцевых: «Все начальники продают... Мне племянник пишет, он брехать не будя». — Послал книгу Милюкову. (Дня три тому назад — Белоруссову.)

*6 октября*

Рано, в шесть, проснулся. Подавленное состояние. Оступел я, обездарел, как живу, что вижу! Позор! Туман, вся земля белая, твердая. Пошел гулять — кладбище (оно еще в траве) теперь под сединой изморози — малахитовое, что ли.

Лозинский едет в Измалково. Зашел к нему. Сиденье тележки, козлы — как мукой

осыпаны. Сад Бахтеярова в тумане грязно темнеет.

Послал книгу Бурцеву (всем — 5–6 томы «Нивы»).

Вчера читали записку Корнилова. И Керенский молчок! И общество его терпит!

Почти полдень. Горизонт туманен. Тихий, тихий беззвучный день. Так мертва, тупа душа, что охватывает отчаяние.

\* \* \*

Десять часов вечера. Гуляли немного за садом, потом по двору. В сущности, страшно. Тьма, ледяная мгла вдали едва различима, но все-таки видна.

Днем выходил: все былинки, полынки седые от инея. Туман (холодный) <нрзб> весь день). Остров — грязноватое что-то, цвета приблизительно охры, что ли. Лозины деревни вдали — зеленовато-серые... <нрзб>. Бахтеяровский сад и темно-желтоват, и буроватое, и т. д. У нас в саду возле вала листва — цвета мути, немного желтее.

Записка Алексеева. Что же русское общество не тянет за усы Керенского?!

Хам уже давно в русском обществе. Все,

что было темного, противоестественного <?> в литературе за последние двадцать лет — не то же ли, что теперь в общественной жизни? Что же дивились словам Горького, Андреева, Скитальца? А теперь — Керенские, Гвоздевы!

*7 октября*

Заснул вчера в 11, проснулся нынче в восемь. Несмотря на это, чувство тупости, растерянности еще сильнее. Утром письмо Юлия к Вере от 27 сентября. Мы все очень огорчились: каждый день будни... Ужасно!

День дивный, солнечный, бодрый; ходили в Колонтаевку — похоже все на то, как мы видели в прошлую прогулку туда. — Письмо от Кусковой. Отвечаю.

Сейчас около двенадцати ночи. Изумительная ночь, морозная, тихая, с великолепнейшими звездами. Мертвая тишина. Юпитер, Телец, Плеяды очень высоко. (Над юго-западом). На юго-западе Орион. Где Сириус? Есть звезда под Орионом, но низко и слабо видна.

Листва точно холодным мылом протерта. Земля тверда, подмерзла. Ходил за валом.

Идешь к гумну мимо вала (по направлению от деревни) — деревья на валу идут навстречу, а небо звездное за ними сваливается, *идет вместе со мною вперед*. Сзади идет за мной Юпитер и пр. Идешь назад — все обратное. То же и на аллее. А я писал в «Таньке»: «звезды бежали *навстречу*». Глупо.

Аллея голая стройна, выше и стройнее, чем в листопад. О, какая тишина всюду, когда я ходил! Точно весь мир прервал дыхание, и только звезды мерцают, тоже затаив дыхание.

8 октября. 11 ч. утра

Вчера долго не мог заснуть — ужасная мысль о Юлии, о Маше, о себе — останусь один в мире, если Юлий не выздоровеет, и кажется: если даже будет успех, сделаю что-нибудь — для кого, если Юлия не будет! Заснул почти в два.

Нынче проснулся в 8 1/2. Бешенство на Софью — уехали в Измалково! На меня внимания не обращают. Послал с Лозинским: Кусковой, Бунину, Нилусу, Черемнову, Колино письмо к Мите об отъезде в Москву (запрети-

ли!). Поехал один на дрожках в Скородное — круг обычный (начиная со стороны северной). Утро изумительное. Все крыши, вся земля были белые. Поехал через аллею, ветер вычистил ее середину, вся листва сметена на бок. Думал: «Могучим блеском полон голый сад, синим и сияющим эфиром». В поле дорога еще тверда, кое-где начинает потеть. В каждой колее, где тень, — голубая сахарная пудра. По жнивью под солнцем блеск алмазов по остаткам изморози. В лесу светлей, чем думалось. Иногда улавливал горечь листвы мокрой. Повернул по опушке мимо северной стороны леса — тени осинки по блестящей мокрой листве. В лощинке, полной деревьев, блеск мелкого стекла — сучки, оставшиеся листики. Вдоль восточной стороны, там, где всегда грязь и ухабы по кусочку дороги между деревьями, грязь салится, под салом земля еще твердая; бледно-водянистые зеленыя налывы, за лугом направо лес, по косогору лежащий — веет сизоватый дым, весь почти голый — осинник, среди этого верхушки берез удлинненными купами желтеют (неярко, грязно, темная охра, что ли), выделяются. На про-

секе снова вдали дроги, лошадь — рубят! О, негодяи, дикая сволочь! Думал о своей «Деревне». Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку — верь мне, я взял типическое. Да вообще пора свою жизнь написать, спустить шкуру со всей сволочи, какую видел, со всех этих Венгеровых и т. д.

Свернул на лесную дорогу, идущую от Победимовых, — направо. Вся в ухабах глубоких грязи, засыпанной листвой (перед этим все глядел на верхушки берез, сохранивших розовато- и рыжевато-желтую мелкую листву на изумительном небе). Дубы все в коричневой сухой листве. Среди стволов блеклая, вялая сырая зелень под листвой. Думал — здесь особенно похоже на весну. Если бы ехал весной, тут, в затишье, среди стволов, на спуске с горы, было бы жарко, птицы были бы, сладость, мука радостная, полная надежд на что-то — и на любовь, как всегда! — были бы. Въехал на гору — еще среди стволов четыре подводы, баба с топором, мальчишка. Выехал из лесу — далеко-далеко налево, на юго-востоке, над лугами возле Предтечева светлый белесый пар под солнцем, над ним полный света горизонт.

В голове — Одесса, Керчь, утро в ней, солнце, синь густая моря, белый город...

Понемножку читал в эти дни «Село Степанчиково». Чудовищно! Уже пятьдесят страниц — и ни на иоту, все долбит одно и то же! Пошлейшая болтовня, лубочная в своей литературности!.. Всю жизнь об одном, «о подленьком, о гаденьком»!

В три часа поехали с Колей на Прилепы за конопляным маслом для замазки. Хозяин маслобойки — богач, большой рост, великий удельный князь, холодно серьезен, застали среди двора, ноль внимания. «Масло — два рубля фунт». Пошли в маслобойку, заговорили — и вдруг чудесная добрая улыбка. Вот кем Русь-то строилась. О своих односельчанах как о швали говорил.

Закат с легчайшим, чуть фиолетовым туманом за бахтеяровской усадьбой на зеленях и по бахтеяровскому саду и Колонтаевка в нем. Солнце за бахтеяровским садом садилось огромным расплавленным шаром из золотого, чуть шафранового стекла. Пошел в контору. Там безобразничал негодяй Зайчик.

Ночью гуляли. Туман находил на нас хо-

лодный. Вверху звезды.

В двенадцать часов вышел — там вяз смутной массой. Звезды туманны. Юпитер распустил пленку голубоватую.

*9 октября*

Снова такой же дивный день. В три поехали с Колей в Гурьевку, были у Дмитрия Касаткина — «рушник», рушит просо и гречиху. Хозяин — «видно, опять кичится Николаем». Солдат стерва, дурак необыкновенный. «Солдаты зимней одежды не принимают — не хотят больше воевать. Два месяца дали сроку правительству — чтобы сделало мир. Немцы бедным не страшны — черт с ними, пускай идут. Богатые — вот это дело другое. За границу не уедешь — все дороги в один час встанут, всех переколем штыками. Начальства мы слушаемся, если хорошее, а если он не так командует, как же ему голову не срезать? Корнилов виноват, семьдесят пять тысяч с фронта взял. Керенский — ... не лезь, когда не умеешь править. Зачем он умолял наступление сделать?» И т. д.

Старик мужик худой, болезненный, милый

и разумный.

Баба — мощи, зло (про нас): «Это они все немцами пугают чернородие». — Да, вот что Керенский негодяй сделал!

Немцы завладели Рижским заливом.

*12 октября*

Позавчера мне исполнилось сорок семь лет. Страшно писать, но порой и утешение мелькает — а может быть, это еще ничего, может быть, я преувеличиваю значение этих лет?

Позавчера утром поехал с Колей и Мишкой (полуидиот и плут, но ничего себе мальй, на старый деревенский лад) в Ефремов. Было похоже, что погода портится, сперва шли лиловые облака — туман по небу — потом затянуло, день стал серый, ехали на Волжанку, Лебяжку, Березовку и т. д. Дорога по горам и однообразным деревням бесконечна. Деревня тонет в благополучии — сколько хлеба везде, скотины, птицы и денег! Пусто очень, почти ни души не встретили, и на улицах ни души, только молотят кое-где молотилки. Паровая молотилка в имении на Голицыне. И как ни-

кто не интересуется ни немцами, ни «Сов. Рос. Респ.» — и не знает ничего.

Приехали часа в четыре. Евгений, в кухне на печке со своим Арсиком. Когда зажгли огонь, прибежали дети Елизаветы Ильинишны Добровольской (Победимовой) — мальчик и девочка, мальчик хотел страстно видеть «живого писателя»; рассказали, что уже начался погром, которого давно ждали в Ефремове. Я пошел в парикмахерскую — слух вздорный, хотя действительно ждут с часу на час. Отвратительный «демократ» завивался самым бл...м образом, завился на 1 р. 75 к. Маленький, что стриг меня, вежливо спросил: «Под полечку прикажете?» Светила луна (почти 1/2). Ночевал не во флигеле, а в доме, долго разговаривал через дверь с Елизаветой Ильинишной. Она разошлась с мужем, выходит за другого, за пожилого. Я очень удивил ее, угадав, что у него слабые волосы (он довольно большой, блондин, «ждет ее десять лет») и что он очень любит ее детей. Не физически, но все-таки волновался близостью женщины за дверью, с которой мы одни в доме, за исключением крепко спящих детей. В три часа

проснулся, не спал до шести, приехала в четыре старуха Победимова — я испугался, думал, что она на лошадях, бежала от мужиков.

Утро с большой изморозью. Ходили с Евгением за покупками, в 1 ч. уехали. Светлый, прохладный, по свету похожий на летний день, — превосходный. Оглянулся — нежно и густо защемило сердце, — там, в роще, лежит мама, которая так просила не забыть ее могилы и у которой на могиле я никогда не был.

Коля задохнулся; всю дорогу молчал. Ехали на Боборыкино, потом на Кожинку, не доезжая Кожинки, свернули, мимо Новиковой, потом под гору, на гору, на мельницы и на Веригину. В Веригине пруд посередине, очень старые избы, богатая деревня. За Веригиной — под гору. За лугами напротив — лес коричневый в лощине, над ним высоко луна (ровно  $1/2$ ), профиль бледный, лес весь дубовый, весь в коричневой листве — листва точно в паутине. Боже, какая пустыня! А какая пустыня, какой дикарский поселок — хутор Лукьян Степанова! Никто не представит себе через сто, двести лет. По лиловому пруду золотая (от месяца) зыбь.

Опять восхитила логофетовская усадьба. Только миновали дом, луна за дубами, горизонт под ней — розовый. Потом быстро ехали, светало, ветреная ночь. Приехали домой в семь.

В Ефремове газеты за девятое и десятое. Открытие «Совета Республики», подлейшая болтовня негодяя Керенского, идиотская этой стервы Брешко-Брешковской («понятно, почему анархия — борьба классов, крестьяне осуществляют свою мечту о земле»). Мерзавец... Троцкий призывал <нрзб> к прямой резне.

Нынче ветрено, светлый прекрасный день. Убирался, запаковывал черный сундук. На полчаса выходил с Верой по направлению к Колонтаевке.

*13 октября*

Вот-вот выборы в Учредительное собрание. У нас ни единая душа не интересуется этим.

Русский народ взывает к Богу только в горе великом. Сейчас счастлив — где эта религиозность! А в каком жалком положении и как жалко наше духовенство! Слышно ли его

в наше, такое ужасное время? Вот церковный собор — кто им интересуется и что он сказал народу? Ах, Мережковские м...!

Понемногу читаю «Леонардо да Винчи» Мережковского. Ужасный «народился» разговор. Длинно, мертво, натащено из книг. Местами недурно, но почему знать, может быть, ворованное! Несносно долбление одного и того же про характер Леонардо, противно-слащаво, несносно, как он натягивает все на свою идейку — Христос — Антихрист!

«Нигде не видал таких красок — темных и в то же время таких ярких, как драгоценные камни» (стекла в соборе). «Монах откинул куколь с головы».

«Побледневшее на солнце, почти не видное пламя».

«Пахло чадом оливкового масла, тухлыми яйцами, кислым вином, плесенью погребов». «Ненавидящий проницательней любящего» (Леонардо). «У художников подражание друг другу, готовым образцам» (Леонардо). «Для великого содержания нужна великая свобода» (Леонардо).

*Quant'e bella giovinezza.*

*Ma si fugge tuttavia  
Chi vuol esser lieto, sia:  
Di doman: non c'e certeza[4]*

День темный, позднеосенний, хмурый. Ветер шумит, порою дождь.

Как нежны, выбриты бывают лица итальянских попов!

Вечером и ночью ветер, дождь.

*14 октября*

С утра серо, ветер с северо-запада, холодный, сейчас три, мы с Верой гуляли, облака, светит солнце.

На низу сада, возле плетня, слышу матерную брань. Вижу — Савкин сын (кривой), какой-то пьяный мужик лет двадцати пяти, долговязый малый лет двадцати, не совсем деревенского вида.

— Когой-то ругает?

Пьяный:

— Да дьякона вашего.

— Какой же он мой.

— Как же так не ваш? А кто ж вас хоронить будет, когда помрете? Вот П. Ник. помер — кто его хоронил? Дьякон.

— Ну, а вот ты-то дьякона ругаешь, тебя-то кто ж будет хоронить?

— Он мне керосину (в потребиловке) не дает... И т. д.

Говорил, что мы рады, что немцы идут, они мужиков в крепостное право обратят нам.

*15 октября*

Утро было белое — вся земля, все крыши, особенно наш двор. Утро и день удивительные.

В школе выборы в волостное земство. Два списка — № 1 и № 2. Какая между ними разница — ни единая душа не знает, только некоторые говорят, что разница в том, что № 1 «больше за нас». Это животное, сын Андриана, когда я спросил про эту разницу, закричал: «Да что вы его слушаете, что он дурака валяет!» — с большой злобой. За что? Почему он злобен на меня? Помимо бессмысленной злобы, убежден, что я *не могу* не знать этой разницы — думает, что все эти номера для всей России одинаковы. Гурьбой идут девки, бабы, мужики, староста сует им номер пер-

вый, и они его несут к «урне». Заходил и вечером — там крик, возмущение, что мужики друг у друга лес рубят, Петр Ар., Сергей Климов за то, чтобы солдат взять. Матрос молодой (Милонов, с Майоровки) кронштадтский сказал: «Не в том суть, чтобы осинку как-нибудь срубить, а в организации, чтобы не к именно капиталистам власть перешла, но народу...» Большевик, иота в иоту повторяет дудочку «Новой жизни» и т. п.

В головах дичь, тьма, — ужас вообще! В «Совете Российской республики» говорят больше всего «евреи».

Вчера ужасное письмо Савинкова.

*16 октября*

Мужик: «Нет, и господ нельзя тоже оставить без последствий, надо и их принять к сведению».

Проснулся в шесть. С утра темновато, точно дождь шел. Потом превосходный, хотя сыро-холодный день. (Вчера, гуляя вечером, Вера обиделась, мы стали шутить — «Фома Фомич» — она плакала одна, в саду.)

Вечер поразительный. Часов в шесть уже

луна как зеркало сквозь голый сад (если стоять на парадном крыльце — сквозь аллею, даже ближе к сараю), и еще заря на западе, розовато-оранжевый след ее — длинный — от завода до Колонтаевки. Над Колонтаевкой золотистая слеза Венеры. Луна ходит очень высоко, как всегда в октябре, и как всегда в октябре — *несколько* ночей *полная*. Сейчас гуляли, зашли с Верой в палисадник, смотрели на тени в нем, на четкость людской, крыша которой кажется черной почти, — вспомнился Цейлон даже.

Про политику и не пишу! Изболел. Главное — этот мерзавец, которому аплодируют даже кадеты.

*17 октября*

Дни похожи по погоде один на другой — дивная погода. Ни единого облачка ни днем, ни ночью. Все время с вечера — луна и полоса красноватая на закате. Пришла Вера Семеновна с Измалкова. Я отвозил ее в школу. Смотрел с дороги, уже близко от школы — вдали на реке что-то вроде коричневого острова камышей, дальше — необыкновенная прелест-

ная синь речной заводи. По дороге отпотевшая грязь. Ночью подмораживает, морозная роса, тугая земля.

Вечером Вл. Сем. провожал до кладбища Надю. — Письмо от Шмелева.

*18 октября*

Та же погода. Чувствую себя, дай Бог не сглазить, все время хорошо, но пустота, бездарность — на редкость.

Пять с половиною часов вечера. Зажег лампу. В конце горизонт — смуглость желтая, красноватая (смуглая, темная желтизна?), переходящая в серо-зеленое небо, — выше синее — сине-зеленое, на котором прекрасны ветви деревьев палисадника — голого тополя и сосны. Краски чистейшие. Пятнадцать минут тому назад солнце уже село, но еще светло было, сад коричневый.

Прочел Лескова «На краю света». Страшно длинно, многословно, но главное место рассказа — очень хорошо! Своеобразный, сильный человек!

*20 октября*

Девять с половиной часов вечера. Прочел статью из «Русской мысли» какой-то Глаголевой: «Раб (Бенедиктов), Элин (Щербина), Жрец (Фет)». Наивная дуручка.

Критики говорят о поэте только то, что он им сам надолбит.

«Любовь — высшее приближение к духовности» — правда ли это?

Вчера пошел слух (от Лиды), что хотят громить Бахтеяровых. Стал собирать корзину в Москву. Потом поехал с Верой в Измалково отправлять. Погода дивная. Кричал на Веру дорогой — нехорошо! Коля рассказывал, солдат Федька Кузнецов разговаривал с офицерами, что охраняют бахтеяровское имение, — на «ТЫ» и т. д.

Когда вчера Вера ходила на почту в Измалково, я сидел и ждал, всходила раскаленная луна, возле нее небо мрачное, темное. Нынче ездили с Колей в Предтечево — говорить по телефону в Елец с комиссаром о въезде в Москву (наш телефон все портят). День поразительный. Дали на юге в светлом тумане (нет, не туман). Были в потребиловке (мерзко!), в волости. Воззвания правительства на

стенах. О, как дико, как не связано с жизнью и бесполезно!

Что за цвета были леса, когда мы возвращались! Щербачевка (дубовая) светло-коричневая, поляны (березы) — еще есть грязное золото, Скородное — не умею определить.

Десять часов вечера. Густой туман — вот неожиданно! Не выхожу, что-то опять горло.

В Предтечеве возле потребиловки встреча с девицами Ильиными. Леля сказала, что на «Среде» Зилов читал на меня пародию. Гадина!

Читаю «Волхонскую барышню» Эртеля. Плохо. Мужичкий язык по частностям верен, но в общем построен литературно, лживо. И потом, эта тележка, ныряющая по грязи, лукавая пристяжная и заспанный мальчик, ковыряющий в носу... Никогда не скажет: «надел пальто», а всегда — «облачившись в пальто».

*21 октября*

Не выходил — немного горло. День сперва серый, потом с солнцем. Возился весь день — укладывался. Завтра Казанская, могут напиться — вся деревня варит самогонку —

все может быть. Отвратительное, унижительное положение, жутко.

В языке и в умах мужиков все спуталось. — Никто, впрочем, не верит в долготу этого «демократического рая».

В 1905 году поэты все писали стихи про кузнецов.

Читал отрывки из Ницше — как его обворывают Андреев, Бальмонт и т. д. Рассказ Чулкова «Дама со змеей». Мерзкая смесь Гамсуна, Чехова и собственной глупости и бездарности. Как Сибирь, так «паузка», «пали» и т. д., еще «заимка»...

*22 октября*

Все бело от изморози. Чудеснейшее тихое солнечное утро. Звон.

«Забота» — Капри, 24 января — 6 февраля 1913 г.

Это ли не «Петлистые уши»...

Мужики и теперь твердят, что весь хлеб «везут» (кто? Неизвестно) немцам.

Радость жизни убита войной, революцией.

Как гадки Прибышевский, Альтенберг!

Луна — зеркало солнца. Сердцевина мака

черная.

Жизнь Фофанова — «сюжет для небольшого рассказа».

Одиннадцать часов утра. Коля напевает под пианино: «Жил был в Фуле...»

Нет, в людях все-таки много прекрасного!

\* \* \*

*30 октября*

Москва, Поварская, 26. Проснулся в восемь — тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуту, очень близко — удар из орудия. Минут через десять снова. Потом щелканье кнута — выстрел. И так пошло на весь день. Иногда с час нет орудийных ударов, потом следует чуть не каждую минуту — раз пять, десять. У Юлия тоже.

Горький, оказывается, уже давно (должно быть, с неделю) в Москве. Юлий мне сказал позавчера, что его видели в «Летучей мыши», — я не поверил. Вчера Вера говорила с Катериной Павловной, по телефону. Катерина Павловна — «обе стороны ждут подкреплений». Затем сказала, что Алексей Максимович у нее, что если я хочу с ним поговорить и т. д. Но мне он так мерзок, что я не хочу.

Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль — привез двух раненых. Одного я видел, — как его выносили — как мертвый, голова замотана чем-то белым, все в крови и подушка в крови. Потрясло. Ужас, боль, бесильная ярость. А Катерина Павловна пошла нынче в Думу (Вере нынче опять звонила) — она гласная, верно, идет разговор, как ликвидировать бой. Юлий сообщает, что Комитет общественного спасения послал четырех представителей на Николаевский вокзал для переговоров с четырьмя представителями Военно-революционного комитета — чтобы большевики сдали оружие, сдались. Кроме того, идут будто бы разговоры между представителями всех социалистических партий вместе с большевиками, чтобы помириться на однородном социалистическом кабинете. Если это состоится, значит, большевики победили. Отчаяние! Все они одно. И тогда снова вот-вот скандалы, война и т. д. Выхода нет! Чуть не весь народ за «социальную революцию».

22-го — во втором часу пленный из Предтечева, верхом — громят Глотова. Я ждал Казанской, многое убрал, — самогонка, празд-

ник и слух о 20-м октябре, о выступлении большевиков — все предвещало, что многое может быть. Через час — пьяный мужик из Предтечева: «Там все бьют, там громят, мельницу Селезневскую разнесли... Уезжайте скорее!» Цель — разносит слухи, оповещает всех, хотя прикидывается возмущенным, и кроме того, всюду берет на водку. Мой рубль швырнул — «я тебе сам пять целковых дам!» Я зарорал, он струсил, взял рубль. С двух с половиною дня до трех ночи я убирался, заснул в два часа, в пять встал, в семь выехали — я, Коля, Вера. Мишка и Антон сзади на телеге с вещами. Туман, дорога вся в ухабах из застывшей грязи, лошади ужасные. До большой дороги была мука. Под Становой остановились, закусывали, баб тридцать из Кириловки, идут в Становую что-то получать (солдатки, кажется). Завязался разговор. Я выпил — иначе такой глупости не сделал бы. Злоба — «вы, буржуи, капиталисты, войну затеяли». Да, началось с насмешки над нами: «А плохо вам теперь!» Я сказал — «погоди, через месяц и вам будет плохо». — «А! вот как! Значит, ты знаешь! Почему же это нам будет плохо? Гово-

ри!» Я стал говорить как елецкий мещанин (плюс мой полушубок и весь наш вид жалкий). Подошел кто-то, что-то «товарищеское», хотя мужик (молодой)... (Ох! ужасный удар!) (Сейчас пять дня.) (Опять!) «Что? Плохо? Вы почему ж это знаете?» (Очень строго.) О, позор, о, жуткое чувство! (Опять удар.) Я вильнул — «через месяц Учредительное собрание» — собрал вожжи и поскорее ехать. Возле шлагбаума колесо рассыпалось. До Ельца пешком — тяжело! Жутко! Остановят, могут убить. В Ельце все полно. Приютили нас Барченко. Вечером (опять удар!) у нас гости, я говорил лишнее — выпил. 24-е пробыли в Ельце. Отовсюду слухи о погромах имений. Владимира Семеновича все Анненское разгромили. Жгут хлеб, скотину, свиней жарят и пьют самогонку. (Опять!) У Ростовцева всем павлинам голову свернули. (Опять!) 25-го выехали вместе с Б. П. Орловым. В вагоне в проходе — солдаты, солдат из Ламского весело и хорошо рассказывал, как Голицыны с тремя-четырьмя ингушами и попом (опять!) отбивались от мужиков и солдат. Голицына П. А. ранили. 26-го на Курском вокзале узнали, что в Москве

готовят бинты, кареты «скорой помощи» и т. д. — будет бой с большевиками. Два извозчика — сорок рублей. 27-го в городе — везде равнодушные — «а, вздор, это уже давно говорят». Какие-то два солдата мне (опять!) сказали, что начнется часов с семи. В пять — к Телешовым. Мимо трамвая поп, народ, несли чудотворную икону. На углу Пречистенки бабы — «Большевики стреляли в икону». От Телешовых благополучно дошли, хотя казалось, по городу уже шла стрельба. 28-го мы стрельбы почти не слышали, выходили.

Все было ожидание, что их скоро задавят. Слухов — сотни (опять!). «Каледин диктатор, идет в Москву» и т. д. «Труд» (газета Минора) врала, что в Петербурге все (о, ужас, какой удар, всего потрясло) кончено — большевики разбиты. Вчера нельзя уже было выходить — стрельба. Близко Александровское юнкерское училище. О сегодня я уже писал. С фронта никого, хотя поминутно слух — «Москва окружена (опять!) правительственными войсками» и т. д. Ясно, дело плохо, иначе давно бы пришли. Сейчас Вере сказали слух: «Железнодорожники согласились пропустить войска с

фронта, если будет социалистический кабинет». У нас в вестибюле дежурство, двери на запоре, все жильцы и «дамы» целый день галдят, врут, женщины особенно. Много евреев, противных. Изнурился от безделья, ожиданья, что все кончится вот-вот, ожиданья громил, — того, что убьют, ограбят. Хлеба дают четверть фунта. А что на фронте? Что немцы? Боже, небывалое в мире зрелище — Россия!

Десять часов вечера (30 октября). В девять часов погасло электричество и у Зои и у Юлия. У Телешева нет. Юлий сказал, что Телешов передал — подписано соглашение большевиков и прочих партий. Но большевики не могут унять солдат. Озлоблены и юнкера. Катерина Павловна говорила с Митей — Максимка в плену. (Клестов скрывается у <нрзб>). Все слухи: четыре тысячи казаков пришли, не могут войти, их не пускают большевики на Казанский вокзал, пришел ударный батальон, тоже не может войти, где-то под Москвой дикая дивизия и т. д. Я дежурил от шести до семи. Большевистский студент собрал прислугу со всего дома — «она волнуется, говорит, зачем мы ворота бревнами закладываем,

действуем против своих товарищей, надо с прислугой объясниться...». И объяснился: «Стрелять будем, если вы пойдете против нас». Возмущение.

В вестибюле сидел какой-то полурабочий, к каждому слову «в общем».

*31 октября*

Проснулся в восемь. Думал, все кончено (было тихо). Но нет, кухарка говорит, только что был орудийный удар. Теперь слышу щелканье выстрелов. Телефон для частных лиц выключен. Электричество есть. Купить на еду ничего нельзя. <Нрзб> сказал, ударный батальон пришел, часть переправилась в лодках, швейцар будто бы видел — человек двести пошло к юнкерскому училищу.

Двенадцать часов дня. Прочел «Соц. — демократ» и «Вперед». Сумасшедший дом в аду. Один час. Орудийные удары — уже штук пять, близко. Снова — в минуту три раза. Опять то же. Два рода ударов — глуше и громко, похоже на перестрелку.

Семь с половиною часов вечера. За день было очень много орудийных ударов (вернее,

все время — разрывы гранат и, кажется, шрапнелей), все время щелканье выстрелов, сейчас где-то близко грохотал по крышам тяжкий град — чего? — не знаю.

От трех до четырех был на дежурстве. Ударил бомба в угол дома Казакова возле самой панели. Подошел к дверям подъезда (стеклянным) — вдруг ужасающий взрыв — ударила бомба в стену дома Казакова на четвертом этаже. А теперь этим ударило в пятый этаж возле черной лестницы (со двора) у нас. Перебило стекла. Хозяин этой квартиры принес осколок гранаты трехдюймовой. Был Сережа. День тяжелый, напряженный. Все в напряжении, и все всё ждут помощи. Но в то же время об общем положении России и о будущем никто не говорит, — видимо, это не занимает.

Хочется есть — кухарка не могла выйти за провизией (да и закрыто, верно), обед жалкий.

Лидия Федоровна чудовищно невыносима. Боже, как я живу!

Опять убирался, откладывал самое необходимое — может быть пожар от снаряда. Дом Коробова горел.

Юлий утром звонил. С тех пор ни звука. Верно, телефон не дают.

А что в деревне?! Что в России?!

Москву расстреливают — и ниоткуда помощи! А Дума толкует о социалистическом кабинете! Почему же, если телеграф нейтрален, Керенский не дает знать о себе?

Почти двенадцать часов ночи. Страшно ложиться спать. Загораживаю шкафом кровать.

*1 ноября*

Среда. Засыпая вчера, слышал много всяких выстрелов. Проснулся в шесть с половиной утра — то же. Заснул, проснулся в девять — опять то же. Весь день не переставая орудия, град по крышам где-то близко и щелканье. Такого дня еще не было. Серый день. Все жду чего-то, истомился. Щелканье кажется чьей-то забавой. Нынче в третьем часу, когда вышел в вестибюль, снова ужасающий удар где-то над нами. Пробегают не то юнкера, не то солдаты под окнами у нас — идет охота друг на друга.

Читал только «Социал-демократ». Ужасно. В Неаполе в монастыре Samaldoli над Вомер-

ро каждую четверть часа дежурный монах стучит по кельям: «Badate, e possato un quarto d'ora della vostra vita»[5]

Пишу под тяжкие удары, щелканье и град.

Поповы — молодые муж и жена. Она княжна Туркестанова. Что за прелестное существо. Все раздает всем свои запасы. Объявление в «Русских ведомостях» от 22 октября. <нрзб.>

Читал «Русские ведомости» за 21, 22, 24, 25. Сплошной ужас! В мире не было такого озверения. Постановление офицеров («Русские ведомости», номер от 25 октября). Ходил в квартиру чью-то наверх, смотрел пожар (возле Никитских ворот, говорят). Дочь Буренина.

*2 ноября*

Заснул вчера поздно — орудийная стрельба. День нынче особенно темный (погода). Остальное все то же. Днем опять ударило в дом Казакова. Полная неизвестность, что в Москве, что в мире, что с Юлием! Два раза дежурил.

Народ возненавидел все.

Положение нельзя понять. Читал только «Социал-демократ». Потрясающий номер! Но

о событиях нельзя составить представления. Часов с шести вечера стрельбы из орудий, слава Богу, чтобы не сглазить, что-то не слышно.

Одиннадцать часов вечера, что-то не слышно.

*4 ноября*

Вчера не мог писать, один из самых страшных дней всей моей жизни. Да, позавчера был подписан в пять часов «Мирный договор». Вчера часов в одиннадцать узнал, что большевики отбирают оружие у юнкеров. Пришли Юлий, Коля. Вломились молодые солдаты с винтовками в наш вестибюль — требовать оружие. Всем существом понял: что такое вступление скота и зверя победителя в город. «Вобщем, безусловно!» Три раза приходили, вели себя нагло. Выйдя на улицу после этого отсиживания в крепости — страшное чувство свободы (идти) и рабства. Лица хамов, сразу заполнивших Москву, потрясающе скотски и мерзки. День темный, грязный. Москва мерзка как никогда. Ходил по переулкам возле Арбата. Разбиты стекла и т. д. Назад, по Повар-

ской — автомобиль взял белый гроб из госпиталя против нас.

Заснул около семи утра. Сильно плакал. Восемь месяцев страха, рабства, унижений, оскорблений! Этот день венец всего! Разгромили людоеды Москву!

Нынче встал в одиннадцать. Были Юлий, Митя, Коля, пошли в книгоиздательство. Заперто. Богданов у Никитских ворот, <нрзб>. Цинизм!!

Вечером был у Пúшешниковых. Купил «Новую жизнь» несколько номеров. Сейчас читал номер от 3-го. О негодяи! Как изменили тон! Громят большевиков. Луначарский мерзавец. Достигнуто «Соглашение» <нрзб.> Женский батальон в Петербурге насильовали. Из Москвы бегут юнкера, публика. И — «Соглашение»!

Командующий войсками Московского округа — солдат Муралов. Комиссар театров — Е. К. Малиновская. Старк тоже комиссар. О Боже! Вишневский из Малого театра говорил, как запаскудили Малый театр. Разгромлен, разграблен Зимний дворец. Из Москвы бегут — говорят о «Варфоломеевской

ночи». Восемь месяцев!

*11 ноября*

Нынче опять нет газет — опять праздновали вчера. Вчера хоронили «борцов» большевиков. В «Известиях В.-Рев. Комит.»: «Не плачьте над трупами павших борцов». Часа в два эти борцы — солдаты и «красная гвардия» возвращались с похорон по Поварской, между прочим. Вид — пещерных людей. Среди Москвы зарыли чуть не тысячу трупов.

Вчера самое ошеломляющее: Ленин сместил Духонина, назначил верховным главнокомандующим Крыленко. Да... Троцкий за Россию заключает мир! Того хочет сам русский народ!

Дни грязные, со снегом, с таянием.

*21 ноября. 12 ч. ночи*

Сижу один, слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность — ощущение запахов и пр. — это не так просто, в этом какая-то суть земного существования. Передо мной бутылка № 24 удельного. Печать, государственный герб. Бы-

ла Россия! Где она теперь. О Боже, Боже. Нынче ужас, <нрзб.> Убит Духонин, взята ставка и т. д.

Возведен патриарх «всёя Руси» на престол нынче — кому это нужно?!

*18 января 1918*

Мокрая погода. Заседание в книгоиздательстве — по обыкновению, мерзкое впечатление. Шмелев, издавший за осень штук шесть своих книг, нагло гремел против издания сборников «Слово» и против авансов (значит, главное — против меня, так как я попросил, и мне постановили выдать в прошлом заседании тысячу рублей), когда «авторам за их книги не платят полностью». Уникум сверхъестественный, такого..., как Шмелев, я не видывал.

С утра расстроила «Власть народа» — «Киев взят большевиками». В других газетах этого нет.

Была Маня Устинова — приглашала читать у Лосевой. Говорила про А. Толстого: «Хам, без мыла влезет где надо, прибивается к богатым» и т. д. Провожал ее. Москва так

мерзка, что страшно смотреть. Вечером у Мити. Юлий рассказывал, какой ужас, какая грязь, какая матерщина в чайной у Никитских ворот, где он чай вздумал пить.

Арбат по ночам страшен. Песни, извозчики нагло, с криком несутся домой, народ идет по середине улицы, тьма в переулках, Арбат полутемен. Народ выходил из кинематографа, когда я нынче возвратился, — какой страшный плебей! Поварская темна. Теперь, местами, когда темно, город очень хорош, заграничный какой-то.

*16/29 апреля*

День серый, а то и все время чудесная погода. Был в сберегательной кассе, лучше все выбрать, в дикарских странах банки и кассы — <нрзб>, прежде умней были — в землю зарывали. Чиновник, жалкая <нрзб>, в очках, весь день пьет чай за своим барьером. Уверен — очень доволен жизнью, главное — служебными часами.

Лакей лет двадцати пяти, грек или полугрек, можно — одессит, можно — пароходный лакей. Довольно высок, длинные ноги, пи-

джачная черная парочка, волосы черные — на косо́й ряд, завитком, коком, как у какого-нибудь лаборанта, надо лбом, пенсне, большой кадык, служит очень молчаливо, вечная сдержанность, вечное мысленное пожимание плечом — «что ж, делать нечего, будем лаке-ем!». Может стать преступником.

Одесса, весна, часов двенадцать ночи, чистая, пустая уже улица — приятно идти. Свежая зелень каштанов, в ней — фонари. Еврей, небольшой, кругленький, довольно приятный даже, идет, снял шляпу. Превосходное расположение духа. Был в гостях, там в гостиной на четвертом этаже, с отворенной на балкон дверью, пела молодая женщина с большой грудью. Гостиная тесная, противная, мерзкие картины в тяжелых багетах, атласные пуфы и т. д. <нрзб.> В «Парус» (для альманаха) послал (уже недели две тому назад): «Золотыми цветут остриями...», «Стали дымом...», «Таает, сияет...», «Что впереди» и «Мы рядом шли...».

*12 ч. ночи 17/30 апреля*

Утром отвратительное ощущение — ходил

в Лионский кредит, в сейф за чековой книжкой. Со зла взял из ящика все — черновики, письма, столовое серебро и т. д. — оставил только бумагу в 500 р. — кажется, военный заем. Скандал — у Глобы пропало кольцо бриллиантовое ценой тысяч в десять. Хам, который его, очевидно, украл, — начальство от большевиков, ужасно орал и все твердил одно: если бы оно тут было, то оно бы и было тут.

Москву украшают. Непередаваемое впечатление — какой цинизм, какое... издевательство над этим скотом — русским народом! Это этот-то народ, дикарь, свинья, грязная, кровавая, ленивая, презираемая ныне всем миром, будет праздновать *интернационалистический* праздник! А это хамское, несказанно-нелепое и подлое стаскивание Скобелева! Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик... И как раз нынче известие о взятии турками Карса! А завтра, в день предания Христа — торжество предателей России!

Вечером у Авиловых. Слава Богу, дождь! Если бы и завтра, да сколь возможно пролив-

ной! Вот уж поистине все чуда ждешь, — так страшно изболела душа! Хоть бы их гроза убила, потоп залил! Говорят, возмущенных этим стаскиванием памятников очень много. (Да какой там черт, это наше возмущение!) «Немцы (или турки) приказали стащить!» Домовой комитет наш трусит, — ищет красной материи на флаги, боится, что не исполнит приказания «праздновать» и пострадает. И во всей Москве так. Будь проклят день моего рождения в этой проклятой стране!

А Айхенвальд — да и не один он — всерьез толкует о таком ничтожнейшем событии, как то, что Андрей Белый и Блок, «нежный рыцарь Прекрасной Дамы», стали большевиками! Подумаешь, важность какая, чем стали или не стали два сукиных сына, два набитых дурака!

*1 мая, 12 ч. дня*

С утра серо, холодно. Сейчас проглядывает и тает солнце. Чудовищно-скотские подробности поведения Дыбенко (началось его дело). Идиотски-риторические вопли Андрея Белого в «Жизни» по поводу 1-го мая. Вообще га-

зета эта верх пошлости и бесстыдства. А меж тем в ней чуть не все наши знаменитости. Негодяи!

\* \* \*

Везет им! День очень хороший, солнечный, хотя сильно прохладный. Выходил, был на Арбатской площади, на Никитской. Город довольно чист и очень довольно пуст. Оживления в толпе, на лицах нет. Был Цетлин (Мих. Осип. — 1-51-88), приглашает в эсеровскую газету (Бунаков, Вишняк и т. д.). Литературный отдел все тоже очень сплывающаяся за последнее время... компания — Гершензон, Шестов, Эренбург, В. Инбер и т. д. Дал согласие — что делать! Где же печататься, чем жить? Спрашиваю: «Отчего нет Бальмонта?» — «Да он, видите ли, настроен очень антисоциалистически».

*2/19 мая, 11 ч. вечера*

Воротился в десять от Юлия. Фонарей нет — зато вчера праздновали — горели до двенадцати, против всякого обыкновения. Темно на Арбате, на площади — на Поварской-то всегда с десяти темно. Противно бе-

шенство хрюкающих автомобилей, на площади костерчик вдали, грохот телег ломовых — в темноте не тот, что при огне. Дома высоки.

День прохладный, но теплый, солнце, облака. В двенадцать был в книгоиздательстве — Клестов говорит, что они хотят отменить торговлю — всякую... Потом — к Фриче! Узнать о заграничных паспортах. Нет приема. Сказал, чтобы сказали мою фамилию, — ментально принял. Сперва хотел держаться официально — смущение скрываемое. Я повел себя проще. Стал улыбаться, смелей говорить. Обещал всяческое содействие. Можно и в Японию, «можно скоро будет, думаю, через Финляндию, тоже и в Германию...».

Два раза был в «Новой жизни» на Знаменке. «Это помещение занято редакцией „Новой жизни“ по постановлению такого-то комиссариата» — это на дверях. Однако, когда я был там в пять часов, их, оказывается, хотят «вышибать» латыши. «Могут и стрелять — от латышей всего можно ждать». Когда выходил — бешеный автомобиль к их дверям, солдаты, винтовки. В редакции барышня-еврейка, потом Моисей Яковлевич (смесь кавказца с ев-

реем), еще какой-то грязный тощий еврей (не Авилов ли?), Базаров — плебейского вида остолоп, Суханов. У Фриче все служащие тоже евреи.

В шестом часу был с Верой у Коган. Коган перековал язычок — уже ругает большевиков. Бессовестный!.. Лариса вышла за Альтрозера.

Надежда Алексеевна была в «Метрополе» у Рейснеров. Рейснеры будто бы все стараются держаться аристократами, старик будто бы барон и т. д.

Идя к Коганам, развернул «Вечернюю жизнь» — взята Феодосия! Севастополь «в критическом положении». Каково! Взят Карс, Батум, Ардаган, а по Поварской нынче автомобиль с турецким флагом! Что за адская чепуха! Что за народ мы, будь он трижды и миллион раз проклят!

Митя был на Красной площади. Народ, солдаты стреляют, разгоняют. Народ волнуется, толпится против башни, на которой вчера завесили кумачом икону, а кумач на месте иконы истлел, исчезал, вываливался. Чудо!

4 мая (21 апреля)

Великая суббота. Интеллигенты — даже из купцов — никогда не упускали случая похвастаться, что пострадал за студенческие беспорядки и т. п.

12 ч. 45 м. ночи

Вчера были с Колей против Никольских ворот. Народ смотрит на них с Никольской, кучка стоит на углу Музея. Мы стояли там. Одни — «чудо», другие его отрицают: гнусный солдат латыш, отвратительное животное еврей студент, технолог, что ли; в кучке этой еще несколько (безмолвствующих, видимо, желающих понять «как дело») евреев. Меня называли «чиновником старого режима» за то, что я сказал студенту, что нечего ему, нерусскому, тут быть. Потом суматоха — солдаты погнали в шею какого-то купца. Студент кричал на меня: «Николаевщиной пахнет!» — науськивал на меня. Злоба, боль. Чувства самые черносотенные.

В шесть у Ушаковой. Она рассказывала, что в Киеве офицерам *прибивали гвоздями погонь*.

Сегодня опять 37 — я почти всю зиму болел в этой яме. Боже, Господи, какая зима! И совершенно некуда деться!

Немцы мордуют раду. «Самостийность», кажется, им уже не нужна больше. Чувство острого злорадства.

Вчера от Ушаковой зашел в церковь на Молчановке — «Никола на курьей ножке». Красота этого еще уцелевшего островка среди моря скотов и убийц, красота мотивов, слов дивных, живого золота дрожащих огоньков свечных, траурных риз — всего того дивного, что все-таки создала человеческая душа и чем жива она — единственно этим! — так поразила, что я плакал — ужасно, горько и сладко!

Сейчас был с Верой там же. «Христос воскрес!» Никогда не встречал эту ночь с таким чувством! Прежде был холоден.

На улицах — полная тьма. Хоть бы один фонарь дали, мерзавцы! А 1-го мая велели жечь огонь до 12 ч. ночи.

А в Кремль нельзя. Окопались <...> Тр... (?) пропустил только пятьсот — избранных — да и то велел не шататься возле церквей. «При-

шли молиться, так молитесь!»

О, Господи, неужели не будет за это, за эту кровавую обиду, ничего?! О какая у меня нестерпимая боль и злоба к этим Клестовым, Троцким, матросам.

Матрос убил сестру милосердия — «со скуки» (нынешний номер подлейшей газеты «Жизнь»).

У светлой заутрени Толстой с женой. В руках — *рублевые* свечи. Как у него все рассчитано! Нельзя дешевле. «Граф прихожанин»! Стоит точно в парике в своих прямых бурых волосах à la мужик.

Нынче шла крупа. Весь день дома.

Пасхальные номера газет — верх убожества.

Какой напев нынче «Волною морскою...». Нежная гордость, что Господь покарал «гонителя — мучителя», скромная радость, грусть...

*5 мая (22 апреля) 1918 г.*

Плохие писатели почти всегда кончают рассказ лирически, восклицанием и многоточием.

Как дик культ Пушкина у поэтов новых и

новейших, у этих плебеев, дураков, бестактных, лживых — в каждой черте своей диаметрально противоположных Пушкину. И что они смогли сказать о нем, кроме «солнечный» и тому подобных пошлостей! А ведь сколько говорят!

Светлый день, а я все думаю о народе, о разбойниках мужиках, убийцах Духонина, Кокошкина, Стрельцовой. Нет, надо бы до гробовой доски не поднимать глаз на этих скотов! Вместо Немецкой улицы — исторического, давнего названия — улица Баумана! О! И этого простить нельзя!

Прошлую ночь заснул в пять часов утра.

*7 мая (24 апреля)*

Вечером на первый день у Зои (сперва у Каменских) очень напился. Как только дошел — как отрубил — с этого момента ничего не помню. Очнулся в пять утра. Весь день очень страдал — сердце. *Нельзя, нельзя пить уже так много.*

От Каменских шли мимо памятника Александру III. У него отбили нос. Кучка народа, споры — диаметрально противоположные

мнения. Много озлобленных против большевиков. (Я шел к Каменским — вслух ругал зашедших в запертом Кремле — проходящие — из народа — горячо подхватывают.) И тут — самый мерзкий и битый дурак — студент...

Вчера у Чулковых. Кайранские, Щепкина-Куперник (очень, очень приятна, — что значит прежнее литературное поколение!). Все нездоровилось — все около 37 — погибаю в этом подвале у Муромцевых — а деться буквально некуда! Всю зиму голову ломал — куда бы уехать! Нынче с утра температура почти 37. К вечеру нынче чувствую себя лучше. Холод на дворе, у меня холод как в могиле.

Ездил искать «Речь» пасхальный номер — на трамвае солдат у солдата разрезал мешок, накрал, в колени зажал пирожков. «Отдай, сукин сын!» Кругом: «В морду, в морду-то его! В комиссариат!» Злоба, грубость всюду — несказанные!

Опять слухи: в Петербурге — бунт, в Киеве уже монархия.

Перечитал «Записную книжку» Чехова. Столько чепухи, нелепых фамилий записано — и вовсе не смешных и не типичных — и

какие все сюжеты! Все выкапывал человеческие мерзости! Противная эта склонность у него несомненно была.

*8 мая (25 апреля)*

День большого беспокойного волнения: переворот на Украине («Экстренный выпуск „Известий“»). Прочли этот выпуск с Колей у Юлия. Радость, злорадство острое.

Светлый холодный день.

У нас было много народу (наша «Среда»). Масса слухов: Мирбах требует выгнать латышей, Мирбах отзывается, на его место — фон Тирпиц (Мирбах слаб!) и т. д.

*9 мая (26 апреля)*

Самый лучший, необходимый паспорт, и теперь еще выдаваемый газетами общественному деятелю: он верит... он верит... Я верю в светлое будущее России, «в революцию» и т. д.

# Окаянные дни

Москва, 1918 г.

**1** января (старого стиля)

Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так.

А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы, — кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит:

— Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет...

Бодро, с веселой нежностью (от сожаления ко мне, глупому) тиснет руку и бежит дальше.

Нынче опять такая же встреча — Сперанский из «Русских Ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала:

— Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда же нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!

7 января

Был на заседании «Книгоиздательства писателей» — огромная новость: «Учредительное Собрание» разогнали!

О Брюсове: все левеет, «почти уже форменный большевик». Неудивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с «Кинжалом» в «Борьбе» Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик.

*5 февраля*

С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое.

Вчера был на собрании «Среды». Много было «молодых». Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямоотой суждений, был в мягкой рубашке без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник.

Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Кой-

ранский сказал про них:

*Завывает Эренбург,  
Жадно ловит Инбер клоч его, —  
Ни Москва, ни Петербург  
Не заменят им Бердичева.*

6 февраля

В газетах — о начавшемся наступлении на нас немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»

Ходили на Лубянку. Местами «митинги». Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежесбрившимся лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и невпопад вмешиваются, перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями: торопливыми рассказами из своей личной жизни, должныствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее, во всем) сомневаются, подозрительно покачивают головами.

Подошел мужик, старик с бледными взду-

тыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно слушать, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все несут чепуху.

Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить:

— Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут, и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

— Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, — холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: «Вот это верно!» — и тоже отошли.

О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и все-таки рабочий кричал на него:

— Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать!

К. говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падают люди!

Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается

Коган (П. С.). Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу — и, оказалось, очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый.

Из Горьковской «Новой Жизни»:

«С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов родины и революции, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых».

Из «Власти Народа»:

«Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избияния арестованных при допросе в Совете Рабочих Депутатов, просим Совет Народных Комиссаров оградить от подобных хулиганских

выходок и действий...» Это жалоба из Боровичей.

Из «Русского Слова»:

Тамбовские мужики, села Покровского, составили протокол:

«30-го января мы, общество, преследовали двух хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова.

По соглашению нашего общества они были преследованы и в тот же момент убиты».

Тут же выработано было этим «обществом» и своеобразное уложение о наказаниях за преступления:

— Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика десять раз.

— Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни.

— Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни.

Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно «судили» и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного: разбили голову безменом, пропоролы вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на

проезжую дорогу. Потом принялись за другого...

Подобное читаешь теперь каждый день.

На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют:

— Ага! Выгнали! Теперь, брат, заставят!

Во дворе одного дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал:

— Ах, так твою так! Ах, дезелтир, так твою так! Пропала Рассея!

*7 февраля*

Во «Власти Народа» передовая: «Настал грозный час — гибнет Россия и Революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!» — Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?

В «Русском Слове»: «Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и по распоряжению местного революционного трибунала препровожден в Петроград в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два

красногвардейца. Один из них ночью четыре-мя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оредеж».

Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синее ярко, по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары.

На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:

— Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают — придут, придут, а вот что-то не приходят!

По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах.

Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то.

В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он «не может, к сожалению, заплатить за билет».

Перед вечером. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный, наезженный

снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом, точно вырубленным из дерева. Какой ненужной кажется теперь эта стража!

Вышли из Кремля — бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки:

— Взятие Могилева германскими войсками!

*8 февраля*

Андрей (слуга брата Юлия) все больше шалит, даже страшно.

Служит чуть не двадцать лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчания, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху.

Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н. Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало,

что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем:

— Да, да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите! Вспомните тогда вашего генерала Алексеева!

Юлий спросил:

— Да вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?

Андрей, не глядя на нас, прошептал:

— Мне нечего объяснять... Вы сами должны понять...

— Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?

— Что случилось? А вот погодите, поймете...

Приехал Дерман, критик, — бежал из Симферополя. Там, говорит, «неописуемый ужас», солдаты и рабочие «ходят прямо по коленам в крови». Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке.

*9 февраля*

Вчера были у Б. Собралось порядочно народу — и все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое.

Утром ездил в город.

На Страстной толпа.

Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается:

— Это для меня вовсе не камень, — поспешно говорит дама, — этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать...

— Мне нечего стараться, — перебивает баба нагло, — для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну и молись ему сама.

— После этого я с вами и говорить не желаю.

— И не говори!

Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим:

— У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, — говорит старик.

— Да, не осталось.

— Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

— Ишь ты! А как вы триста лет расстреливали?

На Тверской бледный старик генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий...

Как потрясающе быстро все сдались, пали духом!

Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, — почему именно «легион»? Какое обилие новых и все высокопарных слов! Во всем игра, балаган, «высокий» стиль, напыщенная ложь...

Жены всех этих с.с., засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по своим домашним телефонам.

*19 февраля[6]*

«Мир, мир, а мира нет. Между народом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это.

Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Это из Иеремии, — все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: «И народ Мой любит это... вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Потом читал корректуру своей «Деревни» для горьковского книгоиздательства «Парус». Вот связал меня черт с этим заведением! А «Деревня» вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?

Потом просматривал (тоже для «Паруса») свои стихи за 16 год.

*Хозяин умер, дом забит,  
Цветет на стеклах купорос.  
Сарай крапивою зарос.  
Варок, давно пустой, раскрыт  
И по хлевам чадит навоз...  
Жара, страда... Куда летит  
Через усадьбу шальный пес?*

Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом.

Летом прошлого года это осуществилось полностью:

*Вот рожь горит, зерно течет,  
Да кто же будет жать, вязать?  
Вот дым валит, набат гудет,  
Да кто ж решится заливать?  
Вот встанет бесноватых рать  
И, как Мамай, всю Русь пройдет...*

До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17-го года в деревне и как, почему уцелели наши головы!

«Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно...» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли?

Вечером на «Среде». Читал Ауслендер — что-то крайне убогое, под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотой отблеск, как на засохших лиловых чернилах.

Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоеывая, а «просто едут по железной дороге» — занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, не более не менее.

В «Известиях» статья, где «Советы» сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал.

*14 февраля*

Несет теплым снегом.

В трамвае ад, тучи солдат с мешками — бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.

Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: «Ну, вот немец придет, наведет порядок».

Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломаются. И так всю зиму.

У Никитских Ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся:

— Простите, ради Бога, в ноги поклонюсь!  
Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив:

— Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри не попадайся мне!

Чувствует себя начальником, и недаром. Новые господа.

Газеты с белыми колонками — цензура. Муралов «выбыл» из Москвы.

Извозчик возле «Праги» с радостью и смехом:

— Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде все равно нами владел. Он уж там, говорят, тридцать главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному «трогай», а за ним и все.

*15 февраля*

После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Все те же призывы «встать, как один, на борьбу с немецкими белогвардейцами».

Луначарский призывает даже гимнази-

стов записываться в красную гвардию, «бороться с Гинденбургом».

Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов...

Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им — красота и радость. Особенно была хороша одна — прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?

К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег.

### *16 февраля*

Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же — о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался, все восклицал:

— Нет, я верю в русский народ!

Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый, веселый:

— Москва, брат, теперь ни... не стоит.

— Теперь и провинция ни... не стоит.

— Ну, вот немец придет, наведет порядок.

— Конечно. Мы все равно властью не поль-

зуюмся. Везде одни рогатые.

— А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах...

В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил:

— Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими.

Двадцать тысяч! Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя, черт его знает, — может, и правда.

В четыре часа в Художественном Кружке собрание журналистов — «выработка протеста против большевистской цензуры». Председательствовал Мельгунов. Кускова призвала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам! Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фриче, например, уже вывез.

Говорили про Саликовского:

— Да, вы только подумайте! И журна-

лист-то был паршивый, но вот эта смехотворная Рада, и Саликовский — киевский генерал-губернатор!

Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения: генерал Каменев застрелился; на Поварской — главный немецкий штаб; жить на ней очень опасно, потому что здесь будет самый жаркий бой; большевики работают в контакте с монархистами и тузами из купцов; по согласию с Мирбахом, решено избрать на царство Самарина... С кем же в таком случае будет жаркий бой?

### *Ночью*

Простясь с Чириковым, встретил на Поварской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал:

— Деспот, сукин сын!

Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки — пора готовиться на юг, — как раз нахожу кое-какие доказательства своего «деспотизма». Вот заметка 22 февраля 15 года:

— Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает — медленно, с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется... Как жестоко, отвратительно мы живем!

Вот зима 16 г. В Васильевском:

— Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги:

— Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ.

Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: «Нарочному уплатить 70 копеек». И, как всегда, карандашом и очень грубо цифра семь исправлена на восемь: исправляет мальчишка этого самого «нарочного», то есть измалковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную и темную залу в прихожую.

В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндеवेशей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба.

— Махоточка, опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?

— Барин, — отвечает Махоточка, деревянным с морозу голосом, — ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу выбило. Опять же стыдь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад...

С укORIZНОЙ качаю головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостинной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стучающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными, серыми от изморози ресницами... О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка?

В кабинете разрываю телеграмму: «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость рус-

ской литературы!» Вот из-за чего двадцать верст стучалась Махоточка по ухабам.

*17 февраля*

Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан.

— Не представляю себе, — говорил А. А. Яблоновский, — не представляю подпись Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна!

Нынче был в доме Зубова (на Поварской). Там Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна, очень ярко от снега и солнца — в ветвях берез, сине-голубое, оно особенно хорошо.

В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, толпы народа рвут из рук газетчиков «Вечерние Новости»: *мир подписан!*

Позвонил во «Власть Народа»: правда ли, что подписан? Отвечают, что только что звонили в «Известия» и что оттуда твердый ответ: да, подписан.

Вот тебе и «не представляю».

*18 февраля*

Утром собрание в «Книгоиздательстве писателей». До начала заседания я самыми последними словами обкладывал большевиков. Клестов-Ангарский, — он уже какой-то комиссар, — ни слова.

На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова:

— Ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?

— Не беспокойтесь, — ответил он с мутной усмешкой, — порядочно...

По городу общий голос:

— Мир подписан только со стороны России, немцы отказались подписать...

Дурацкое самоутешение. К вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей.

*19 февраля*

Критик Коган (П. С.) рассказывал мне о Штейнберге, комиссаре юстиции: старозаветный, набожный еврей, не ест тrefного, свято чтит субботу... Затем о Блоке: он сейчас в

Москве, страстный большевик, личный секретарь Луначарского. Жена Когана с умилением:

— Но не судите его строго! Ведь он совсем, совсем ребенок!

В пять часов вечера узнал, что в Экономическое Общество Офицеров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. Убито, говорят, не то шестьдесят, не то восемьдесят человек.

Читал только что привезенную из Севастополя «резолюцию», вынесенную командой линейного корабля «Свободная Россия». Совершенно замечательное произведение:

— Всем, всем и за границу Севастополя бесцельно, по-дурному стреляющим!

— Товарищи, вы достреляетесь на свою голову, скоро нечем будет стрелять и по цели, вы все расстреляете и будете сидеть на бобах, а тогда вас, голубчиков, и пустыми руками заберут.

— Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто лежит сейчас в гробах и могилах. Вы же, предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. Мы призываем

всех товарищей присоединиться к нам и запретить стрельбу всем имеющим конячую голову.

— Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам: «Одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых!» Каждая пуля, выпущенная нами, должна лететь в толстое брюхо, она не должна пенить воду в бухте.

— Товарищи, берегите патроны пуще глаза. С одним глазом еще можно жить, но без патронов нельзя.

— Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по городу и бухте, помните, что и мы, военные моряки линейного корабля «Свободная Россия», выстрелим один разочек, и тогда не пеняйте на нас, если у всех полопаются барабанные перепонки и стекла в окнах.

— Итак, товарищи, больше в Севастополе пустой, дурной стрельбы не будет, будет стрельба только деловая — в контрреволюцию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить!

20 февраля

Ездил на Николаевский вокзал.

Очень, даже слишком солнечно и легкий мороз. С горы за Мясницкими воротами — сизая даль, груды домов, золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, вся площадь блещет золотом, зеркалами. Тяжкий и сильный вид ломовых подвод с ящиками. Неужели всей этой силе, избытку конец? Множество мужиков, солдат в разных, в каких попало шинелях и с разным оружием — кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса... Теперь хозяева всего этого, наследники этого колоссального наследства — они...

В трамвае, конечно, давка.

Две старухи яростно бранят «правительство»:

— Дают, глаза их накройся, по осьмушке сухарей, небось год валялись, пожуешь — вон, душа горит!

Рядом с ними мужик, тупо слушает, тупо смотрит, странно, мертво, идиотски улыбается. На коричневое лицо нависли грязные лохмотья белой манджурки. Глаза белые.

А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь надо всеми на целую голову, стоит великан военный в великолепной серой шинели, туго перетянутой хорошим ремнем, в серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий. Весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой, в руке в перчатке держит Евангелие. Совершенно чужой всем, последний могикан.

На обратном пути слепит идущая прямо на солнце улица. Вдруг все приподнимаются и смотрят: сцена древней Москвы, картина Сурикова: толпа мужиков и баб в полушубках, окружившая мужика в армяке цвета ржаного хлеба и в красной телячьей шапке, который поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь: громадные набитые соломой розвальни, оглобли которых она безобразно вывернула, падая, влезли на тротуар. Мужик орет всем нутром: «Ребят, подцоби!» Но никто не трогается.

В шесть вышли. Встретили М. Говорит, что только что слышал, будто Кремль минируют, хотят взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое

небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов... Великие князья, терема, Спасна-Бору, Архангельский собор — до чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понятое! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно.

Слухи: через две недели будет монархия и правительство из Адрианова, Сандецкого и Мищенко: все лучшие гостиницы готовятся для немцев.

Эсеры будто бы готовят восстание. Солдаты будто бы на их стороне.

### *21 февраля*

Была Каменская. Их выселяют, как и сотни прочих. Сроку дано всего 48 часов, а их квартиру и в неделю не соберешь.

Встретил Сперанского. Говорит, что, по сведениям «Русских Ведомостей», в Петербург едет немецкая комиссия — для подсчета убытков, которые причинены немецким подданным, и что в Петербурге будет немецкая полиция; в Москве тоже будет немецкая полиция и уже есть немецкий штаб; Ленин в Москве, сидит в Кремле, поэтому-то и объяв-

лен Кремль на осадном положении.

*22 февраля*

Утром горестная работа: отбираем книги — что оставить, что продать (собираю деньги на отъезд).

Юлию из «Власти Народа» передавали «самые верные сведения»: Петербург объявлен вольным городом; градоначальником назначается Луначарский. (Градоначальник Луначарский!) Затем: завтра московские банки передаются немцам; немецкое наступление продолжается... Вообще, черт ногу сломит!

Вечером в Большом театре. Улицы, как всегда теперь, во тьме, но на площади перед театром несколько фонарей, от которых еще гуще мрак неба. Фасад театра темен, погребально-печален, карет, автомобилей, как прежде, перед ним уже нет. Внутри пусто, заняты только некоторые ложи. Еврей с коричневой лысиной, с седой подстриженной на щеках бородой и в золотых очках все трепал по заду свою дочку, все садившуюся на барьер девочку в синем платье, похожую на черного барана. Сказали, что это какой-то «эмиссар».

Когда вышли из театра, между колонн черно-синее небо, два-три туманно-голубых пятна звезд и резко дует холодом. Ехать жутко. Никитская без огней, могильно-темна, черные дома высятся в темно-зеленом небе, кажутся очень велики, выделяются как-то поновому. Прохожих почти нет, а кто идет, так почти бегом.

Что средние века! Тогда по крайней мере все вооружены были, дома были почти неприступны...

На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое.

### *23 февраля*

Опять стали выходить «буржуазные газеты» — с большими пустыми местами.

Встретил К. «Немцы будут в Москве через несколько дней. Но страшно: говорят, будут отправлять русских на фронт против союзников». Да, все то же. И все то же тревожное, нудное, неразрешающееся ожидание.

Все говорим о том, куда уехать. Был вечером у Юлия и попал, возвращаясь домой, под

обстрел. Бешено садили из винтовок откуда-то сверху Поварской.

У П. были полотеры. Один с черными сальными волосами, гнутый, в бордовой рубахе, другой рябой, буйно-курчавый. Заплясали, затрясли волосами, лица лоснятся, лбы потные. Спрашиваем:

— Ну, что ж скажете, господа, хорошенького?

— Да что скажешь. Все плохо.

— А что ж, по-вашему, дальше будет?

— А Бог знает, — сказал курчавый. — Мы народ темный. Что мы знаем? Я хоть читать умею, а он совсем слепой. Что будет? То и будет: напустили из тюрем преступников, вот они нами и управляют, а их надо не выпускать, а давно надо было из поганого ружья расстрелять. Царя ссадили, а при нем подобного не было. А теперь этих большевиков не сопрешь. Народ ослаб. Я вот курицы не могу зарезать, а на них бы очень просто налягнул. Ослаб народ. Их и всего-то сто тысяч наберется, а нас сколько миллионов, и ничего не можем. Теперь бы казенку открыть, дали бы нам свободу, мы бы их с квартир всех по кло-

кам растащили.

— Там жиды все, — сказал черный.

— И поляки вдобавок. Он и Ленин-то, говорят, не настоящий — энтото давно убили, настоящего-то.

— А про мир с немцами что вы думаете?

— Этого мира не будет. Это скоро прекратят. А поляки опять наши будут. Главное, хлеба нету. Он вчера купил себе пышечку за три рубля, а я так пустой суп и хлебал...

### *24 февраля*

На днях купил фунт табаку и, чтобы он не сох, повесил на веревочке между рамами, между фортками. Окно во двор. Нынче в шесть утра что-то бах в стекло. Вскочил и вижу: на полу у меня камень, стекла пробиты, табаку нет, а от окна кто-то убегает. — Везде грабеж.

Перистые облака, порою солнце, синие клоки луж...

В доме напротив нас молебствие, принесли икону «Нечаянной Радости», поют священники. Очень странно кажется это теперь. И очень трогательно. Многие плакали.

Опять долбят, что среди большевиков много монархистов и что вообще весь этот большевизм устроен для восстановления монархии. Опять чепуха, сочиненная, конечно, самими же большевиками.

Савич и Алексеев будто бы сейчас в Пскове, «формируют правительство».

Звонит на станцию «Власть Народа»: дайте 60—42. Соединяют. Но телефон, оказывается, занят — и «Власть Народа» неожиданно подслушивает чей-то разговор с Кремлем:

— У меня пятнадцать офицеров и адъютант Каледина. Что делать?

— Немедленно расстрелять.

Про анархистов: необыкновенно будто бы веселые и любезные люди; большевицкий «Совет» их весьма боится; глава — Бармаш, вполне сумасшедший кавказец.

В Севастополе «атаман» матросов — некто Ривкин, аршин ростом, клоками борода; участвовал во многих ограблениях и убийствах; «нежнейшей души человек».

Очень многие всегда делают теперь вид, что будто имеют такие сведения, которых ни у кого нет.

В кофейне Филиппова видели будто бы Адрианова, бывшего московского градоначальника. Он будто бы один из главнейших тайных советников в «Совете рабочих депутатов».

*25 февраля*

Юрка Саблин — командующий войсками! Двадцатилетний мальчишка, специалист по кэк-уоку, конфектно-хорошенький...

Слух: союзники — теперь уж союзники! — вошли в соглашение с немцами, поручили им навести порядок в России.

Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка — и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:

— Вставай, подымайся, рабочий народ!

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские.

Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: «Save furem». На эти лица ничего не надо ставить, и без всякого клейма все видно.

И при чем тут Марсельеза, гимн тех самых французов, которым только что изменили самым подлым образом!

*26 февраля*

Не то мужик, не то рабочий вслух разбирает на углу Поварской объявление о газете «Вечерний Час», читает имена сотрудников. Прочитал и сказал:

— Все одна сволочь. Прославились!

Из редакции «Русских Ведомостей»: Троцкий — немецкий шпион, был сыщиком при нижегородском охранном отделении. Это опубликовал в «Правде» Стучка, по злобе на Троцкого.

*27 февраля*

Опять праздник — годовщина революции. Но народу нигде нет, и вовсе не потому, что опять нынче зима и метель. Просто уже надоедает.

Какая-то дикая и жуткая ерунда: у нас весь день сам собой звонит, не умолкая, телефон и из него сыплется огонь.

«Разбегаются! Карахан назначен послом в

Константинополь. Каменев — в Берлин...»

Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая — то интернационал, то «русский национальный подъем».

*28 февраля*

Опять зима. Много снегу, солнечно, стекла домов блестят.

Вести со Сретенки — немецкие солдаты заняли Спасские казармы.

В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Декрет о денационализации банков. Думаю, что опять-таки это все сами большевики нас дурачат.

А телефон и нынче звонит — трещит, звонит и сыплет красные огненные искры!

*1 марта*

Вечер у Шкляра.

Идя к нему, видели адвоката Тесленко. Подъехал к своему дому на красной лошади. Приостановились, поздоровались. Бодр, говорит, что большевики заняты сейчас одним: «награбить как можно больше денег, так как сами отлично знают, что царствию их конец».

У Шкляра, кроме нас, Дерман и А. Е. Грузинский.

Грузинскому рассказывал в трамвае солдат: «Хожу без работы, пошел в совет депутатов просить места — мест, говорят, нету, а вот тебе два ордера на право обыска, можешь отлично поживиться. Я их послал куда подале, я честный человек...»

Дерман получил сведения из Ростова: корниловское движение слабо. Грузинский возражал: напротив, оно крепнет и растет. Дерман прибавил: «Большевики творят в Ростове ужасающие зверства. Могилу Каледина разрыли, расстреляли 600 сестер милосердия...» Ну, если не шестьсот, то все-таки, вероятно, порядочно. Не первый раз нашему христоробивому мужичку, о котором сами же эти сестры распустили столько легенд, избивать их, насиловать.

Говорят, что Москва будет во власти немцев семнадцатого марта. Градоначальником будет Будберг.

Повар от Яра говорил мне, что у него отняли все, что он нажил за тридцать лет тяжелого труда, стоя у плиты, среди девяностоградус-

ной жары. «А Орлов-Давыдов, — прибавил он, — прислал своим мужикам телеграмму, — я сам ее читал: жгите, говорит, дом, режьте скот, рубите леса, оставьте только одну березку, — на розги, — и елку, чтобы было на чем вас вешать».

Слух, что в Москве немцы организовали сыскное отделение; следят будто за малейшим шагом большевиков, все отмечают, все записывают.

Вести из нашей деревни: мужики возвращают помещикам награбленное.

В последнем, верно, есть правда. Слышу на улицах:

— Нет, теперь солдаты стали в портки пускать. То все бахвалились, беспечничали, — пускай, мол, придет немец, черт с ним, — а теперь, как стало до серьезного доходить, здорово побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет, да и поделом, по правде сказать: уж очень мы освинели!

Да, если бы в самом деле повеяло чем-нибудь «серьезным», живо бы эта «стихийность великой русской революции» присмирела. Как распоясалась деревня в прошлом году ле-

том, как жутко было жить в Васильевском! И вдруг слух: Корнилов ввел смертную казнь — и почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. А в мае, в июне по улице было страшно пройти, каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно и, сбежавшись всей деревней, орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень в тот же день запылал скотный двор соседа, и опять сбежались со всего села, и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджег, и меня спасло только бешенство, с которым я кинулся на орущую толпу.

*2 марта*

«Развратник, пьяница Распутин, злой гений России». Конечно, хорош был мужичок. Ну, а вы-то, не вылезавшие из «Медведей» и «Бродячих Собак»?

Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, пуб-

личные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне — большой гонорар, говорит, дадим. «Вон из Москвы!» А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулочек, совсем темный, идешь и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра...

Читал новый рассказ Тренева («Батраки»). Отвратительно. Что-то, как всегда теперь, насквозь лживое, рассказывающее о самых

страшных вещах, но ничуть не страшное, ибо автор не серьезен, изнуряет «наблюдательностью» и такой чрезмерной «народностью» языка и всей вообще манеры рассказывать, что хочется плюнуть. И никто этого не видит, не чувствует, не понимает — напротив, все восхищаются. «Как сочно, красочно!»

«Съезд Советов». Речь Ленина. О, какое это животное!

Читал о стоящих на дне моря трупах, — убитые, утопленные офицеры. А тут «Музыкальная табакерка».

*3 марта*

Немцы взяли Николаев и Одессу. Москва, говорят, будет взята семнадцатого, но не верю и все собираюсь на юг.

Маяковского звали в гимназии Идиотом Полифемовичем.

*5 марта*

Серо, редкий снежок. На Ильинке возле банков туча народу — умные люди выбирают деньги. Вообще многие тайком готовятся уезжать.

В вечерней газете — о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал:

— Слава Тебе Господи. Лучше черти, чем Ленин.

*7 марта*

В городе говорят:

— Они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени.

Спрашиваю дворника:

— Как думаешь, правда?

Вздыхает:

— Все может быть, все может быть.

— И ужели народ допустит?

— Допустит, дорогой барин, еще как допустит-то! Да и что ж с ними сделаешь? Татары, говорят, двести лет нами владели, а ведь тогда разве такой жидкий народ был?

Шли ночью по Тверскому бульвару: горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным с просветами небом, точно опять говорит: «Боже, как грустна моя Россия!»

И ни души кругом, только изредка солдаты

и бляди.

*8 марта*

Катерина Павловна, жена Горького, про Спиридонову:

— Меня никогда не влекло к ней. Революционная ханжа, истеричка. Дурное издание Фигнер, которую она прежде сознательно копировала...

Да, а ведь какой героиней была одно время эта Спиридонова.

Великолепные дома возле нас (на Поварской) реквизируются один за одним. Из них все вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения — нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома, долженствующие быть какими-то «правительственными» учреждениями, мебель новую, конторскую...

Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании?

«Поношение сокрушило сердце мое...»

*9 марта*

Нынче В. В. В. — он в длинных сапогах, в поддевке на меху, — все еще играет в «земгусара», — понес опять то, что уже совершенно осточертело читать и слушать:

— Россию погубила косная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами, чаяниями... Революция в силу этого была неизбежна...

Я ответил:

— Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю — пусть она неизбежна, прекрасна, все, что угодно. Но не врите на народ — ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к черту и временное правительство, и учредительное собрание, и «все, за что гибли поколения лучших русских людей», как вы выражаетесь, и ваше «до победного конца».

10 марта

Люди спасаются только слабостью своих способностей — слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить.

Толстой сказал про себя однажды:

— Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других...

Есть и у меня эта беда.

Грязная темная погода, иногда летает снег.

Отбирали книги на продажу, собираю деньги, уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни, — физически.

Вечером у Веселовского. Рассказывал про Фриче, которого видел на днях. «Да, да, давно ли это была самая жалкая и смиренная личность в обшарпанном сюртучишке, а теперь — персона, комиссар иностранных дел, сюртук с атласными отворотами!» Играл на фисгармонии Баха, венгерские народные песни. Очаровательно. Потом смотрели старинные книги, — какие виньетки, заглавные буквы! И все это уже навеки погибший золотой век. Уже давно во всем идет неуклонное падение.

Как злобно, неохотно отворял нам дверь

швейцар! Поголовно у всех лютое отвращение ко всякому труду.

*11 марта*

Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевшая ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров: только потому, что они с мужем друзья Горького по Нижнему. Утром были в «Книгоиздательстве писателей», и Гонтарев рассказывал, как Шкляр битый час ждал Малиновскую где-то у подъезда, когда же подкатил наконец автомобиль с Малиновской, кинулся высаживать ее с истинно холопским подобострастием.

Грузинский сказал:

— Я теперь всеми силами избегаю выходить без особой нужды на улицу. И совсем не из страха, что кто-нибудь даст по шее, а из страха видеть теперешние уличные лица.

Понимаю его как нельзя более, испытываю то же самое, только, думаю, еще острее.

Ветер разносит редкие, совсем весенние облака по бледно голубеющему небу, около тротуаров блестит, бежит весенняя вода.

*12 марта*

Встретил адвоката Малянтовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник, с них все как с гуся вода. Розовый, оживленный:

— Нет, вы не волнуйтесь. Россия погибнуть не может уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит: не забывайте, что необходимо европейское равновесие.

Был (по делу издания моих сочинений «Парусом») у Тихонова, вечного прихлебателя Горького. Да, очень странное издательство! Зачем понадобилось Горькому завести этот «Парус» и за весь год издать только книжечку Маяковского? Зачем Горький купил меня, заплатил семнадцать тысяч вперед и до сих пор не выпустил ни одного тома? Что скрывается под вывеской «Паруса»? И, особенно, в каких же отношениях с большевиками вся эта компания — Горький, Тихонов, Гиммер-Суханов? «Борются» якобы с ними, а вот Тихонов и Гиммер приехали и остановились в реквизируемой большевиками «Национальной Гостинице», куда я вошел через целую цепь сол-

дат, сидящих на площадках лестниц с винтовками, после того, как получил пропуск от большевистского «коменданта» гостиницы. Тихонов и Гиммер в ней как дома. На стенах портреты Ленина и Троцкого. Насчет дела Тихонов вертелся: «Вот-вот начнем печатать, не беспокойтесь».

Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся:

— Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами: да нет, вы только подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести, и вдруг такой неожиданный успех!

*13 марта*

Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль!

Видел В. В. Горячо поносил союзников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию!

Обедал и вечер провел у первой жены Горького, Е<катерины> П<авловны>. Был Бах (известный революционер, старый эмигрант),

Тихонов и Миролубов. Этот все перевозносил русский народ, то есть мужиков: «Милосердный народ, прекрасный народ!» Бах говорил (в сущности, не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей):

— Да о чем вы спорите, господа? А во французской революции не было жестокостей? Русский народ — народ как все народы. Есть, конечно, и отрицательные черты, но масса и хорошего...

Возвращались с Тихоновым. Он дорогой много рассказывал о большевицких главарях, как человек очень близкий им: Ленин и Троцкий решили держать Россию в накалении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Их принадлежность к немецкому штабу? Нет, это вздор, они фанатики, верят в мировой пожар. И всего боятся как огня, везде им снятся заговоры. До сих пор трепещут и за свою власть, и за свою жизнь. Они, повторяю, никак не ожидали своей победы в октябре. После того, как пала Москва, страшно растерялись, прибежали к

нам в «Новую Жизнь», умоляли быть министрами, предлагали портфели...

*15 марта*

Все та же морозная погода. И нигде не топят, холод на квартирах ужасный.

Закрыты «Русские Ведомости» — из-за статьи Савинкова.

Многим все кажется, что Савинков убьет Ленина.

«Комиссар по делам печати» Подбельский закрыл и привлек к суду «Фонарь» — «за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику». Какая забота о населении, по минутно ограбляемом, убиваемом!

*22 марта*

Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидел грачей.

Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету.

Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного наслаждения, газеты. Вообще этот последний год будет стоять мне,

верно, не меньше десяти лет жизни!

Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны. Очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома; их освещенные окна мягки, розовы.

*23 марта*

Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия — солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор — и какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышинные волосы! У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие.

Старик букинист Волнухин, в полушубке, в очках. Милый, умница; грустный, внимательный взгляд.

Именины Н. Говорили, что все слова на «ны» требуют выпивки. Крепок еще «старый режим».

«Кабак» Премирова. Несомненно, талант. Да что с того? Литературе конец. А в Художестве

ственном Театре опять «На Дне». Вовремя! И опять этот осточертевший Лука!

К. П. (Пешкова, жена Горького) до сих пор твердо убеждена, что Россию может спасти только Минор.

Меньшевистская газета «Вперед». Все одно и то же, все одно и то же!

Жены всех комиссаров тоже все сделаны комиссарами.

Рота красногвардейцев. Идут вразнобой, спотыкаясь, кто по мостовой, кто по тротуару. «Инструктор» кричит: «Смирно, товарищи!»

Газетчик, бывший солдат:

— Ах, сволочь паскудная! На войну идут и девок с собой берут! Ей-Богу, барин, гляньте — вот один под ручку со своей шкурой!

Очень черная весенняя ночь. Просветы в облаках над церковью, углубляющие черноту, звезды, играющие белым блеском.

Особняк Цетлиных на Поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено — великолепные матовые люстры за гардинами.

24 марта

Теперь, несчастные, говорим о выступлении уже Японии на помощь России, о десанте на Дальнем Востоке; еще о том, что рубль вот-вот совсем ничего не будет стоить, что мука дойдет до 1000 р. за пуд, что надо делать запасы... Говорим — и ничего не делаем: купим два фунта муки и успокоимся.

У Н. В. Давыдова в Большом Левшинском. Желтоватый домик (бывший писателя Загоскина) с черной крышей во дворе, за железной оградой с железными черными чашами на воротах. Бирюзовое небо в сети деревьев. Старая Москва, которой вот-вот конец навеки.

В кухне у П. солдат, толстомордый, разноцветные, как у кота, глаза. Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать. «Троцкий молодец, он их крепко по шее бьет».

Серьезная сухая дама и девочка в очках. Торгуют на улице папиросами.

Купил книгу о большевиках, изданную «Задругой». Страшная галерея каторжников! У молодого Луначарского шея пол-аршина длины.

## Одесса, 1919 г.

*12 апреля (старого стиля)*

Уже почти три недели со дня нашей гибели.

Очень жалею, что ничего не записывал, нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта! В полдень 21-го Аня (наша горничная) зовет меня к телефону. «А откуда звонят?» — «Кажется, из редакции» — то есть из редакции «Нашего Слова», которое мы, прежние сотрудники «Русского Слова», собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование «до возврата в Москву». Беру трубку: «Кто говорит?» — «Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы уходят». — «Как, что такое, когда?» — «Сию минуту». — «Вы с ума сошли?» — «Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!» Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении,

скачут одноколки со всяким воинским имуществом... А в редакции — телеграмма: «Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция...»

Двенадцать лет тому назад мы с Верой приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город... Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...

Перед тем как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает, умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти — умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных, особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать: как и чем живет, да и жив ли? Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года. А письмо из Москвы к В. от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17-го года: с тех самых пор, как у нас впервые, на

европейский лад, появился «министр почт и телеграфов...». Тогда же появился впервые и «министр труда» — и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: «Я тебя арестую, сукин сын!» Меня в конце марта 17-го года чуть не убил солдат на Арбатской площади — за то, что я позволил себе некоторую «свободу слова», послав к черту газету «Социал-Демократ», которую навязывал мне газетчик. Мерзавец солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно, — толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне: «В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер?» — Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых ад-

министративных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров, непременно почему-то комиссаров, — и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли как грибы, и все «пожирали друг друга», образовался совсем новый, особый язык, «сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании...». Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна.

Ах, эти сны про смерть! Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании! А про эти годы и говорить нечего: день и ночь живем в оргии смерти. И все во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устройению человеческого благополучия. «А в каком же году наступит

оно, это будущее?» — как спрашивает звонарь у Ибсена. Всегда говорят, что вот-вот: «Это будет последний и решительный бой!» — Вечная сказка про красного бычка.

Ночью лил дождь. День серый, прохладный. Деревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная! Главное — совсем нет чувства весны. Да и на что весна *теперь?*

Все слухи и слухи. Жизнь в непрестанном ожидании (как и вся прошлая зима здесь, в Одессе, и позапрошлая в Москве, когда все так ждали немцев, спасения от них). И это ожидание чего-то, что вот-вот придет и все разрешит, сплошное и неизменно-напрасное, конечно, не пройдет нам даром, изувечит наши души, если даже мы и выживем. А за всем тем, что было бы, если бы не было даже ожидания, то есть надежды?

«Боже мой, в какой век повелел Ты родиться мне!»

*13 апреля*

Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. На-

рвался он с предложением своих услуг («по украшению города к первому мая») ужасно. Я его предупреждал: не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной? Все-таки побежал. — А на другой день в «Известиях»: «К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Теперь Волошин хочет писать «письмо в редакцию», полное благородного негодования. Еще глупей.

Слухи и слухи. Петербург взят финнами, Колчак взял Сызрань, Царицын... Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву... Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы! Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар: не ушел ли, избавь Бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче.

*15 апреля*

Десять месяцев тому назад ко мне приходил какой-то Шпан, на редкость паршивый и оборванный человек, нечто вроде самого плохонького коммивояжера, и предлагал мне быть моим импресарио, ехать с ним в Николаев, в Харьков, в Херсон, где я буду публично читать свои произведения «каждый вечер за тысячу думскими». Нынче я его встретил на улице: он теперь один из сотоварищей этого сумасшедшего мерзавца профессора Щепкина, комиссар по театральному делу, он выбрит, сыт — по всему видно, что сыт, — и одет в чудесное английское пальто, толстое и нежное, с широким хлястиком сзади.

Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо — «красный милиционер». И вся улица трепещет его так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городских. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек шестьсот каких-то «григорьевцев», кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный, богатейший город! Все помертвели от страха, прижухнулись. Где, например, все те, кото-

рые так громили месяц тому назад добровольцев?

*16 апреля*

Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически, я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию! Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на Большой Фонтан проехать, и то безумная мечта: и нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку.

Встретили Л. И. Гальберштата (бывший сотрудник «Русских Ведомостей», «Русской Мысли»). И этот «перекрасился». Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший (буквально) при бегстве французов, уже пристроился при газете «Голос Красноармейца». Воровски шептал нам, что он «совершенно раздавлен» новостями из Европы: там будто бы твердо решено — никакого вмешательства во внутренние русские дела... Да, да, это называется «внутренними делами», когда в соседнем до-

ме, среди бела дня, грабят и режут разбойники!

Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальством чрезвычайки Северным (Юзефовичем), у которого «кристальная душа». Так и сказал: кристальная.

Проф. Евгений Щепкин, «комиссар народного просвещения», передал управление университетом «семи представителям революционного студенчества», таким, говорят, негодьям, каких даже и теперь днем с огнем поискать.

В «Голосе Красноармейца» известие «о глубоком вторжении румын в Советскую Венгрию». Мы все бесконечно рады. Вот тебе и невмешательство во «внутренние» дела! Впрочем, ведь это не Россия.

«Блок слышит Россию и революцию, как ветер...» О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем.

Часто вспоминаю то негодование, с кото-

рым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть «попа», «обывателя», мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина — словом, вся и всех, за исключением какого-то «народа», — безлошадного, конечно, — «молодежи» и босяков.

*17 апреля*

«Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата... Народ, пламенным, стихийным порывом опрокинул — и навсегда — сгнивший трон Романовых...»

Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошло с ума на ужасе перед реакцией, реставрацией?

«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант.

«Революции не делаются в белых перчатках...» Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах?

«Утешься ради скорби всего Иерусалима!»

До самого завтрака пролежал в постели с закрытыми глазами.

Читаю книгу о Савиной — ни с того ни с сего, просто потому, что надо же делать что-нибудь, а что именно, теперь совершенно все равно, ибо главное ощущение теперь, что это не жизнь. А потом, повторяю, это изнуряющее ожидание: да не может же продолжаться так, да спасет же нас кто-нибудь или что-нибудь — завтра, послезавтра, может, даже нынче ночью!

С утра было серо, после полудня дождь, вечером ливень.

Два раза выходил смотреть на их Первомайское празднество. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу перевертывает. «Я как-то физически чувствую людей», — записал однажды про себя

Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляются порой моей страстности, «пристрастности». Для большинства даже и до сих пор «народ», «пролетариат» только слова, а для меня это всегда — глаза, рты, звуки голосов, для меня речь на митинге — все естество произносящего ее.

Когда выходил в полдень: накрапывает, возле Соборной площади порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотрят на всю эту балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно, процессии с красными и черными знаменами, были какие-то размалеванные «колесницы» в бумажных цветах, лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали «пролетариат» актеры и актрисы в оперно-народных костюмах, были «живые картины», изображавшие «мощь и красоту рабочего мира», «братски» обнявшихся коммунистов, «грозных» рабочих в кожаных передниках и «мирных пейзаж» — словом, все, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы, от этой гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается самое подлое

издевательство над чернью, самая гнусная купля ее душ и утроб и где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький! Бывало, на Рождестве на Капри (утрированою окоя на нижегородский лад): «Нонче, ребята, айдате на пьядцу: там, дьявол их забири, публика будет необыкновеннейшие штуки выкидывать, — вся, понимаете, пьядца танцует, мальчишки орут, как черти, расшибают под самым носом достопочтеннейших лавочников хлопушки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок... Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессов, будут петь чудеснейшие уличные песни...» И на зеленых глазках — слезы.

Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро, памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. А против памятника чрезвычайка, в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных.

Вечером почти весь город в темноте: новое издевательство, новый декрет — не сметь зажигать электричества, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достанешь нигде, и вот только кое-где видны сквозь ставни убогие, сумрачные огоньки: коптят самодельные каганцы. Чье это издевательство? Разумеется, в конце концов, народное, ибо творится в угоду народу. Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были «Одесские Новости», в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных «Известий» и с криками: «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!» — Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: «Мало! Мало!» — Конечно, большевики настоящая «рабоче-крестьянская власть». Она «осуществляет заветнейшие чаяния народа». А уже известно, каковы «чаяния» у этого «народа», призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства.

«Без всяких аннексий и контрибуций с Германии!» — «Правильно, верно!» — «Пять-

сот миллиардов контрибуций с России!» — «Мало, мало!»

«Левые» все «эксцессы» революции валят на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа и на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жида на все это дело подбили...»

*19 апреля*

Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять, делать съестные запасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках, еще не закрывшихся, почти ничего нет, точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качкавала. Цена дикая — 28 рублей фунт.

Был А. М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс — кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь «народное достояние». Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить (залезши в долги) домик — и вот оказывается,

что домик «народный», что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то «трудящиеся». Повеситься можно от ярости!

Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том, что Макензен уже в Черновицах, и даже «о падении Петрограда». О, как люто все хотят этого! И все, конечно, враки.

Вечером с проф. Лазурским в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви, и в эти последние убежища, еще не залитые потопом грязи, зверства. Только слишком много было оперы, хорошо только порою: дико-страстные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютства, восток, древность, скитания — и Единый, перед Коим можно излить душу то в отчаянной, детски горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понижающемся реве.

Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи приюты, — там пылают люстры, слышны балайки, видны стены, увешанные черными

знаменами, на которых белые черепа с надписями: «Смерть, смерть буржуям!»

Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь «Новой Жизни» со стороны «царских опричников», что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?

Прав был дворник (Москва, осень 17-го года):

— Нет, простите! Наш долг был и есть — довести страну до учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, — мимо него быстро шли и спорили, — горестно покачал головой:

— До чего в самом деле довели, сукины дети!

— Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики...

Грузовик — каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжелых и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами.

Вся грубость современной культуры и ее «социального пафоса» воплощена в грузовике.

Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка — перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости»!

А его слушатели?

Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы, — не говорит, а все только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаки, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых, животно-первобытных губах.

«Российская история» Татищева:

«Брат на брата, сыневе против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведуще, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день возрыдает...»

А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий «сдвиг» к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому!

Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о «российской истории» не имел.

*20 апреля*

Кинулся к газетам — ничего особенного. «В ровенском направлении попытка противника...» Кто же наконец этот противник?

Тон газет все тот же, — высокопарно-площадной жаргон, — все те же угрозы, остервенелое хвастовство, и все так плоско, лживо так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в полной отрезанности от мира, как на каком-то Чертовом острове.

Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик, и кому же не выдают? — тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах возвания: «Граждане! Все к спорту!» Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт?

Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через «морского комиссара и команду-

ющего черноморским флотом», Немица, который, кстати сказать, поэт, «особенно хорошо пишущий рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную «миссию» в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Бешенство слухов: Петроград взят генералом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-вот будут в Одессе...

Какая у всех свирепая жажда их гибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга.

Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит,

как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру — такой силы, что ложишься спать точно эфиром опенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься, молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым про- сишь об их гибели и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою муку, да сохранит и спасет их Господь, и вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем: где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам, — вот оно, что-то таки случилось, кто-то, может быть, напал на город — и конец, крах этой проклятой жизни! А наутро опять отрезвление, тяжелое похмелье, кинулся к газетам — нет, ничего не слу-

чилось, все тот же наглый и твердый крик, все новые «победы». Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди... И опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой, долгий день, да нет, не день, а дни, пустые, долгие, ни на что не нужные! Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно...

«У нас совсем особая психика, о которой будут потом сто лет писать». Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? «Этим записям цены не будет». А не все ли равно? Будет жить и через сто лет все такая же человеческая тварь — теперь-то я уж знаю ей цену!

Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером, с видом заговорщика, пришел А. В. Васьковский, притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть суцая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом слезил под лестницу и вытащил две бутылки ви-

на. Я так слаб от нервно­сти, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов, — и все-таки верю и пишу дрожащими, холодными руками...

«Ах, мщения, мщения!» — как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.

Савина писала летом 15 года мужу с Кавказа: «Ужели Господь попустит и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут пере­нести этот стыд и горе — наше поражение!»

Что это было? Глупость, невежество, про­исходившее не только от незнания народа, но и от нежелания знать его? Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. «Я верю в русский народ!» За это рукоплескали.

Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть «друзьями народа, молодежи и всего светлого», что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними, — и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто крича-

ли:

— Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу!?

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти не сознаваемая, привычная жизнь выдуманнами чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа.

Как мы вралі друг другу, что наши «чудо-богатыри» лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

— Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «из нас, как из дерева, — и

дубина, и икона», — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал непрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ — если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств — и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

— Я никогда в жизни не видел, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «помощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп.

Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была.

То же и во время войны. Было, в сущности, все то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатики» были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: — «что ж, сестрица, все Божья воля!» — и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам ввали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое, по его мнению, ответил: «Да черт... Чертом представляется, козлекает...»).

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно ввали об его патристическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между

прочим, и от ужасно присущей нам беспечно-сти, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, крити-

ка всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

— Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем — карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни» — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крыльечко и перекинуть с руки на руку колечко!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

«Нами человечество протрезвляется, мы

его похмелье... Мы канонизировали человечество... канонизировали революции... Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения...»

Нет, отрезвление еще далеко.

Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей... Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!

*21 апреля*

«Ультиматум» Раковского и Чичерина Румынии — «в 48 часов очистить Буковину и Бессарабию!» Так неправдоподобно-глупо (даже если это все то же издевательство над чернью), что приходит в голову: «Да уж не делается ли все это по чьему-то приказу, немецкому, что ли, — с целью изо дня в день позорить коммунистов, революционеров, вообще революцию?» Затем: «От победы к победе — новые успехи доблестной красной армии. Расстрел

26 черносотенцев в Одессе...»

В «Известиях», — ох, какое проклятое правопписание! — после передовой об ультиматуме напечатан поименный список этих двадцати шести, расстрелянных вчера, затем статья о том, что «работа» в одесской чрезвычайке «налаживается», что «работы вообще много», и, наконец, гордое заявление: «Вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев...» — Счастливейший день! И это после ультиматума-то!

Ну а если румыны не послушаются Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки! Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь, дается кому-то придирка? Кому же именно?

Да, а «буржуи» уж совсем было поверили в Петрограде. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда (после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него)...

Слух, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве, — «сбор» одежды и обуви...

Давеча прочитал про этот расстрел двадцати шести как-то тупо.

Сейчас в каком-то столбняке. Да, двадцать шесть, и ведь не когда-нибудь, а вчера, у нас, возле меня. Как забыть, как это простить русскому народу? А все простится, все забудется. Впрочем, и я — только стараюсь ужасаться, а по-настоящему не могу, настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков — убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, — перешагни же меру. Это — как цены на хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт!» А назначь тысячу — и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. «Как? Семь повешенных?!» — «Нет, милый, не семь, а семьсот!» — И уж тут непременно столбняк — семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят!

В три часа, — все время шел дождь, — выходили. Встретили Полевицкую с мужем. — «Ужасно ищу роль для себя в мистерии — так хотелось бы сыграть Богоматерь!» — О, Боже

мой, Боже мой! Да все это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре он уже давным-давно...

Купил спичек, 6 рублей коробка, а месяц тому назад стоили полтинник.

Когда выходишь, идешь как при начале тяжелой болезни.

Сейчас (8 часов вечера, а по «советскому» уже половина одиннадцатого) закрывал, возвратясь с прогулки, ставни: ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом.

Вышел в семь, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины, — тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал, шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер «первого мая». А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел и, как всегда за последнее время, эта церковная

красота, этот остров «старого» мира в море грязи, подлости и низости «нового» тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели — любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей — все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой — чувство легкости, молодости. И наряду с этим — какая тоска, какая боль!

Когда вернулся, у нас во дворе, в квартире милиционера, играли на фортепьяно и танцевали. Встретил Марусю — в сумерках, наряженная, с блестящими глазами, показалась очень хороша, — и на мгновение сердцем вспомнил то далекое, невозвратимое очарование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер, в деревенском саду.

Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего

любовника, и я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность, и в этом все дело: быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!

Пишу при светильничке — масло и поплавок в банке. Темь, копоть, порчу зрение.

В сущности, всем нам давно пора повестись — так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств.

*Какое самообладание  
У лошадей простого звания,  
Не обращающих внимания  
На трудности существования!*

Милый мальчик, царство небесное ему! (Это шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские — идейно — и убитого большевиками). — Да, мы теперь лошади очень простого звания.

*22 апреля*

Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью, — Москва, прошлый год, конец

марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны — и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдает грязью несущих гроб:

— Долой с дороги!

Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: «Ну будет, будет. Бог с тобой!» — спрашиваю: «Родня, верно, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и наконец с трудом выговаривает:

— Нет... Чужой... *Завидую...*

И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки:

— Помните, господа: пгусский сапог безжалостно газдавит нежные гостки гусской свободы! Все на защиту ея!

Устами князя говорили тогда сотни тысяч

уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать «русскую свободу»!

Зимой 18 года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение (только уже не русской свободы) именно через немцев. Вся Москва бредила их приходом.

Понедельник, газет нет, отдых в моем помешательстве (длЯщемся с самого начала войны) на чтении их. Зачем я над собой зверствую, рву себе сердце этим чтением?

На редкость твердо уверены все эти Пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в 17-м году.

Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? «С цинизмом, доходЯщим до грации... Нынче брюнет, завтра блондин... Чтение в сердцах... Учинит допрос с пристрастием... Или — или: третьего не дано... Сделать надле-

жащие выводы... Кому сие ведать надлежит... Вариться в собственном соку... Ловкость рук... Нововременские молодцы...» А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией (неизвестно над чем и над кем) высокого стиля? Ведь даже у Короленко (особенно в письмах) это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Росинант, вместо «я сел писать» — «я оседлал своего Пегаса», жандармы — «мундиры небесного цвета». Кстати, о Короленко. Летом 17-го года какую громовую статью напечатал он в «Русских Ведомостях» в защиту Раковского!

По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. Фонарей не зажигают. Но на всяких «правительственных» учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах «имени Троцкого», «имени Свердлова», «имени Ленина» прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах, — очень часто с разряженными девками, — мчится в эти клубы и театры (глядеть на своих крепостных актеров) всякая красная

аристократия: матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими, темными, кокаинистическими глазами... Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, «кроет матом». По Дерibasовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за «павшего борца» (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен), или чернеют кучки играющих на гармониях, пляшущих и вскрикивающих:

*Эй, яблочко,  
Куда котишься!*

Вообще, как только город становится «красным», тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преобразается.

Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда.

Теперь то же самое в Одессе — с самого того праздничного дня, когда в город вступила «революционно-народная армия» и когда даже на извозчичьих лошадях как жар горели красные банты и ленты.

На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

И вот уж третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое!

«Нельзя огулом хаять народ!»

А «белых», конечно, можно.

Народу, революции все прощается — «все

это только эксцессы».

А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, — родина, родные колоды и могилы, матери, отцы, сестры, — «эксцессов», конечно, быть не должно.

«Революция — стихия...»

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революции всегда «углубляют».

«Народ, давший Пушкина, Толстого».

А белые не народ.

«Салтычиха, крепостники, зубры...» Какая вековая низость — шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый московский университет тридцатых и сороковых годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели «эпохи великих реформ», «кающийся дворянин», первые народовольцы, Государственная Дума? А редакторы знаменитых журналов? А весь цвет русской литературы? А ее герои? Ни одна страна в мире не дала такого дворянства.

«Разложение белых...»

Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире «разложения», которое явил «красный» народ.

Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что девять десятых дурных человеческих поступков объясняется исключительно глупостью.

— В моей молодости, — рассказывал он, — был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснения этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп.

*23 апреля*

Каждое утро делаю усилия одеваться спокойно, преодолевать нетерпение к газетам — и все напрасно. Напрасно старался и нынче. Холод, дождь, и все-таки побежал за этой мерзостью и опять истратил на них целых пять целковых. Что Петербург? Что ультиматум румынам? Ни о том, ни о другом, конечно, ни

слова. Крупно: «Колчаку Волги не видать!» Затем: образовалось «Временное Рабоче-Крестьянское Правительство» Бессарабии, Нансен просит «Совет Четырех» о хлебе для России, где «ежемесячно умирают от голода и болезней сотни тысяч», Абрашка-Гармонист (Регинин из «Биржевки») продолжает забавлять красноармейцев: «Тут вскочил как ошарашенный Колчак и присел от перепуга на столчак», «в Париже баррикады, старый палач Клемансо в панике», болгарский коммунист Касанов «объявил войну Франции», — так буквально и сказано! — в одесский порт вчера пришло посыльное французское судно, а «блокада продолжается, французы останавливают даже парусники...». Все в городе диву даются, стараясь понять поведение французов, и все бегает на Николаевский бульвар посмотреть на французский миноносец, сереющий вдали на совершенно пустом море, и дрожат: как бы не ушел, избавь Бог! Все кажется, что есть хоть какая-то защита, что в случае каких-нибудь уж слишком чрезмерных зверств над нами миноносец может начать стрелять... что если он уйдет, уж всему

конец, полный ужас, полная пустота мира...

Весь вечер сидел Волошин. Очень хвалил этого морского комиссара Немица — «он видит и верит, что идет объединение и строительство России». Читал свои переводы из Верхарна. Опять думаю: Верхарн большой талант, но, прочитав десяток его стихов, начинаешь задыхаться от этого дьявольского однообразия приемов, диких преувеличений, сумасшедшего, «большевистского» нажима на воображение читателя.

Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все — и литература особенно — выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый... Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, оше-

ломить, обратить на себя внимание.

Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию «Ангела Мщения», который должен был «в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты». А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть десять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.

А. К. Толстой когда-то писал: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния». В русской литературе еще вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни «проклятые монголы».

### *Ночь на 24 апреля*

Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17-го года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на

полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противостественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы

взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.

— В Европейскую, — сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал — и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только не кричал, не командировал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой... Невский

был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург... «Правильно, шабаш». Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме на-

шем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и все старались внушить и себе, и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только — временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издеватель-

ство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противозаконно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.

Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался «весь Петербург» во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу «за-

ри свободы, засиявшей над Финляндией». И из окон того богатого особняка, в котором происходило все это и который стоял как раз возле Марсова Поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его.

А затем я был еще на одном торжестве в честь финнов после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же — весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всеми возобладал — поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту

банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего

заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и — тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бри- того моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим *излишеством* свинства и желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многоо! Многоо!

И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге — приезд Ленина. «Добро пожаловать!» — сказал ему Горький в своей газете. И он пожаловал — в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий.

«Много»? Да как сказать? Ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру бы-

ли только Ленины и Маяковские.

Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнет рот всем прочим трибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великолепнее, чем сделал это он сам, на пиру в честь готовой послать нас к черту Финляндии!

В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна: даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все бы-

ло настужь — и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплеывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование...

«Разочарования, — говорит Герцен, — мир не знал до Великой французской революции, скепсис пришел вместе с республикой 1792 года».

Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире.

Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул: вот, например, 5 мая 1917 года:

Был на мельнице. Много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолоки, прислонясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит высокий мужик с опущенными плечами, с черной курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил:

— Вот, вот! Вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!

В это время, верхом на серой лошади, подъехал молодой солдат в хаки и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него:

— Вот он! Видишь, катается! Кто его пустил? Зачем его собирали, зачем его обряжали?

Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах, с притворно беззаботным видом, вошел в мельницу.

— Что ж мало навоевал? — закричал за ним мужик. — Ты что ж, казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть? (Солдат с неловкой улыбкой обернулся.) Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот, сдеру с тебя портки и сапоги да головой об стену! Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец! Зачем тебя отец с матерью кормили?

Мужики подхватили, поднялся общий негодующий крик. Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.

*24 апреля*

Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти, и тогда несдобровать мне. В «Известиях» обо мне уже писали: «Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника, вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов!»

Посмотрел газеты. Все тот же балаган. «Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов...» и т. д.

Статья Троцкого «о необходимости добить Колчака». Конечно, это первая необходимость, и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради гибели «проклятого прошлого» готовы на гибель хоть половины русского народа.

В Одессе народ очень ждал большевиков — «наши идут». Ждали и многие обыватели — надоела смена властей, уж хоть что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох как нарвались все! Ну да ничего, привыкнут. Как тот старик мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули.

— Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам!

— Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся...

Волошин рассказывал, что председатель одесской чрезвычайки Северный (сын одесского доктора Юзефовича) говорил ему:

— Простить себе не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках!

Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слышал.

Дыбенко... Чехов однажды сказал мне:

— Вот чудесная фамилия для матроса: Кошкодавленко.

Дыбенко стоит Кошкодавленки.

О Коллонтай рассказывала вчера Щепкина-Куперник:

— Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы — «на работу». А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку — и шмыг с коробкой конфет в кровать к подруге: «Ну давай, дружок, поболтаем теперь всласть!»

Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип среди прирожденных преступниц и проститу-

ТОК.

Из «Известий»:

— Крестьяне говорят: дайте нам коммуны, *лишь бы избавьте* нас от кадетов...

У дверей «Политуправления» стоит огромный плакат. Краснокожая баба, с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись:

— Не зарись, Деникин, на чужую землю!

«Не зарись» должно обозначать «не зарься».

По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевицкого правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию.

Подумать только: надо еще *объяснять* то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще *доказывать*, что нельзя сидеть рядом с

чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и «антересуется» стихами!

Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямба и хореем, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!

Кстати, об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клетчатой чашкой.

А у «председателя» этой чрезвычайки, у Северного, «кристальная душа», по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин, — всего несколько дней тому назад, — «в гостиной

одной хорошенькой женщины».

Анюта говорит:

— Пригнали красноармейцев из России.

Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного — толстомордого, коротконого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы. Страшный тип. Я был над спуском в порт в конце Торговой, он лежал с другим солдатом на ограде, с обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами, исподлобья поглядывая на меня. Зачем я, несчастный, хожу туда? Смотреть на пустой рейд, на море, все тая надежду на спасение с той стороны!

Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему:

— Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренно верят, что не могут постигнуть их глубины... Прочел пролог к «Анатэме» — полная бессмыслица... Что у них у всех в головах, у всех этих Брюсовых, Белых?

Чехов тоже не понимал что. На людях говорил, что «чудесно», а дома хохотал: «Ах, такие-сякие! Их бы в арестантские роты отдать!» И про Андреева: «Прочитаю две стра-

ницы — надо два часа гулять на свежем воздухе!»

Толстой говорил:

— Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью.

Он забыл помощь критиков.

Кто они, эти критики?

На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию — юристов, железнодорожный мост оценивают инженеры, дом — архитекторы, а вот художество всякий, кто хочет, люди, часто совершенно противоположные по натуре всякому художеству. И слушают только их. А отзыв Толстых в грош не ставится — отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем, ибо написание каждого слова в «Войне и мире» есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова.

Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть

без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?

Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего *литература поможет*, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, вырожденков и шарлатанов.

*Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!*

Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. Все-то у нас не веревка, а «вервие», как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою элоквенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гунн, скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот яр-

ЛЫК.

Вообще литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия — двадцатые, тридцатые, сороковые, шестидесятые годы — и каждое десятилетие определили его *литературным* героем: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров... Это ли не курам на смех, особенно ежели вспомнить, что героям этим было одному «осьмнадцать» лет, другому девятнадцать, третьему, самому старшему, двадцать!

Газеты зовут в поход на Европу. Вспомнилось: осень 14 года, собрание московских интеллигентов в Юридическом Обществе. Горький, зеленея от волнения, говорит речь:

— Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится стомиллионным брюхом на Европу!

Теперь это брюхо большевицкое, и он уже не боится.

Рядом с этим есть в газетах и «Предупре-

ждение»: «В связи с полным истощением топлива, электричества скоро не будет». Итак, в один месяц все обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды — ничего!

Да, да — «вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, но сами от того не станут тучнее».

Сейчас (одиннадцатый час, ночь) открыл окно, выглянул на улицу: луна низко, за домами, нигде ни души, и так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака, — и откуда только могла она взять эту кость? Вот дожили — даже кости дивишься!

Перечитываю «Обрыв». Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилия, чтобы читать — так противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка! «Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки?» — «А что это значит: чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется?» Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе,

что во сто крат усиливает его существование и влияние — и часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства — и сделал Дон-Кихота, и уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон-Кихота начинают рождаться сотни живых Дон-Кихотов. Хотел казнить марковщину — и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. — Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого. А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной — та, которую она видела в автомобиле на экране.

*25 апреля*

Вчера поздно вечером, вместе с «комиссаром» нашего дома, явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты «на предмет уплотнения пролетариатом». Все комнаты всего города измеряют, проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан! Я не проронил ни слова, молча лежал ни дива-

не, пока мерили у меня, но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стучало с перерывами и больно пульсировала жила на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое и насколько бы еще меня хватило, сколько бы я мог еще сделать!

«Комиссар» нашего дома сделался «комиссаром» только потому, что моложе всех квартирантов и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страха; человек скромный, робкий и теперь дрожит при одном слове «революционный трибунал», бегаёт по всему дому, умоляя исполнять декреты, — умеют нагонять страх, ужас эти негодяи, сами всячески подчеркивают, афишируют свое зверство! А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как «революционный трибунал». Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только под защитой таких священо-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови, что благодаря им даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от

обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо взять, тащить в полицию босяка, который схватил за горло прохожего *в обычное время*, от восторга захлебываются перед этим босяком, если он делает то же самое во время, называемое революционным, хотя ведь всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что он осуществляет «гнев низов, жертв социальной несправедливости».

Когда дописывал предыдущие слова — стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный. Отворил — опять комиссар и толпа товарищей и красноармейцев. С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет, — вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвление головы, опять сердцебиение, дрожь в отвалившихся от бешенства, от обиды руках и ногах.

Внезапная музыка во дворе — бродячая немецкая гармония, еврей в шляпе и женщина. Играют польку — и как все странно, некстати теперь!

День солнечный, почти такой же холод-

ный, как вчера. Облака, но небо синее, дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, яркое.

Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали (про нас): «Ничего, ничего, хорошо, пускай поспят на дранках, на досках!»

Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...»

Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, — и телесного, и духовного, — необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерибасовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море — маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни

скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уже как будто совсем до конца все, что творится и в Одессе, и во всей России.

Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то:

— А эти коммунисты, какие постели ограбляют, одна последняя сволочь. Его самогоном надуют, дадут папирос, он отца родного угробит!

Все так, но есть, несомненно, и помешательство. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что (как нарочно) наткнулся на Пушкинской: от вокзала, навстречу мне, промчался бешеный автомобиль и в нем, среди кучи товарищей, совершенно бешеный студент с винтовкой в руках: весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед, худ смертельно, черты лица до неправдоподобия тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка... Вообще студентов видишь нередко: спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на но-

гах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке... Впрочем, черт его знает — студент ли он на самом деле.

Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей Крымской гостиницы (против чрезвычайки) отряд солдат, а по мосту идут женщины: тогда весь отряд вдруг останавливается — и с хохотом молится, оборотясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке? Нарисованы ступени, на верхней — трон, от трона потоки крови. Подпись:

*Мы кровью народной залитые  
троны  
Кровью наших врагов обазрим!*

А на площади, возле Думы, еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше висится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности — нечто сбитое из досок, очевидно по какому-то футуристическому рисунку, и всячески размалеванное, целый дом какой-то, суживающийся кверху, с какими-то сквозными воротами. А по Дерива-

совской опять плакаты: два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая, прежде всего, грязь! Сколько старых, донельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали, на вшивых головах! И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!

А в красноармейцах главное — распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает «шевелюр». Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда, ни с того ни с сего, красные рейтузы и при этом пехотная шинель, и громадная старозаветная сабля.

Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал.

Чтобы топить водопровод, эти «строители новой жизни» распорядились ломать знаме-

нитую одесскую эстакаду, тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла ссыпка хлеба. И сами же жалуются в «Известиях»: «Эстакаду растаскивает кто попало!» Рубят, обрубают на топку и деревья — уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады.

Возвратясь домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку: «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 г.». Да, это и тут есть:

*Кровью народной залитые троны  
Мы кровью наших врагов обагрим,  
Мсть беспощадная всем супо-  
статам,  
Смерть паразитам трудящихся  
масс!*

Есть «Рабочая Марсельеза», «Варшавянка», «Интернационал», «Народовольческий гимн», «Красное знамя»... И все злобно, кроваво донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия:

— Мы пошлем всем злодеям про-  
клятье,  
На борьбу всех борцов позовем...  
Вихри враждебные веют над на-  
ми...  
Но мы поднимем гордо и смело  
Знамя борьбы за рабочее дело...  
Мы в плуги меч перекуем  
И новой жизнью заживем...

Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на «красный крест» и с «литературой», бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим «кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, са-трапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия»!

Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизирован-

ного дома, играют затворами винтовок, и один говорит другому:

— А Петербург весь под стеклянным потолком будет... Так что ни снег, ни дождь, ни что...

Недавно встретил на улице проф. Щепкина, «комиссара народного просвещения». Двигается медленно, с идиотической тупостью глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан, гнойный фурункул, и толстый старый галстук, выкрашенный *красной масляной краской*.

Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским «депутатам»:

— Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов!

И вдруг голос из толпы этих депутатов:

— Сего не буде!

Фельдман яростно:

— Это почему?

— Жидив не хвате!

Ничего, не беспокойтесь: хватит Щепкиных.

*26 апреля*

Проснулся в шесть, от сердцебиения.

Идя за газетами, слышал проклятия какой-то бабы: в корзине у нее небольшая рыба — 80 рублей!

В газетах из Москвы: погрузка дров на всех ж. д. упала на 50 процентов... Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства... Индия охвачена большевизмом...

«Известия» завели почтовый ящик:

— Гражданину Губерману. Так война с колчаковской и деникинской сволочью, по-вашему, братоубийственная?

— Товарищу А. Хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу.

— Гражданке Гликман. Вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век?

Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромная и ясная карти-

на — пустой рейд, прелестные краски дальних берегов, крепкая синяя зыбь моря... Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же: делают безразличное лицо и быстро, вполголоса: «Тирасполь взят немцами и румынами — теперь это уже факт. Взят и Петербург...»

В три часа вошла с испуганным лицом Аня:

— Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожить, и за это на 15 лет отдадут им нас. Вот бы хорошо!

Что такое? Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи и холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись Овсяннико-Куликовского, его воспоминания о Драгоманове, Зибере, П. Лаврове. Все дивные люди, как всегда у Куликовского. Пишет: «Творец из лучшего эфира создал живые души их...» О Господи! И это на старости лет! Потом читал Ренана. «L'homme fut des milliers d'années un fou, après avoir été des milliers d'années un animal»[7]

27 апреля

«Известия»: «Контрреволюционеры сидят и думают великую думу, как бы запутать пролетариев коммунистов... узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись, из-под толстых отвислых губ этих Федул Федулычей желтеют зубы... Комики, ей-Богу, или просто жулье кабацкое, шантажное...»

В «Голосе Красноармейца» жирно:

«Тов. Подвойский отдал приказ о наступлении на Румынию... Румынские разбойники со своим кровавым королем схватили за горло молодую советскую республику Венгрии, чтобы потушить революцию, охватившую всю Европу».

Резолюция из Вознесенска:

«Мы, красноармейцы-вознесенцы, борясь за освобождение всего мира, протестуем против наглого антисемитизма!»

В Киеве «приступлено к уничтожению памятника Александра Второго». Знакомое занятие. Ведь еще с марта 17 года начали сдирать орлы, гербы...

Опять слух, что Петербург взят, Будапешт

тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы: «Приехал один знакомый моего знакомого...»

Огромная новость. Пришли взволнованные Радецкий и Койранский.

— На Одессу идет Григорьев!

— Какой Григорьев?

— Тот самый, что прогнал союзников из Одессы. Теперь соединился с Махно и бьет большевиков. А на Киев идет Зеленый. «Бей жидов и коммунистов, за веру и отечество!» Я сам, так сказать, жид, но пусть хоть сам дьявол придет. Мне вчера С. говорит, что он демократ, что он *против* всяких интервенций, вмешательств. А я ему: «а что бы вы сказали против них, если бы шел всероссийский еврейский погром?»

28 апреля

Так и есть!

«Во избежание циркулирующих в городе слухов, штаб третьей украинской советской армии объявляет, что атаман *Григорьев*, собрав кучку приверженцев, провозгласил себя гетманом и объявил войну советскому прави-

тельству...»

Затем приказ Овсеенко-Антонова:

«Белогвардейская сволочь стремится расстроить красную силу, натравить ее на мирное население... Подлый предатель родины, подлый слуга врагов наших Каин должен быть уничтожен, как бешеная собака... раздавлен и вбит, как черви, в землю, которую он опоганил...»

Затем воззвание членов военно-революционного совета:

«Всем, всем, всем! Дети трудового народа социалистической Украины! Авантюрист, пьяница, прислужник своры старого режима, попов и помещиков, *маменьких* сынков, Григорьев, открыл свою настоящую личину, окружил себя *стаей черных воронов с засаленными рожками*... Проповедует о том, якобы большевики желают запрячь в коммуну... меж тем как коммунисты никого не заставляют вступать, а только разъясняют, как всякий тоже знает, что не дело большевиков распинать Христа, который учил тому же и, будучи Спаситель, восстал против богачей... Такая нелепая провокация, сочиненная в пьяном

виде, конечно, не могла подействовать... *Ура, долой авантюриста, который вздумал выкупаться в крови проголодавшихся рабочих...* Мы должны изловить сутенеров и предателей и предать их в руки рабочих и крестьян...» Подписано так: «Товарищи Дятко, Голубенко, Щаденко». — Это вроде того, как если бы я подписался: господин Бунин.

Вообще утро большого волнения. Был Юшкевич. Очень боится еврейского погрома. Юдофобство в городе лютое.

Да, еще, — «из местной жизни»: «Вчера по постановлению военно-революционного трибунала расстреляно 18 контрреволюционеров».

Паника и отчаянные зверства. «Вся буржуазия берется на учет». Как это понимать?

Выходил на закате, встретил Розенталя, говорит, на Соборной площади кто-то бросил бомбу. Прошел с ним, зашел к профессору Лазурскому. Там из окон весенний розовый запад среди бледно-синих туч. Потом, уже в сумерках, на Дерibasовской. На одной стороне очень много народа, на другой пусто, злые

крики солдат: «Товарищи, на другую сторону!» Бешено промчалось несколько автомобилей, тревожный рожок кареты «скорой помощи», пронеслись два верховых, за ними с лаем собака... Дальше совсем не пускают.

Фома сообщил, что послезавтра будет «чистое светопреставление»: «День мирного восстания», грабеж всех буржуев поголовно.

*30 апреля*

Ужасное утро! Пошел к Шпитальникову (Тальникову, критику), он в двух штанах, в двух рубашках, говорит, что «день мирного восстания» уже начался, грабеж уже идет; боится, что отнимут вторую пару штанов.

Вышли вместе. По Дерibasовской несется отряд всадников, среди них автомобиль, с во-ем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили Овсянико-Куликовского. Говорит: «Душу раздирающие слухи, всю ночь шли расстрелы, сейчас грабят».

Три часа. Опять ходил в город: «день мирного восстания» внезапно отменен. Будто бы рабочие восстали. Начали было грабить и их,

а у них у самих куча награбленного. Встречали выстрелами, кипятком, камнями.

Ужасная гроза, град, ливень, отстаивался под воротами. С ревом неслись грузовики, полные товарищей с винтовками. Под ворота вошли два солдата. Один большой, гнутый, картуз на затылок, лопает колбасу, отрывая куски прямо зубами, а левой рукой похлопывает себя ниже живота:

— Вот она, моя коммуна-то! Я так прямо и сказал ему: не кричите, ваше иерусалимское благородие, она у меня под пузом висит...

*1 мая*

Очень встревожены, и не только в Одессе, но и в Киеве, и в самой Москве. Дошло дело даже до воззвания «Чрезвычайного уполномоченного совета обороны Л. Каменева: Всем, всем, всем! Еще одно усилие, и рабоче-крестьянская власть завоюет мир. В этот момент предатель Григорьев хочет всадить рабоче-крестьянской власти нож в спину...»

Приходил «комиссар» дома проверять, сколько мне лет, всех буржуев хотят гнать в «тыловое ополчение».

Весь день холодный дождь. Вечером зашел к С. Юшкевичу: устраивает при каком-то «военном отделе» театр для товарищей, и он, боясь входить единолично в совет этого театра, втягивает в него и меня. Сумасшедший! Возвращался под дождем, по темному и мрачному городу. Кое-где девки, мальчишки красноармейцы, хохот, щелканье орехов...

*2 мая*

Еврейский погром на Большом Фонтане, учиненный одесскими красноармейцами.

Были Овсяннико-Куликовский и писатель Кипшен. Рассказывали подробности. На Б. Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли — шла настоящая охота. Кипшен спасся случайно — ночевал, по счастью, не дома, а в санатории «Белый цветок». На рассвете туда нагрянул отряд красноармейцев. — «Есть тут жида?» — спрашивают у сторожа. — «Нет, нету». — «Побожись!» — Сторож побожился, и

красноармейцы поехали дальше.

Убит Моисей Гутман, биндюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек.

Был возле Думы. Очень холодно, серо, пустое море, мертвый порт, далеко на рейде французский миноносец, очень маленький на вид, какой-то жалкий в своем одиночестве, в своей нелепости, — черт знает, зачем французы шатаются сюда, чего выжидают, что затевают? Возле пушки кучка народа, одни возмущались «днем мирного восстания», другие горячо, нагло поучали и распекали их.

Шел и думал, вернее, чувствовал: если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно — опротивел человек! Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза — как мало они видели, даже мои!

Сейчас на дворе ночь, темь, льет дождь, нигде ни души. Вся Херсонщина в осадном положении, выходить, как стемнеет, не смеем. Пишу, сидя как будто в каком-то сказочном

подземелье: вся комната дрожит сумраком и вонючей копотью ночника. А на столе новое воззвание: «Товарищи, образумьтесь! Мы несем вам истинный свет социализма! Покиньте пьяные банды, окончательно победите паразитов! Бросьте душителя народных масс, бывшего акцизного чиновника Григорьева! Он страдает запоем и имеет дом в Елизаветграде!»

*3 мая*

Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки — и никак не можешь. Особенно ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни.

Резолюция полка имени какого-то Старостина:

«Заявляем, что все как один пойдем в бой против нового некоронованного палача Григорьева, который снова желает, подобно пауку, сосать для пьянства и разгула все наши силы!»

Арестован одесский комитет «Русского народно-государственного союза» (16 человек,

среди них какой-то профессор) и вчера ночью весь расстрелян, «ввиду явной активной деятельности, угрожающей мирному спокойствию населения».

О спокойствии населения, видите ли, заботятся!

Были у Варшавских. Возвращались по темному городу; в улицах, полных сумраком, не так, как днем или при свете, а гораздо явственнее сыплется стук шагов.

*4 мая*

Погода улучшается. Двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко белеющей за ней стеной дома, испещренной пятнами тени. Въехал во двор красноармеец, привязал к дереву своего жеребца, черного, с волнистым хвостом до земли, с полосами блеска на крупе, на плечах, стало — еще лучше. Евгений играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно!

Были у В. А. Розенберга. Служит в кооперативе, живет в одной комнате вместе с женой; пили жидкий чай с мелким сорным изюмом, при жалкой лампочке... Вот тебе и редактор,

хозяин «Русских Ведомостей»! Со страстью говорил «об ужасах царской цензуры».

5 мая

Видел себя во сне в море, бледно-молочной, голубой ночью, видел бледно-розовые огни какого-то парохода и говорил себе, что надо запомнить, что они бледно-розовые. К чему теперь все это?

Аншлаг «Голоса Красноармейца»:

«Смерть погромщикам! Враги народа хотят потопить революцию в еврейской крови, хотят, чтобы господа жили в писаных хоромах, а мужики в хлеву, на гнойниках с коровами, гнули свои спинушки для дармоедов-лежебоков...»

Во дворе у нас женится милиционер. Венчаться поехал в карете. Для пира привезли 40 бутылок вина, а вино еще месяца два тому назад стоило за бутылку рублей 25. Сколько же оно стоит теперь, когда оно запрещено и его можно доставить только тайком?

Статья Подвойского в киевских «Известиях»: «Если черным шакалам, слетевшимся в Румынии, удастся выполнить свои замыслы,

то решится судьба мировой революции... Черная банда негодяев... Хищные когти румынского короля и помещиков...» Затем призыв Раковского, где между прочим есть такое место: «К сожалению, украинская деревня осталась такой же, какой ее описывал Гоголь — невежественной, антисемитской, безграмотной... Среди комиссаров взяточничество, поборы, пьянство, нарушение на каждом шагу всех основ права... Советские работники выигрывают и проигрывают в карты тысячи, пьянством поддерживают винокурение...»

А вот новое произведение Горького, его речь, сказанная им на днях в Москве на съезде Третьего Интернационала. Заглавие: «День великой лжи». Содержание:

— Вчера был день великой лжи. Последний день ее власти.

— Издревле, точно пауки, люди заботливо плели крепкую паутину осторожной мещанской жизни, все более пропитывая ее ложью и жадностью. Незыблемой истиной считалась циничная ложь: человек должен питаться плотью и кровью ближнего.

— И вот вчера дошли по этому пути до

безумия общеевропейской войны, кошмарное зарево ее сразу осветило всю безобразную наготу древней лжи.

— Силою взрыва терпения народов изгнившая жизнь разрушена, и ее уже нельзя восстановить в старых формах.

— Слишком светел день сегодня, и оттого так густы тени!

— Сегодня началась великая работа освобождения людей из крепкой, железной паутины прошлого, работа страшная и трудная, как родовые муки...

— Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой русские люди. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они идут к победе или на смерть пламенно и мужественно, как старые, привычные бойцы.

— То, что творится сейчас на Руси, должно быть понято как гигантская попытка претворить в жизнь, в дело великие идеи и слова, сказанные учителями человечества, мудрецами Европы.

— И если честные русские революционеры, окруженные врагами, измученные голо-

дом, будут побеждены, то последствия этого страшного несчастья тяжело лягут на плечи всех революционеров Европы, всего ее рабочего класса.

— Но честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать — русский рабочий верит, что его братья в Европе не дадут задуть Россию, не позволят воскреснуть всему, что издыхает, исчезает — и исчезнет!

А вот вырезка из горьковской «Новой Жизни» от 6 февраля прошлого года:

«Перед нами компания авантюристов, которые, ради собственных интересов, ради промедления еще нескольких недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов социализма, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых!»

Только тем и живем, что тайком собираем и передаем друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице, у Т. Щепкиной-Куперник. Туда прино-

сят сообщения, получаемые Бупом (бюро украинской печати). Вчера в Бупе будто бы была зашифрованная телеграмма: Петербург взят англичанами. Григорьев окружает Одессу, издал Универсал, которым признает советы, но такие, чтобы «те, что распяли Христа, давали не более четырех процентов». Сообщение с Киевом будто бы совершенно прервано, так как мужики, тысячами идущие за лозунгами Григорьева, на десятки верст разрушают железную дорогу.

Плохо верю в их «идейность». Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как «борьба народа с большевиками» и ставиться на один уровень с добровольчеством. Ужасно. Конечно, коммунизм, социализм для мужиков как для коровы седло, приводит их в бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в «воровском шатании», столь излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращенных людей. Чуть не десять лет тому назад поставил я эпитафией к своим

расскажем о народе, о его душе слова Ив. Аксакова: «Не прошла еще древняя Русь!» Правильно поставил. Ключевский отмечает чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастью, на эту повторяемость никто и ухом не вел. «Освободительное движение» творилось с легкомыслием изумительным, с нетерпением, обязательным оптимизмом, коему оттенки полагались разные: для «борцов» и реалистической народнической литературы один, для прочих — другой, с некоей мистикой. И все «надевали лавровые венки на вшивые головы», по выражению Достоевского. И тысячу раз прав был Герцен:

— «Мы глубоко распались с существующим... Мы блажим, не хотим знать действительности, мы постоянно раздражаем себя мечтами... Мы терпим наказание людей, выходящих из современности страны... Беда наша в расторжении жизни теоретической и практической...»

Впрочем, многим было (и есть) просто невыгодно не распадаться с существующим. И «молодежь», и «вшивые головы» нужны были как пушечное мясо. Кадили молодежи,

благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и «шаток». Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: «Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм!» И вывеска эта еще долго будет висеть — пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простодушно:

*За народ, народ, народ,  
За святой девиз вперед!*

Конечно, большинство выводило басами довольно бессмысленно:

*И утес великан  
Все, что думал Степан,  
Все тому смельчаку перескажет...*

«Ведь что ж было? — говорит Достоев-

ский. — Была самая невинная, милая либеральная болтовня. Нас пленил не социализм, а чувствительная сторона социализма...» Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы и некоторые, весьма для него удобные, свойства русского народа. И Степану цену знал.

— «Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебание, шаткость... И вот они опять возникли в огромном размере... Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло... Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев...»

Это — из Соловьева, о Смутном времени. А вот из Костомарова, о Стеньке Разине:

— «Народ пошел за Стенькой, обманываемый, разжигаемый, многого не понимая тол-

ком... Были посулы, привады, а уж возле них всегда капкан... Поднялись все азиатцы, все язычество, зыряне, мордва, чуваша, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались, сами не зная за что... Шли „прелестные письма“ Стеньки — „иду на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство...“. Дозволен был полный грабеж... Стенька, его присные, его воинство были пьяны от вина и крови... возненавидели законы, общество, религию, все, что стесняло личные побуждения... дышали местью и завистью... составились из беглых воров, лентяев... Всея этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю, а на деле забрал в кабалу, в полное рабство, малейшее ослушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним...»

Не верится, чтобы Ленины не знали и не учитывали всего этого!

«Красноармейская звезда»: «Величайший из мошенников и блюдолизов буржуазии, Вильсон требует наступления на север России. Наш ответ: Лапы прочь! Как один чело-

век, все мы пойдем доказывать изумленному миру... Только лакеи душой останутся за бортом нашего якоря спасения...»

Радостные слухи — Николаев взят, Григорьев близко...

8 мая

В «Одесском Коммунисте» целая поэма о Григорьеве:

*Ночь. Устав, пан Гетман спит.  
Спит и — видит «скверный» сон:  
Перед ним с ружьем стоит  
Пролетарий. Грозен он!  
Жутко... Взгляд его горит.  
И, немного погодя,  
Пролетарий говорит,  
В ужас «пана» приводя:  
— Знай, изменник и подлец,  
Руки вздумавший нагреть,  
Желтый гетманский венец  
Я не дам тебе надеть!*

Ходил бриться, стоял от дождя под навесом на Екатерининской. Рядом со мной стоял и ел редьку один из тех, кто «крепко держит в мозолистых руках красное знамя всемирной коммунистической революции», мужик из-

под Одессы, и жаловался, что хлеба хороши, да сеяли мало, боялись большевиков: придут, сволочь, и заберут! Это «придут, сволочь, и заберут» он повторил раз двадцать. В конце Елизаветинской — человек сто солдат, выстроенных на панели, с ружьями, с пулеметами. Повернул на Херсонскую — там, на углу Преображенской, то же самое... В городе слухи: «Произошел переворот!» Просто тошнит от этой бесконечной брехни.

После обеда гуляли. Одесса надоела невыразимо, тоска просто пожирает меня. И никакими силами и никуда не выскочишь отсюда! По горизонтам стояли мрачные синие тучи. Из окон прекрасного дома возле чрезвычайки, против Екатерины, неслась какая-то дикая музыка, пляска, раздавался отчаянный крик пляшущего, которого точно резали: а-а! — крик пьяного дикаря. И все дома вокруг горят электричеством, все заняты.

Вечер. И свету не смей зажигать, и выходить не смей! Ах, как ужасны эти вечера!

Из «Одесского Коммуниста»:

«Очаковский гарнизон, приняв во внимание, что контрреволюция не спит, в связи с

выступлением зазнавшегося пьяницы Григорьева, подняла свою голову до полного обнажения, пускает яд в сердце крестьянина и рабочего, натравливает нацию на нацию, а именно: пьяница Григорьев провозгласил лозунг: „Бей жидов, спасай Украину“, что несет страшный вред Красной Армии и гибель социальной Революции! А посему мы постановили: послать проклятие пьянице Григорьеву и его друзьям-националистам!»

И далее: «Обсудив вопрос о заключенных белогвардейцах, требуем немедленного расстрела таковых, ибо они продолжают проделывать свои темные делишки, проливают напрасно кровь, и так много пролито, благодаря капиталистам и их прихвостням!»

Рядом с этим стихи:

*Коммунист рабочий  
Знает сила в чем:  
В нем любовь к работе  
Бьет живым ключом...  
Он не знает наций,  
Хлещет черных сук.  
Для организаций  
Отдает досуг!*

6 мая

Иоанн, тамбовский мужик Иван, затворник и святой, живший так недавно, — в прошлом столетии, — молясь на икону Святителя Дмитрия Ростовского, славного и великого епископа, говорил ему:

— Митюшка, милый!

Был же Иоанн ростом высок и сутуловат, лицом смугл, со сквозной бородой, с длинными и редкими черными волосами. Сочинял простодушно-нежные стихи:

*Где пришел еси, молитву сотвори,  
Без нее дверей не отвори.  
Аще не видишь в дверях ключа,  
Воротись, друг мой, скорей, не стуча...*

Куда девалось все это, что со всем этим стало?

«Святейшее из званий», звание «человек», опозорено, как никогда. Опозорен и русский человек — и что бы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось «ледяных походов»! Уж на что страшна старая русская летопись: непрерывная крамола, ненасыт-

ное честолюбие, лютая «хотя» власти, обман-  
ные целования креста, бегство в Литву, в  
Крым «для подъема поганых на свой же соб-  
ственный отчий дом», рабские послания друг  
к другу («бью тебе челом до земли, верный хо-  
лоп твой») с единственной целью одурачить,  
провести, злые и бесстыдные укоры от брата  
к брату... *И все-таки иные, совсем не нынеш-  
ние слова:*

— «Срам и позор тебе; хочешь оставить  
благословение отца своего, гробы родитель-  
ские, святое отечество, правую веру в Господа  
нашего Иисуса Христа!»

*9 мая*

Ночью тревожные сны с какими-то поезда-  
ми и морями и очень красивыми пейзажами,  
оставляющими, однако, впечатление болез-  
ненное и печальное, — и напряженное ожи-  
дание чего-то. Потом огромная говорящая ло-  
шадь. Она говорила что-то похожее на мои  
стихи о Святогоре и Илье на каком-то древ-  
нем языке, и все это стало так страшно, что я  
проснулся и долго мысленно твердил эти сти-  
хи:

На гривастых конях на косма-  
тых,  
На золотых стремянах, на разла-  
тых,  
Едут братья, меньшей и стар-  
шой,  
Едут сутки, и двое и трое,  
Видят в поле корыто простое,  
Наезжают — ан гроб, да большой:  
Гроб глубокий, из дуба долблен-  
ный,  
С черной крышей тяжелой, том-  
ленной,  
Вот и сдвинул ее Святогор,  
Лег, надвинул и шутит: «А впору!  
Помоги-ка, Илья, Святогору  
Снова выйти на Божий простор!»  
Обнял крышу Илья, усмехнулся,  
Во всю грузную печень надулся,  
Двинул срыву... Да нет, погоди!  
«Ты мечом», — слышен голос из  
гроба, —  
Он за меч, — разгорается злоба,  
Занимается сердце в груди, —  
Нет, и меч не берет! С виду ру-  
бит,  
Да не делает дела, а губит:  
Где ударит — там обруч готов,

*Нарастает железная скрепа:  
Не подняться из гробного склепа  
Святогору во веки веков!*

Это записано мной в 16-м году.

Лезли мы в наше гробное корыто весело,  
пошучивая...

В газетах опять: «Смерть пьянице Григорьеву! — и дальше гораздо серьезнее: *Не время словам!* Речь теперь идет уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уже о самых элементарных завоеваниях Октября... Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но, с другой стороны, стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей...»

Напечатан новый список расстрелянных — «*в порядке проведения в жизнь красного террора*» — и затем статейка:

«Весело и радостно в клубе имени товарища Троцкого. Большой зал бывшего Гарнизонного Собрания, где раньше ютилась свора генералов, сейчас переполнен красноармей-

цами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был „Интернационал“, затем товарищ Кронкарди, *вызывая интерес и удовольствие слушателей*, подражал лаю собаки, *визгу цыпленка*, пению соловья и других животных, *вплоть до пресловутой свиньи...*»

«Визг» цыпленка и «пение соловья и прочих животных» — *которые*, оказывается, тоже все «вплоть» до свиньи *поют*, — этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья «пресловутая» и перед подражанием ей исполняют «Интернационал»?

Конечно, вполне «заборная литература». Но ведь этим «забором», таким свинским и интернациональным, делается чуть ли не вся Россия, чуть ли не вся русская жизнь, чуть не все русское слово, и возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом — ведь эта заборная литература есть кровная родня чуть не всей «новой» русской литературе. Ведь уже давно стали печататься — и не где-нибудь, а в «толстых» журналах — такие, например, вещи:

*Уж все цветы в саду поспели...*

*Тот лен, из какого веревку спле-  
ли...*

*Иду и колосья пшена разбираю...*

*Вы об этой женщине не тужьте...*

*А в этот час не хорошо везде ль?*

*Царевну не надо в покои пу-  
стить...*

*Я б описал, но хватит слов ли?*

Распад, разрушение слова, его сокровенно-го смысла, звука и веса идет в литературе уже давно.

— Вы домой? — говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице.

Он отвечает:

— Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чует:

— А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверен-

ных наглецов, мнящих себя страшными зна-токами слова! Сколько поклонников старинного («ядренного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью!

Последнее (после всех интернациональных «исканий», то есть каких-то *младотурецких* подражаний всем западным образцам) начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, «слова золотые» и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно! Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есениными, даже и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о «свечечках» и «речечках» или прикидывавшихся «разудалыми головушками»!

Язык ломается, болеет и в народе. Спраши-

ваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает:

— Как чем? Да ничем, ест что попало: *она у меня собака съедобная.*

Все это всегда бывало, и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолет ли теперь?

10 мая

*«Колчак потерял Белебей и засекает крестьян насмерть... С Колчаком едет Михаил Романов... едет на старой тройке: самодержавие, православие, народность... несет еврейские погромы, водку... Колчак поступил на службу к международным хищникам... чтобы под хладнокровной, раскормленной рукой Ллойд-Джорджа билась в судорогах истощенная страна... Колчак ждет, когда сумеет пить кровь рабочих...»*

Рядом брань и угрозы по адресу левых эсеров: «Эти писаки зарываются и порой пускаются в пляску... мажут свою физиономию, но на физиономии, как они ни чистятся, все же есть кулацкие веснушки...»

Помимо крестьян, «засекаемых» Колчаком,

страшно беспокоятся и о немцах: «Гнусная комедия в Версале закончена, но даже шейдемановцы заявляют, что условия союзных живодеров, буржуазных акул, совершенно неприемлемы...»

Ходили на Гимназическую. Почти всю дорогу дождь, весенний, прелестный, с чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записывая, еще больше растравляю себе сердце.

И опять слухи — теперь уже о десяти транспортах с «цветочными» (то есть, говоря по-русски, цветными) войсками, будто бы идущими выручать нас.

О Подвойском, от человека, близко знающего его: «Тупой бурсак, свиные глазки, длинный нос, маньяк дисциплины...»

*11 мая*

Призывы в чисто русском духе:

— Вперед, родные, *не считайте трупы!*

Из вестей о «разгроме» Григорьева можно убедиться только в одном — что григорьевщиной охвачена почти вся Малороссия.

Вчера говорили, что в Одессу приехал «сам» Троцкий. Но оказывается, он в Киеве. «Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины... Вождь произнес длинную речь от имени народных миллионов в дни, когда *разбит позвоночник буржуазной уверенности*, когда мы слышим в ее голосе трещину... Говорил к народу с балкона...»

Как раз читаю Ленотра. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон... Ленин, Троцкий, Дзержинский... Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были не плохи.

Кутон, говорит Ленотр, Кутон-диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, лионский Атилла, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных людей, «страстный друг *Народа и Добродетели*», был, как известно, калека колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается, довольно постыдно. Он проводил ночь у своей любовницы, муж которой отсутствовал. Все шло прекрасно, как вдруг стук, шаги возвращающегося мужа. Кутон вскочил с постели, прыгнул в

окно во двор и угодил в выгребную яму. Просидев там до рассвета, он навсегда лишился ног — отнялись на всю жизнь.

Говорят, в Николаеве идет еврейский погром. Очевидно, далеко не всех крестьян Украины «окрылило прибытие вождя».

Однако тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что «не дело большевиков распинать Христа, который, будучи Спаситель, восстал на богачей»? Теперь уже иные песни. Вот несколько строк из «Одесского Коммуниста»:

«Слюни такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и соответственную волшебную силу. Многие, однако, не признавая чудес Христа, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что „истины“ Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но, в сущности говоря, и это совершенно неверно и объясняется только незнанием истории и недостаточной глубиной развития».

*12 мая*

Опять флаги, шествия, опять праздник — «день солидарности пролетариата с красной армией». Много пьяных солдат, матросов, босяков...

Мимо нас несут покойника (не большевика). «Блаженни, иже избрал и приял еси, Господи...» Истинно так. Блаженны мертвые.

Говорят, Троцкий таки приехал. «Встречали, как царя».

*14 мая*

«Колчак с Михаилом Романовым несет водку и погромы...» А вот в Николаеве Колчака нет, в Елизаветграде тоже, а меж тем: «В Николаеве зверский еврейский погром... Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавчонки и даже буфетки снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться!»

И дальше:

«Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Ананьев, — убитых свыше ста, магазины разграблены...»

«В Жмеринке идет еврейский погром, как и был погром в Знаменке...»

Это называется, по Блокам, «народ объят музыкой революции — слушайте, слушайте музыку революции!»

### *Ночь на 15 мая*

Пересматривая свой «портфель», изорвал порядочно стихов, несколько начатых рассказов и теперь жалею. Все от горя, безнадежности (хотя и раньше случалось со мной это не раз). Прятал разные заметки о 17 и 18-х годах.

Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег! Миллионы русских людей прошли через это растление, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов! И все наше время станет сказкою, легендой...

Лето 17-го года. Сумерки, на улице возле избы кучка мужиков. Речь идет о «бабушке русской революции». Хозяин избы размерен-

но рассказывает: «Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь Бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, — я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на чеши держали, а умерить не могли, ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли: *в остроге, и то ухитрилась миллион нажать!* Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, года вышли...»

Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, «краса и гордость русской революции», как оказывается потом, дерзко вмешивается:

— У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!

Мужик возражает спокойно и твердо:

— А ты, хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, ты возле моей избы без порток бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя дев-

кам проходу нет, среди белого дня под подол лезешь? Погоди, погоди, брат, — вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные денжонки, опять в пастухи запрошишься! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь!

(Жучков — это Гучков).

Сергей Климов ни к селу ни к городу прибавляет:

— Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно *разнообразие...*

Девки визжат на выгоне:

*Люби белых, кудреватых,  
При серебряных часах...*

Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой:

*Мы ребята, ежики,  
В голенищах ножики,  
Любим выпить, закусить,  
В пьяном виде пофорсить...*

Думаю: «Нет, большевики-то поумнее будут господ Временного Правительства! Они недаром все наглеют и наглеют. Они знают

свою публику».

На деревне возле избы сидит солдат-дезертир, курит и напевает:

— Ночь темна, как две минуты...

Что за чушь? Что это значит — как две минуты?

— А как же? Я верно пою: как две минуты. Здесь делается ударение.

Сосед говорит:

— Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение!

— А мне один черт — под немца, так под немца!

В саду возле шалаша целое собрание. Карульщик, мужик бывалый и изысканно красноречивый, передает слух, будто где-то возле Волги упала из облаков кобыла в двадцать верст длиною. Обращаясь ко мне:

— *Вириятно, эрунда, барин?*

Его приятель с упоением рассказывает свое «революционное» прошлое. Он в 1906 году сидел в остроге за кражу со взломом — и это его лучшее воспоминание, он об этом рассказывает постоянно, потому что в остроге

было:

— Веселей всякой свадьбы и харчи отличные!

Он рассказывает:

— В тюрьме обнаковенно на верхнем этаже сидят политики, а во втором — помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют, мы жертвою пали...

— Одного из политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача, но потом ему пришло помилование и к политикам приехал главный губернатор, третье лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал — и давай гулять с политиками: налопался, послал урядника за граммофоном — и пошел у них ход: губернатор так напился, нажрался — нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок... Обещшал прислать всем по 20 коп. денег, по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрежал...

15 мая

Хожу, прислушиваюсь на улицах, в подворотнях, на базаре. Все дышит тяжелой злобой к «коммунии» и к евреям. А самые злые юдофобы среди рабочих в Ропите. Но какие подлещи! Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И три четверти народа так: за подачки, за разрешение на разбой, грабеж отдает совесть, душу, Бога...

Шел через базар — вонь, грязь, нищета, хохлы и хохлушки чуть не десятого столетия, худые волы, допотопные телеги — и среди всего этого афиши, призывы на бой за третий интернационал. Конечно, чепухи всего этого не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков. Сами порой небось покатываются от хохота.

Из «Одесского Коммуниста»:

*Зарежем штыками мы алчную  
гидру,  
Тогда заживем веселей!  
Если не так, то всплывут они  
скоро,  
Оживут во мгновение ока,  
Как паразит, начнет эта свора*

## *Жить на счет нашего сока...*

Грабят аптеки: «национализированы и учитываются». Не дай Бог захворать!

И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю «Пир» Платона, поглядывая иногда вокруг себя недоумевающими и, конечно, тоже сумасшедшими глазами...

Вспомнил почему-то князя Кропоткина (знаменитого анархиста). Был у него в Москве. Совершенно очаровательный старичок высшего света — и вполне младенец, даже жутко.

Костюшко называли «защитником всех свобод». Это замечательно. Специалист, профессионал. Страшный тип.

*16 мая*

Большевистские дела на Дону и за Волгой, сколько можно понять, плохи. Помогите нам, Господи!

Прочитал биографию поэта Полежаева и очень взволновался — и больно, и грустно, и сладко (не по поводу Полежаева, конечно). Да, я последний, чувствующий это прошлое, вре-

мя наших отцов и дедов...

Прошел дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце, птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей, воспоминаний о том, что, верно, уже во веки не вернется... Вспомнил лесок Поганое — глушь, березняк, трава и цветы по пояс — и как бежал однажды над ним вот такой же дождик, и я дышал этой березовой и полевой, хлебной сладостью и всей, всей прелестью России...

Николая Филипповича выгнали из его имения (под Одессой). Недавно стали его гнать и с его одесской квартиры. Пошел в церковь, горячо молился — был день его Ангела, — потом к большевикам, насчет квартиры — и там внезапно умер. Разрешили похоронить в имении. Все-таки лег на вечный покой в своем родном саду, среди всех своих близких. Пройдет сто лет — и почувствует ли хоть кто-нибудь тогда возле этой могилы его время? Нет, никто и никогда. И мое тоже. Да мне-то и не лежать со своими...

«Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве...» Какое было дело како-

му-то Попову до Полежаева? Все из жажды очернить Николая I.

Усмирение мюридов, Кази-Муллы. Дед Кази был беглый русский солдат. Сам Кази был среднего роста, по лицу рябинки, борода редкая, глаза светлые, пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла. Торговал водкой, потом объявил себя пророком, поднял священную войну... Сколько бунтарей, вождей именно из таких!

*17 мая*

Белыми будто бы взят Псков, Полоцк, Двинск, Витебск... Деникин будто бы взял Изюм, гонит большевиков нещадно... Что, если правда?

Дезертирство у большевиков ужасное. В Москве пришлось даже завести «центркомдезертир».

*21 мая*

В Одессу прибыл Иоффе, — «чтобы заявить Антанте, что мы будем апеллировать к пролетариату всех стран... чтобы пригвоздить Антанту к позорному столбу...»

Насчет чего апеллировать?

Слышал об Иоффе:

— Это большой барин, большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин. Богатый человек — паровая мельница в Симферополе и автомобили Иоффе — Рабинович. Очень честолюбивый — через каждые пять минут: «когда я был послом в Берлине...». Красавец, типичный знаменитый женский врач...

Рассказчик втайне восхищался.

23 мая

В «Одесском Набате» просьба к знающим — сообщить об участии пропавших товарищей: Вали Злого, Миши Мрачного, Фурманчика и Муравчика... Потом некролог какого-то Яшеньки:

— «И ты погиб, умер, прекрасный Яшенька... как пышный цветок, только что пустивший свои лепестки... как зимний луч солнца... возмущавшийся малейшей несправедливостью, восставший против угнетения, насилия, стал жертвой дикой орды, разрушающей все, что есть ценного в человечестве... Спи спокойно, Яшенька, мы отомстим за тебя!»

Какой орды? За что и кому мстить? Там же сказано, что Яшенька — жертва «*всемирного бича, венеризма*».

На Дерибасовской новые картинки «Агитпросвета» на стенах: матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными буркалами — буржуя; подпись: «ты давил нас *толстой пузой*»; огромный мужик взмахнул дубиной, а над ним взвила окровавленные, зубастые головы гидра; головы все в коронах; больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, в сбитой набок короне голова Николая II; из-под короны течет полосами по щекам кровь... А коллегия при «Агитпросвете» — там служит уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусства, — «заседает, конструируется, кооптирует новых членов» — Осиповича, профессора Варнеке, — берет пайки хлебом с плесенью, тухлыми селедками, гнилыми картошками...

24 мая

Выходил, дождя нет, тепло, но без солнца,

мягкая и пышная зелень деревьев, радостная, праздничная. На столбах огромные афиши:

«В зале Пролеткульта грандиозный абитур-бал. После спектакля призы: за маленькую ножку, за самые красивые глаза. Киоски в стиле модерн в пользу безработных спекулянтов, *губки и ножки целовать в закрытом киоске*, красный кабачок, *шалости электричества*, котильон, серпантин, два оркестра военной музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в шесть часов утра по старому времени. Хозяйка вечера — супруга командующего третьей советской армией, Клавдия Яковлевна Худякова».

Списал слово в слово. Воображаю эти «маленькие ножки» и что будут проделывать «товарищи», когда будет «шалить» электричество.

Разбираю и частью рву бумаги, вырезки из старых газет. Очень милые *стишки по моему адресу* в «Южном рабочем» (меньшевистская газета, издававшаяся до прихода большевиков):

*Испуган ты и с похвалой сумбурной*

*Согнулся вдруг холопски пред ва-  
рягом...*

Это по поводу моих стихов, напечатанных в «Одесском Листке» в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов.

Какими националистами, патриотами становятся эти интернационалисты, когда это им надобно! И с каким высокомерием глумятся они над «испуганными интеллигентами», — точно решительно нет никаких причин пугаться, — или над «испуганными обывателями», точно у них есть какие-то великие преимущества перед «обывателями». Да и кто, собственно, эти обыватели, «благополучные мещане»? И о ком, и о чем заботятся вообще революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие?

Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома — сколько откроется темного, греховного, несправедливого,

какую ужасную картину можно нарисовать, и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку!

Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись! А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали *истинно мировой жупел*. Что открыли? Изумительно: *ровно ничего!*

25 мая

«Прибытие в Одессу товарища Балабановой, секретаря III интернационала».

Чьи-то похороны с музыкой и со знаменами: «За смерть одного революционера тысяча смертей буржуев!»

26 мая

«Союз пекарей извещает о трагической смерти стойкого борца за царство социализма пекаря Матьяша...»

Некрологи, статьи:

«Ушел еще один... Не стало Матьяша...»

Стойкий, сильный, светлый... У гроба — знамена всех секций пекарей... Гроб утопает в цветах... День и ночь у гроба почетный караул...»

Достоевский говорит:

«Дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества, прежде чем будет завершено...»

Теперь эти строки кажутся уже слабыми.

27 мая

Духов день. Тяжелое путешествие в Сергиевское училище, почти всю дорогу под дождевой мглой, в разбитых промокающих ботинках. Слабы и от недоедания — шли медленно, почти два часа. И, конечно, как я и ожидал, того, кого нам было надо видеть, — приехавшего из Москвы, — не застали дома. И такой же тяжкий путь назад. Мертвый вокзал с перебитыми стеклами, рельсы уже рыжие от ржавчины, огромный грязный пустырь возле вокзала, где народ, визг, гогот, качели и карусели... И все время страх, что кто-нибудь оста-

новит, даст по физиономии или облапит Веру. Шел, стиснув зубы, с твердым намерением, если это случится, схватить камень поувесистей и ахнуть по товарищескому черепу. Тащи потом куда хочешь!

Вернулись домой в три. Новости: «Уходят! Английский ультиматум — очистить город!»

Был Н. П. Кондаков. Говорил о той злобе, которой полон к нам народ и которую «сами же мы внедряли в него сто лет». Потом Овсяннико-Куликовский. Азарт слухов: «Реквизируют сундуки, чемоданы, корзины, — бегут... Сообщение с Киевом прервано... Взят Проскуров, Жмеринка, Славянск...» Но кем взят? Этого никто не знает.

Выкурил чуть ли не сто папирос, голова горит, руки ледяные.

### *Ночью*

Да, образовано уже давным-давно некое всемирное бюро по устройению человеческого счастья, «новой, прекрасной жизни». Оно работает всюду, принимает заказы на все, буквально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы, преда-

тели, растлители враждебной вам армии? Пожалуйте, — мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно «провоцировать» что-нибудь? Сделайте милость, — более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдете... И так далее, и так далее.

Какая чепуха! Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара, и какой частью? поистине сказочно богатой и *со сказочной быстротой процветавшей!* — и вот этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение — это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках!

28 мая

Часто недосыпаю, рано проснулся и нынче. С самого утра стали мучить слухи. Их было столько, что все в голове спуталось. У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение. Перед вечером выпуск «Известий»: «Мы отдали Проскуров, Каменец, Славянск. Финны перешли границу, стреляют без причины по Кронштадту... Чичерин протесту-

ет...» Домбровский арестован, ночью разоружали его части, и была стрельба.

Домбровский — комендант Одессы. Бывший актер, содержал в Москве «Театр Миниатюр». У него были именины, пир шел горой. Было много гостей из чрезвычайки. Спьяну затеяли скандал, шла стрельба, драка.

29 мая

Комендантом Одессы вместо арестованного Домбровского назначен студент Мизикевич. Затем: «В Румынии восстание... вся Турция охвачена революцией... *Революция в Индии ширится...*»

В полдень ходил стричься. Два мрачных товарища «приглашали» хозяйку взять билеты (по 75 р. за билет) на какой-то концерт с такой скотской грубостью, так зычно и повелительно, что даже я, уж кажется, ко всему привыкший, был поражен. Встретил Луи Ивановича (знакового моряка): «Завтра в 12 истекает срок ультиматума. Одесса будет взята французами». Глупо, но шел домой как пьяный.

31 мая

«Доблестными советскими войсками взята Уфа, несколько *тысяч пленных и двенадцать пулеметов*... Энергично преследуется панически бегущий неприятель... Мы оставили Бердянск, Чертково, бьемся южнее Царицына». В Берлине нынче хоронят Розу. Поэтому в Одессе — день траура, запрещены все зрелища, работают только утром, в «Одес<ском> Ком<мунисте>» статья: «Шапки долой!»

Десяток яиц стоит уже 35 р., масло 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят «бандиты». *Взяты на учет кладбища. «Хорониться граждане отныне могут бесплатно».* Часы переведены на час вперед — сейчас по моим *десять утра*, а «по-советски» *половина второго дня*.

Иоффе живет в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлен, возмущен, — «Одесса переусердствовала», — пожимает плечами, разводит руками, кое-что «смягчает»...

Статейка «Терновый венец»: «Поплыл по рабочим липкий и жестокий слух: „Матьяша убили!“ Гневно сжимались мозолистые руки,

и уже хрипло доносились крики: „Око за око! Мстить!“»

Оказалось, однако, что Матьяш застрелился: «Не вынес кошмара обступившей его действительности... со всех сторон обступили его бандиты, воры, грабители, грязь, насилие... Следственная комиссия установила, что он сознал трудность работы среди бандитов, воров и мошенников...» Оказалось кроме того — «легкое опьянение».

*2 июня*

Сводка — заячьи следы. Одно проступает — успехи Деникина продолжаются.

После завтрака вышли. Дождь. Зашли под ворота дома, сошлись со Шмидтом, Полевицкой, Варшавским. Полевицкая опять о том, чтобы я написал мистерию, где бы ей была «роль» Богоматери, «или вообще святой, что-нибудь вообще зовущее к христианству». Спрашиваю: «Зовущее кого? Этих зверей?» — «Да, а что же? Вот недавно сидит матрос в первом ряду, пудов двенадцать и плачет...» И крокодилы, говорю, плачут...

После обеда опять выходили. Как всегда,

камень на душе страшный. Опять эти стекло-видно-розовые, точно со дна морского, звезды в вечернем воздухе — в Красном переулке, против театра «имени Свердлова» и над входом в театр. И опять этот страшный плакат — голова Государя, мертвая, синяя, скорбная, в короне, сбитой набок мужицкой дубиной.

*3 июня*

Год тому назад приехали в Одессу. Странно подумать — год! И сколько перемен, и все к худшему. Вспоминаю теперь даже переезд из Москвы сюда как прекрасное время.

*4 июня*

Колчак признан Антантой Верховным Правителем России. В «Известиях» похабная статья: «Ты скажи им, гадина, сколько тебе дадено?»

Черт с ними. Перекрестился с радостными слезами.

*7 июня*

Был в книжном магазине Ивасенки. Библиотека его «национализирована», книги

продаются только тем, у кого есть «мандаты». И вот являются биндюжники, красноармейцы и забирают что попало: Шекспира, книгу о бетонных трубах, русское государственное право... Берут по установленной дешевой цене и надеются сбывать по дорогой.

На фронт никто не желает идти. Происходят облавы «уклоняющихся».

Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуазных домах, идут куда-то по улицам.

Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше и вида они нового, раструбы их штанов чудовищные. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками — того гляди застрелит. Поминутно видишь — два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг.

После обеда были и пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация — все на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе; все одно: как начальники «все себе в карман клали» —

дальше кармана у этих скотов фантазия не идет.

— А Перемышль генералы за *десять тысяч* продали, — говорит один: — я это дело хорошо знаю, сам там был.

Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах. Решается судьба России.

9 июня

В газетах все то же — *«Деникин хочет взять в свои лапы очаг»* — и все та же страшная тревога за немцев, за то, что им придется подписать «позорный» мир. Естественно было бы крикнуть: «Негодяи, а как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханом?» Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким.

И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро два года. Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол,

нечто дьявольское, несомненно, есть.

В Харькове «приняты чрезвычайные меры» — против чего? — и все эти меры сводятся к одному — к расстрелу «на месте». В Одессе расстреляно еще 15 человек (опубликован список). Из Одессы отправлено «два поезда с подарками защитникам Петербурга», то есть с продовольствием (а Одесса самадохнет с голоду). Нынче ночью арестовано много поляков — как заложников, из боязни, что «после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы».

Газеты делают выдержки из декларации Деникина (обещания прощения красноармейцам) и глумятся над ней: «В этом документе сочеталось все: наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача».

В первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, среди бела дня, человека с наклеенными усами и бородой.

Так ударило по глазам, что остановился как пораженный молнией.

Одно из древнейших дикарских верований:

— Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей...

Теперь это звучит не так уж архаично.

«Мечом своим будешь жить ты, Исав!»

Так живем и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав *совершенный подлец* перед прежним.

И еще одна библейская строка:

— Честь унижится, а низость возрастет... В дом разврата превратятся общественные собрания... *И лицо поколения будет собачье...*

«Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила полное человеческое бессилие... Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи к животному самоудовлетворению... Но явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твердо зажмет в своем кулаке бразды правления!»

Удивительней всего то, что эти слова — столь оправдавшиеся на Наполеоне — принадлежат Герцену.

А сам Наполеон сказал:

— Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас всех свобода!

Ленотр о Кутоне:

— Каким способом попадал Кутон в Конвент? Кутон, как известно, был калека, а между тем был одним из самых деятельных и неутомимых членов Конвента и, если не лечился на водах, не пропускал ни одного заседания. Как же, на чем являлся он в Конвент?

Сперва он жил на улице Сент-Онорэ. «Эта квартира, — писал он в октябре 1791 года, — мне очень удобна, так как она находится в двух шагах от Святилища (то есть Конвента) и я могу ходить туда на своих костылях пешком». Но вскоре ноги совсем отказались служить ему, да переменялось, кроме того, и его местожительство: он жил то в Пасси, то возле Пон-Неф. В 1794 году он наконец обосновался опять на улице Сент-Онорэ, в доме 336 (ныне 398), *в котором жил и Робеспьер*. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя носить в Конвент. Но как, на

чем? В плетушке? На спине солдата? Вопросы эти оставались без ответа целых сто лет, говорит Ленотр, — и делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту, пользуясь одним письменным рассказом, найденным среди революционных документов спустя двадцать лет после смерти Кутона. Это рассказ одного провинциала, приехавшего в Париж с целью оправдать перед Конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных, по доносу, «в снисходительности». Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая г-жи Кутон, устроила ему это свидание, «при одном воспоминании о котором он вздрагивал потом всю жизнь».

— Когда мы явились к Кутону, — рассказывает провинциал, — я, к своему удивлению, увидал господина с добрым лицом и довольно вежливого в обращении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановка которой отличалась большой изысканностью. Он, в белом халате, сидел в кресле и кормил люцерном кролика, примостившегося на его руке, а его трехлетний мальчик, хорошенький, как

амур, нежно гладил этого кролика. — «Чем могу быть полезен? — спросил меня Кутон. — Человек, которого рекомендует моя супруга, имеет право на мое внимание». И вот я, подкупленный этой идиллией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем, все более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: «Господин Кутон, вы, человек всемогущий в Комитете Общественного Спасения, ужели вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не повинным? Вот, например, нынче будут казнены шестьдесят три человека: за что?» И, Боже мой, что произошло тотчас же после моих слов! Лицо Кутона зверски исказилось, кролик полетел с его руки кувырком, ребенок с ревом кинулся к матери, а сам Кутон — к шнурку звонка, висевшего над его креслом. Еще минута — и я был бы схвачен теми шестью «агентами охраны», которые постоянно находились при квартире Кутона, но, по счастью, особа, приведшая меня, успела удержать руку Кутона, а меня вытолкать за дверь, и я в тот же день бежал из

Парижа...

Вот каков, говорит Ленотр, был Кутон в свои добрые минуты. А в Конвент он ездил, как открылось это только недавно, на самокате. В июле 1899 года в Карнавалэ явилась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон собственноручно катал себя в Конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в Карнавалэ, было распаковано — «и снова увидало парижское солнце, то же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева сто пять лет». Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве рукояток и цепи, соединенной с колесами.

Кутон был полутруп. «Он был ослаблен ваннами, питался одним телячьим бульоном, истощен был костоедом, изнурен постоянной тошнотой и икотой». Но его упорство, его энергия были неистощимы. Революционная драма шла в бешеном темпе. «Все ее актеры были столь непоседливы, что всегда представляешь их себе только в движении, вскакивающими на трибуны, мечущими молнии

гнева, носящимися из конца в конец Франции — все в жажде раздуть бурю, долженствующую истребить старый мир». И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя, сажать в кресло, «чудовищной силой воли заставлял свои скрюченные руки ложиться на двигатель, напоминающий ручку кофейной мельницы, и летел, среди тесноты и многолюдства Сент-Онорэ, в Конвент, чтобы отправлять людей на эшафот. Должно быть, жуткое это было зрелище, вид этого человеческого обломка, который несся среди толпы на своей машине-трещотке, наклонив вперед туловище с завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича: „сторонись!“ — а толпа шарахалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, который вызывало одно его имя!»

«*Стихийность*» революции:

В меньшевистской газете «Южный Рабочий», издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал

о том, как образовался знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов:

— Пришли Суханов-Гиммер и Стеклов, никем не выбранные, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого еще не существующего совета!

Гржебин во время войны затеял патриотический журнальчик «Отечество». Призвал нас на собеседование. Был между прочим Ф. Ф. Кокошкин. После собеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговорили о народе. Я не сказал ничего ужасного, сказал только, что народу уже надоела война и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, преступные враки. И вдруг он оборвал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычайной для него резкостью:

— Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались — ну, извините, слишком исключительными, что ли...

Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. Нет, подумал я, даром наше благородство нам не пройдет!

Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали руко-

плескания, им торговали. И вот рота мальчишек из всякой науськанной и не желавшей идти на фронт сволочи явилась к Думе — и мы, «доверием и державной волей народа облеченные», закричали на весь мир, что совершилась великая российская революция, что народ теперь голову сложит за нас и за всяческие свободы, а главное, уж теперь-то пойдет как следует сокрушать немцев до победного конца. И вдобавок ко всему к этому в несколько дней разогнали по всей России всю и всяческую власть...

Весна семнадцатого года. Ресторан «Прага», музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует, чтобы играли «Ойру».

Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, обнимает и жадно целует его, бешено впивается ему в губы.

Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо:

*Эх, распошел,  
Ты мой серый конь, пошел!*

И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване.

*10 июня*

Журналисты из «Русс<кого> Слова» бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб восемь гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага.

Встретил на улице С. И. Варшавского. Говорит, что в «Бупе» вывешена ликующая телеграмма: «Немцы позорного мира не подпишут!»

Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет.

В Киеве «проведение в жизнь красного террора» продолжается: убито между прочим еще несколько профессоров, среди них знаменитый диагност Яновский.

Вчера было «экстренное» — всегда «экстренное»! — заседание Исполкома. Фельдман понес обычное: «Мировая революция грядет, товарищи!» Кто-то в ответ ему крикнул: «До-

вольно, надоело! Хлеба!» — «Ах, вот как! — завопил Фельдман. — Кто это крикнул?» Крикнувший смело вскочил: «Я крикнул!» — и был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил «употреблять буржуев вместо лошадей, для перевозки тяжестей». Это встретили бурными аплодисментами.

Говорят, что нами взят Белгород.

Какая гнусность! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой, — «граждане» с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить на счет воды. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь — все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных и не только не потучнели, а сами околевают!

Теперь в деревне матери так пугают детей: — Цыц! А то виддам в Одессу в коммунию!

Передают нагло-скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким:

— Я был бы опечален, если бы мне сказа-

ли, что я плохой полководец, я отвечаю: я учусь и буду хорошим.

Журналист он был ловкий: А. А. Яблоновский рассказывал, что однажды он унес, украл из редакции «Киевской Мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он «учится» боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем.

Красное офицерство: мальчишка лет двадцати, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные и расширенные; не губы, а какой-то мерзкий *сфинктор*; почти сплошь золотые зубы; на цыплячьем теле — гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи, на тонких, как у скелета, ногах — развратнейшие пузыри-галифе и щегольские, тысячные сапоги, на костреце — смехотворно громадный браунинг.

В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар — студент киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет

ноги на стол. Комиссар высших женских курсов — первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет: «Не каркайте!» Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке.

Перед вечером встретил на улице знакомого еврея (Зелера, петербургского адвоката). Быстро:

— Здравствуйте. Дайте сюда ваше ухо.

Я дал.

— Двадцатого! Я *вам* раньше предупреждаю!

Пожал руку и быстро ушел.

Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку.

Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить деникинцев, когда они придут, — втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже, царя храни», то «бей жидов».

Впрочем, весьма возможно, что опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же они. Они отлично знают, сколь при-  
вержены мы оптимизму.

*Да, да, оптимизм-то и погубил нас.* Это надо твердо помнить.

Впрочем, может быть, и правда готовятся бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным «коммунистам» раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось, по слухам, мало, почти все выпили матросы (которым особенно нравится, как говорят, коньяк «Мартель»). А ведь и до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за *Мартель*.

Сентябрь семнадцатого года, мрачный вечер, темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек

медоточивый, сидит на лавке, в рубаше навыпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

— Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

— Скушно.

— Что такое?

— Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, плохо! Скушно!

— Да почему же?

— Да так. Был вчера я в городе. Прежде, бывало, едешь, на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару не дали. Товару нету. Ни почем нету. Приказчик говорит: «Хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать — до чего дошло! Подметки 14 рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах, будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, — очень пьяный, — и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:

— А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть!

— Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

— А кто ж вас хоронить будет, когда вы померете? Не диакон разве?

— А тебя?

Уронив голову и подумав, мрачно:

— Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уж взял. А если я еще хочу? «Нет, говорит, такого закону». Хорош ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо! Теперь никакого закону нету. — Погоди, погоди, — обращается он к караульщику, — и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу — дай срок!

Октябрь того же года. Пошли плакаты, ми-

тинги, призывы:

— Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным Собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список номер третий!

Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома:

— Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишу перед Учредительным Собранием. А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну да постой: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, не богатым, середняком, но справедливым хозяином. Он говорит:

— Да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем *кандрак* состав-

лять, будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будто у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой двадцать лет дерьмом завалить не можем: как сойдемся — драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может, он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставляешь? Это Бог с ним и с жалованьем в этой думе!

— Да то-то и дело, — говорю я, — что жалованье-то хорошее.

— Ну? Хорошее?

— Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда. Думает. Потом, вздохнув:

— Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хороших.

— Ну вот, кому же, как не тебе, и быть там? Ты хозяин.

Подумав и оживляясь все более:

— Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого и имения-то одна курица. Ему дай хоть сто десятин, опять через два дня «моряк» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, — какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю!

Беседует со мной об Учредительном Собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи:

— Я, товарищ, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону»

небось тысяча номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он черт министр хоть Гвоздев этот-то самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню, и опять мы с ним одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом: «товарищ, товарищ», а по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за стол может сесть по вашему дворянству, а я что? Я и то мужикам говорю: эй, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное Собрание, так уж понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и *пролезть он там может куда угодно...*

Вечером у В. А. Розенберга. И опять: я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах «насилуют свободу слова». Кусаться можно кинуться.

### *Ночью*

Вспомнилось: пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке (мать) второй день лежит ничком на

нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее, без умолку и застенчиво говорит:

— Ну и чудна ты, старуха! Ну и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется! Без этого нельзя! Ты бы сообразила своей головой: разве можно без этого?

Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по-собачьи воет. Он и к ней:

— Ну вот, ну вот! И эта тоже! Значит, ему не надо было обороняться? Значит, надо было Володьке в ножки кланяться?

И Яков: когда получил письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись и как-то странно жмурясь:

— Ничего, ничего, Царство Небесная! Не тужу, не жалею! Это Богу свеча, Алексеич! Богу свеча, Богу ладан!

Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносит-

ся крик, вой жены Володьки, мещанин сказал:

— Ишь, стерва, раздолевается! Она не мужа жалеет, она его *штуки* жалеет...

...Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал пехотин, и мещанин сказал:

— Ах, Господи, до чего хорошо, сладко! За то и держу, ста целковых за него не возьму! Он меня всю ночь веселит, умиляет...

Дочь Пальчикова (спокойная, миловидная) спрашивала меня:

— Правда, говорят, барин, к нам сорок тысяч пленных австрийцев везут?

— Сорок не сорок, а правда, везут.

— И кормить их будем?

— А как же не кормить? Что ж с ними делать?

Подумала.

— Что? Да порезать да покласть...

Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, оципали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавлен-

ных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало.

Но что за беда! Вот Павел Юшкевич уверяет, учит меня, что «к революции нельзя подходить с уголовной меркой», что содрогаться от этих павлинов — «обывательщина». Даже Гегеля вспомнил: «Недаром говорил Гегель о разумности всего действительного: есть разум, есть смысл и в русской революции».

Да, да, «бьют и плакать не велят». Каково павлину, и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут «подходить к революции» те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демон? Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных «обывательских» вопросов!

Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы крикнули: «Не беспокой-

ся, дадим и ему маслинку!» — и застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.

*11 июня*

Проснувшись, как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я, в сущности, черт знает что, что попало, как сумасшедший... Да, впрочем, не все ли равно!

Едва дождался газет. Все очень хорошо:

— Мы оставили Богучар... Мы в 120 верстах западнее Царицына... *Палач* Колчак идет на соединение с Деникиным...

И вдруг:

— *Угнетатель рабочих* Гришин-Алмазов застрелился... Троцкий в поездной газете сообщает, что «наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин-Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин-Алмазов застрелился».

Ужасная весть. И вообще день большого

волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск.

Четыре часа.

Мир с немцами подписан, Деникин взял Харьков!

Поделился радостью с дворником Фомой. Но он пессимист:

— Нет, барин, навряд дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться.

— А как же и когда оно, по-твоему, кончится?

— Когда! Когда побелеет воронье крыло. Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят: «Вся беда от жидов, они все коммунисты, а большевики все русские». А я думаю, что они-то, красноармейцы-то эти, и есть злу корень. Все ярыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор вылезло. А как измываются над мирным жителем! Идет по улице и вдруг: «Товарищ гражданин, который час?» А тот сдуру вынет часы и брякнет: «Два часа с половиной». — «Как, мать твою душу, как два с половиной, когда теперь по-нашему, по-советски, пять? Значит, ты старого режиму?» — Вырвет часы

и об мостовую трах! Нет, он очень укрепился. А все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет; одет в чем попало, воротничок смялся, щеки небритые, а дама без чулок, на босу ногу, ведро с водой через весь город тащит — все, мол, наплевать. Да я и про себя скажу: все чего-то ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето как будто еще не наступило.

Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых «прирожденных преступников» бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза.

Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, «ангельское» лицо вроде того, что было, например,

когда-то у Коллонтай.)

А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, — сколько их, этих атавистических особей, круто замешенных на монгольском атавизме! Весь, Муром, Чудь белоглазая... И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей *анти-социальностью*, давших столько «удалых разбойничков», столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской *социальной* революции. Что ж дивиться результатам?

Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм». Новизна форм! В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего *бесформенности*. Спокон веку были «разбойнички» муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и

вся, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой «неурядицей и нелепицей»!

Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, «люди, чуждые антисоциальных инстинктов». Но совершенно другое, говорит она, преступники «инстинктивные». Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак, коренная черта — жажда разрушения, *антисоциальность*.

Вот преступница, девушка. В детстве упорна, капризна. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению: рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает, и любимое ее чтение — страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям.

И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лжива так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнение тех, кому лжет. Вот преступник, юноша. Гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. «Типично антисоциален...» И таких примеров тысячи.

В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся — начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие — и весьма изумила, и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин Утес, — послушать «то, что думал Степан». Странное изумление! Степан не мог думать о социальном, Степан был «прирожденный» — как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая *долгостая* борьба.

Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжелой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил.

А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик: «Всем, всем, всем!» — крик о том, что Корнилов — «мятежник, предатель революции и родины...»

А потом было третье ноября.

Каин России, с радостно-безумным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смири-

лась.

Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали — победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, — видит Бог, воистину так!

После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаюсь, вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги «борцов за светлое будущее», совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, какое освящено традициями всех «великих революций».

Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничныи вид.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу:

— Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!

Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма не склонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстное пение:

— Волною морскою... гонителя, мучителя под водою скрыша...

Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и лютого горя, и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию, и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу в Орше, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями...

*13 июня*

Да, мир подписан. Ужели и теперь не подумают о России? Вот уж истинно: «Ратуйте, кто в Бога вируе!» Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Ужели не вмешаются в эти наши «внутренние дела», не ворвутся наконец в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью?

*15 июня*

Газеты особенно неистовы: «Германия за-

хвачена за горло разбойничьей шайкой! К оружию! Еще минута — и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром! Но момент серьезен... Пусть же гудит набат! *Не время калякать!*»

В киевском «Коммунисте» замечательная речь Бубнова «о неслыханном, паническом, постыднейшем бегстве красной армии от Деникина».

16 июня

«Харьков пал под лавиной царского палача Деникина... Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от пьянства гуннов. Дикая орда эта, подобно саранче, двигается по измученной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство».

Собственно, чем это отличается от *всей* нашей революционной «литературы?» Но черт с ними. Рад так, что мороз по голове...

А «ликвидация григорьевских банд» все

еще «продол-жается».

*17 июня*

На Дерибасовской улице новый плакат: любочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза-генерала, насквозь проткнутого штыком бегущего красноармейца; подпись: «Бей, ребята, да позазвонистей!» Это опять работа «Политуправления». И у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него С. Юшкевича, который *равнодушно* сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно.

Шел домой как пьяный.

*Ночью*

Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того: говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж, что Колчак прорвал их фронт на Царицынском направлении, что Севастополь в руках англичан (десант в 40 000 человек).

Вечером, на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью С. И. Варшавского. Дочь читала. Она скаут. На вопрос отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышни ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом, бледное, нежное, чуть зеленоватое небо, вид этой милой, жадно читающей девочки и опровержение большевицких слухов о Харькове — все болезненно мешалось.

Рассказывали: когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, «товарищи» вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец-комендант с презрением пожал плечами: «Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?»

*18 июня*

«Последняя отчаянная схватка! Все в ряды! Черные тучи все гуще, карканье черного воронья все громче!» — и так далее.

В Киеве доклад Раковского о международном положении. «Революция охватила весь мир... Хищники дерутся из-за добычи. Контрреволюцию в Венгрии мы потопим в крови!»

И дальше: «Позор! В Харькове *четыре* деникинца произвели неописуемую панику среди наших *многочисленных эшелонов!*» И как венце всего: «*Падение Курска будет гибелью мировой революции!*»

Только что был на базаре. Бежит какой-то босяк, в руках экстренный выпуск газеты: «Мы взяли назад Белгород, Харьков и Лозовую!» — Буквально потемнело в глазах, едва не упал.

*19 июня*

Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость, ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда у Щепкиной-Куперник. Там Лурье, Кауфман. Телеграмме никто не верит, ее напечатали по приказу Исполкома, по настоянию Фельдмана. Я купил эту телеграмму, чтобы взвесить каждое слово. Каждое слово режет, как ножом, переворачивает душу: «Бюллетень Известий Од. Сов. раб., кр. и красноарм. депутатов. Красные войска *отобрали* обратно

Харьков, Лозовую, Белгород. По прямому проводу 1 июля, в 1 ч. 35 м. из Киева радостная весть: Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских банд, которые в панике бегут. Судьба Деникина решена! В Курске ликование пролетариата. Мобилизация проходит с небывалым подъемом. В Полтаве энтузиазм...» Итак, победа сразу на пространстве 500 верст. «Энтузиазм в Полтаве» должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие: нашими взяты Камышин, Ромодан, Никополь.

Нынче вскочил все-таки в семь и купил газеты все до единой: «Циркулировавшие вчера слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются...» От радости глазам не поверил.

Перед обедом были Розенберги. Дико! Они совсем спокойны, — ну что ж, «слухи не подтверждаются», и прекрасно...

20 июня

«На Западе бушуют волны революции... Деникин несет цепи голодного рабства... С бешеным натиском белогвардейских банд злоб-

ствует *безумный, бесчеловечный террор...* Беззащитный пролетариат отдан *озверелым бандам* на разграбление... *Надо беспощадно раздавить мозолистой рукой контрреволюционные гады* на фронте и в тылу... Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, шпионов, трусов, шкурников... *Надо отобрать у буржуев излишек денег, одежды, взять заложников!*»

Все это, вместе с «мозолистой рукой», должествующей «раздавить гады», уже не из газет, а из воззвания «Наркомвнудела Украинск. Социалист. Сов. Республики».

В городе стены домов сплошь в воззваниях. И в них, и в газетах остервенелая чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей.

«Мы оставили Константиноград... Харьков занят бродячей бандой... Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов... Мы оставили Корочу... Мы оставили Лиски... Противник оттеснил нас западнее Царицына... Мы гоним Колчака, который в панике... Румынск. Правительство мечется в предсмерт-

ной агонии... В Германии разгар революции... В Дании революция принимает угрожающие размеры... Северная Россия питается овсом, мхом... У падающих и умирающих на улице рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья... На помощь! Бьет последний час! Мы не хищники, не империалисты, мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории...»

В «Известиях» стихи:

*Товарищи, кольцо сомкнулось  
уже!  
Кто верен нам, беритесь за ору-  
жье!  
Дом горит, дом горит!  
Братец, весь в огне дом,  
Брось горшок с обедом!  
До жранья ль, товарищи?  
Гибнет кров родимый!  
Эй, набат, гуди, мой!*

А насчет «горшка с обедом» дело плохо. У нас, по крайней мере, от недоедания все время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе, и только кое-где кучки

гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти, свиным в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят...

Сейчас опять идем в архиерейский сад, часто теперь туда ходим, единственное чистое, тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный, — вполне мертвая страна. Давно ли порт ломился от богатства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати, все то жалкое, что есть еще кое-где у пристаней, все ржавое, облупленное, ободранное, а на Пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чудесно, безлюдие, тишина. Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах! Умер член редакции, заведу-

ющий статистикой, товарищ по университету или по ссылке... И в церкви была все время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить. А покойник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу!

P. S. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их.

# Темные аллеи

## I

### Темные аллеи

**В** холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик-военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела

то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

— Налево, ваше превосходительство! — грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом, ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи, из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапо-

гах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове — седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

— Эй, кто там!

Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство, — сказала она. — Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

— Самовар. Хозяйка тут или служишь?

— Хозяйка, ваше превосходительство.

— Сама, значит, держишь?

— Так точно. Сама.

— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?

— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

— Так. Так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.

— И чистоту люблю, — ответила она. — Ведь при господах выросла, как не уметь лично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел:

— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.

— Я, Николай Алексеевич, — ответила она.

— Боже мой, боже мой! — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. — Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят,

думаю?

— Вроде этого... Боже мой, как странно!

— Что странно, сударь?

— Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

— Мне господа вскоре после вас вольную дали.

— А где жила потом?

— Долго рассказывать, сударь.

— Замужем, говоришь, не была?

— Нет, не была.

— Почему? При такой красоте, которую ты имела?

— Не могла я этого сделать.

— Отчего же не могла? Что ты хочешь сказать?

— Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас любила.

Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять

зашагал.

— Все проходит, мой друг, — забормотал он. — Любовь, молодость — все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

— Что кому Бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

— Ведь не могла же ты любить меня весь век!

— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, — сколько раз я хотела руки на себя положить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня — помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», — прибавила она с недоброй улыбкой.

— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой. — Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

— А! Все проходит. Все забывается.

— Все проходит, да не все забывается.

— Уходи, — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. — Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

— Лишь бы Бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.

— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, — ответил он, отходя от окна уже со

строгим лицом. — Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно — жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обо-жал — пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая ис-тория. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.

— Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прелест-на!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»

К закату проглянуло бледное солнце. Ку-чер гнал рысцой, все меняя черные колеи, вы-бирая менее грязные, и тоже что-то думал.

Наконец сказал с серьезной грубостью:

— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?

— Давно, Клим.

— Баба — ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.

— Это ничего не значит.

— Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя — пеняй на себя.

— Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! „Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи...“ Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоянной горницы, а моя жена, хо-

зьяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

И, закрывая глаза, качал головой.

*20 октября 1938*

## **Кавказ**

**П**риехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно, затворником — от свидания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни всего три раза и каждый раз входила поспешно, со словами:

— Я только на одну минуту...

Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины, голос у нее срывался, и то, как она, бросив куда попало зонтик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом.

— Мне кажется, — говорила она, — что он что-то подозревает, что он даже знает что-то, — может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу... Я думаю, что он на все способен при его жестоким, самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал: «Я ни перед чем не остановлюсь,

защищая свою честь, честь мужа и офицера!» Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и, чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня, так внушила я ему, что умру, если не увижу юга, моря, но, ради бога, будьте терпеливы!

План наш был дерзок: уехать в одном и том же поезде на кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте три-четыре недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи, — молодой, одинокий, — на всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов, у холодных серых волн... И она бледнела, когда я говорил: «А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях, у тропического моря...» В осуществление нашего плана мы не верили до последней минуты — слишком великим счастьем казалось нам это.

\* \* \*

В Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется, было грязно, сумрачно, улицы мокро и черно блестели раскрытыми зонтами прохо-

жих и поднятыми, дрожащими на бегу верха-ми извозчичьих пролетов. И был темный, от-вратительный вечер, когда я ехал на вокзал, все внутри у меня замирало от тревоги и хо-лода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув ли-цо в воротник пальто.

В маленьком купе первого класса, которое я заказал заранее, шумно лил дождь по кры-ше. Я немедля опустил оконную занавеску и, как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом чуть приоткрыл за-навеску и замер, не сводя глаз с разнообраз-ной толпы, взад и вперед сновавшей с веща-ми вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условились, что я приеду на вок-зал как можно раньше, а она как можно поз-же, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже по-ра было быть. Я смотрел все напряженнее — их все не было. Ударил второй звонок — я по-холодел от страха: опоздала, или он в послед-нюю минуту вдруг не пустил ее! Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигу-

рой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса — я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него вместе с нею, оглянулся, — хорошо ли устроил ее носильщик, — и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее... Третий звонок оглушил меня, тронувшийся поезд поверг в оцепенение... Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно, на всех парах... Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул десятирублевую бумажку...

\* \* \*

Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая, отцепляя от волос шляпку.

— Я совсем не могла обедать, — сказала она. — Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. И ужасно хочу пить. Дай мне нарзану, — сказала она, первый раз говоря мне «ты». — Я убеждена, что он поедет вслед за мною. Я дала ему два адреса, Гелен-

джик и Гагры. Ну вот, он и будет дня через три-четыре в Геленджике... Но бог с ним, лучше смерть, чем эти муки...

\* \* \*

Утром, когда я вышел в коридор, в нем было солнечно, душно, из уборных пахло мылом, одеколоном и всем, чем пахнет людный вагон утром. За мутными от пыли и нагретыми окнами шла ровная выжженная степь, видны были пыльные широкие дороги, арбы, влекомые волами, мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в палисадниках... Дальше пошел безграничный простор нагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо, подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте...

\* \* \*

Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется. Потом мы спустились вдоль берега к югу.

\* \* \*

Мы нашли место первобытное, заросшее

чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернели кипарисы...

Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили в семь, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман, за дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор... Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов, — по утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев, — плавно ходили черкешенки в черных, длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с закутанными во что-то черное головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной закутанности.

Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака — все жарен-

ная на шкаре рыба, белое вино, орехи и фрукты — в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы света.

Когда жар спадал и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте.

На закате часто громоздились за морем удивительные облака; они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала: еще две, три недели — и опять Москва!

Ночи были теплы и непроглядны, в черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как

будто все одной и той же бесконечной песни.

Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально смотрела поздняя луна!

Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскальвались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, тьявкали чекалки... Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая их, — они всегда сбегаются в такие ночи к жилью, — мы открыли окно и смотрели на них сверху, а они стояли под блестящим ливнем и тьявкали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них.

\* \* \*

Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, надел чи-

стое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шар-трезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.

*12 ноября 1937*

## **Баллада**

**П**од большие зимние праздники был всегда, как баня, натоплен деревенский дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых все были раскрыты напролет, — от прихожей до диванной, находившейся в самом конце дома, — и блистала в красных углах восковыми свечами и лампадами перед иконами.

Под эти праздники в доме всюду мыли гладкие дубовые полы, от топки скоро сохнувшие, а потом застилали их чистыми попонами, в наилучшем порядке расставляли по своим местам сдвинутые на время работы мебели, а в углах, перед золочеными и серебряными окладами икон, зажигали лампы и свечи, все же прочие огни тушили. К этому часу

уже темно синела зимняя ночь за окнами и все расходились по своим спальным горницам. В доме водворялась тогда полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой, как нельзя более подобающий ночному священному виду икон, озаренных скорбно и умирительно.

Зимой гостила иногда в усадьбе странница Машенька, седенькая, сухенькая и дробная, как девочка. И вот только она одна во всем доме не спала в такие ночи: придя после ужина из людской в прихожую и сняв с своих маленьких ног в шерстяных чулках валенки, она бесшумно обходила по мягким попонам все эти жаркие, таинственно освещенные комнаты, всюду становилась на колени, крестилась, кланялась перед иконами, а там опять шла в прихожую, садилась на черный ларь, спокон веку стоявший в ней, и вполголоса читала молитвы, псалмы или же просто говорила сама с собой. Так и узнал я однажды про этого «Божьего зверя, Господня волка»: услышал, как молилась ему Машенька.

Мне не спалось, я вышел поздней ночью в зал, чтобы пройти в диванную и взять там

что-нибудь почитать из книжных шкапов. Машенька не слыхала меня. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей. Я, приостановясь, прислушался. Она наизусть читала псалмы.

— Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему, — говорила она без всякого выражения. — Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец на земле, как и все отцы мои...

Скажите Богу: как страшен Ты в делах Твоих!

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится... На аспида и василиска наступишь, попрешь льва и дракона...

На последних словах она тихо, но твердо повысила голос, произнесла их убежденно: попрешь льва и дракона. Потом помолчала и, медленно вздохнув, сказала так, точно разговаривала с кем-то:

— Ибо Его все звери в лесу и скот на тысяче гор...

Я заглянул в прихожую: она сидела на лавке, ровно спустив с него маленькие ноги в

шерстяных чулках и крестом держа руки на груди. Она смотрела перед собой, не видя меня. Потом подняла глаза к потолку и отдельно промолвила:

— И ты, Божий зверь, Господень волк, моли за нас Царицу Небесную.

Я подошел и негромко сказал:

— Машенька, не бойся, это я.

Она уронила руки, встала, низко поклонилась:

— Здравствуйте, сударь. Нет-с, я не боюсь. Чего ж мне бояться теперь? Это в младости глупа была, всего боялась. Темнозрачный бес смущал.

— Сядь, пожалуйста, — сказал я.

— Никак нет, — ответила она. — Я постою-с.

Я положил руку на ее костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сесть и сел с ней рядом.

— Сиди, а то я уйду. Скажи, кому это ты молилась? Разве есть такой святой — Господний волк?

Она опять хотела встать. Я опять удержал ее:

— Ах какая ты! А еще говоришь, что не боишься ничего! Я тебя спрашиваю: правда, что есть такой святой?

Она подумала. Потом серьезно ответила:

— Стало быть, есть, сударь. Есть же зверь Тигр-Ефрат. Раз в церкви написан, стало быть, есть. Я сама его видела-с.

— Как видела? Где? Когда?

— Давно, сударь, в незапамятный срок. А где — и сказать не умею: помню одно — мы туда трое суток ехали. Было там село Крутые Горы. Я и сама дальняя, — может, изволили слышать: рязанская, — а тот край еще ниже будет, в Задонщине, и уж какая там местность грубая, тому и слова не найдешь. Там-то и была заглазная деревня наших князей, ихнего дедушки любимая, — целая, может, тысяча глиняных изб по голым бутрам-косограм, а на самой высокой горе, на венце ее, над рекой Каменной, господский дом, тоже голый весь, трехъярусный, и церковь желтая, колонная, а в той церкви этот самый Божий волк: посередь, стало быть, плита чугунная над могилой князя, им зарезанного, а на правом столпе — он сам, этот волк, во весь свой

рост и склад написанный: сидит в серой шубе на густом хвосту и весь тянется вверх, упирается передними лапами в землю — так и зарит в глаза: ожерелок седой, остистый, толстый, голова большая, остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, кровавые, округ же головы золотое сияние, как у святых и угодников. Страшно даже вспомнить такое диво дивное! До того живой сидит, глядит, будто вот-вот на тебя кинется!

— Пстой, Машенька, — сказал я, — я ничего не понимаю, зачем же и кто этого страшного волка в церкви написал? Говоришь — он зарезал князя: так почему ж он святой и зачем ему быть надо княжеской могилой? И как ты попала туда, в это ужасное село? Расскажи все толком.

И Машенька стала рассказывать:

— Попала я, сударь, туда по той причине, что была тогда крепостной девушкой, при доме наших князей прислуживала. Была я сирота, родитель мой, баяли, какой-то прохожий был, — беглый, скорее всего, — незаконно обольстил мою матушку, да и скрылся бог весть куда, а матушка, родивши меня, вскоре-

сти скончалась. Ну и пожалели меня господа, взяли с дворни в дом, как только сравнялось мне тринадцать лет, и приставили на побегушки к молодой барыне, и я так чем-то полюбила ее, что она меня ни на час не отпускала от своей милости. Вот она-то и взяла меня с собой в вояж, как задумал молодой князь съездить с ней в свое дедовское наследие, в эту самую заглазную деревню, в Крутые Горы. Была та вотчина в давнем запустении, в безлюдии, — так и стоял дом забитый, заброшенный с самой смерти дедушки, — ну и захотели наши молодые господа проведать ее. А какой страшной смертью помер дедушка, о том всем нам было ведомо по преданию.

В зале что-то слегка треснуло и потом упало, чуть стукнуло. Машенька скинула ноги с ларя и побежала в зал: там уже пахло гарью от упавшей свечи. Она замяла еще чадивший свечной фитиль, затоптала затлевший ворс попоны и, вскочив на стул, опять зажгла свечу от прочих горевших свечей, воткнувших в серебряные лунки под иконой, и приладила ее в ту, из которой она выпала: перевернула ярким пламенем вниз, покапала в лунку по-

текшим, как горячий мед, воском, потом встала, ловко сняла тонкими пальцами нагар с других свечей и опять соскочила на пол.

— Ишь как весело затеплилось, — сказала она, крестясь и глядя на ожившее золото свечных огоньков. — И какой дух-то церковный пошел!

Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, лик образа древне глядел из-за них в пустом кружке серебряного оклада. В верхние, чистые стекла окон, густо обмерзших снизу серым инеем, чернела ночь, и близко белели отягощенные снежными пластами лапы ветвей в палисаднике. Машенька посмотрела на них, еще раз перекрестилась и вошла опять в прихожую.

— Почивать вам пора, сударь, — сказала она, садясь на ларь и сдерживая зеवоту, прикрывая рот своей сухой ручкой. — Ночь-то уж грозная стала.

— Почему грозная?

— А потому, что потаенная, когда лишь алектор, петух, по-нашему, да еще ночный вран, сова, может не спать. Тут сам Господь землю слушает, самые главные звезды начи-

нают играть, проруби мерзнут по морям и рекам.

— А что ж ты сама не спишь по ночам?

— И я, сударь, сколько надобно, сплю. Старому человеку много ли сна полагается? Как птице на ветке.

— Ну, ложись, только доскажи мне про этого волка.

— Да ведь это дело темное, давнее, сударь, — может, баллада одна.

— Как ты сказала?

— Баллада, сударь. Так-то все наши господа говорили, любили эти баллады читать. Я, бывало, слушаю — мороз по голове идет:

*Воет сыр-бор за горою,  
Метет в белом поле,  
Стала вьюга-непогода,  
Запала дорога...*

До чего хорошо, Господи!

— Чем хорошо, Машенька?

— Тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко.

— В старину, Машенька, все жутко было.

— Как сказать, сударь? Может, и правда, что жутко, да теперь-то все мило кажется.

Ведь когда это было? Уж так-то давно, — все царства-государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сровнялись с землей. Вот и это дело, — на дворне его слово в слово сказывали, а правду ли? Дело это будто еще при великой царице было, и будто оттого князь в Крутых Горах сидел, что она на него за что-то разгневалась, заточила его вдаль от себя, и он очень лют сделался — пуще всего на казнь рабов своих и на любовный блуд. Очень еще в силе был, а касательно наружности отлично красив, и будто бы не было ни на дворне у него, ни по деревням его ни одной девушки, какую бы он к себе, в свою сераль, на первую ночь не требовал. Ну вот и впал он в самый страшный грех: польстился даже на новобрачную сына своего родного. Тот в Петербурге в царской военной службе был, а когда нашел себе суженую, получил от родителя разрешение на брак и женился, то, стало быть, приехал с новобрачной к нему на поклон, в эти самые Крутые Горы. А он и прельстился на нее. Про любовь, сударь, недаром поется:

*Жар любви во всяком царстве,*

## *Любится земной весь круг...*

И какой же может быть грех, если хоть и старый человек мыслит о любимой, вздыхает о ней? Да ведь тут-то дело совсем иное было, тут вроде как родная дочь была, а он на блуд простирал алчные свои намерения.

— Ну и что же?

— А то, сударь, что, заметивши такой родительский умысел, решил молодой князь тайком бежать. Подговорил конюхов, задарил их всячески, приказал к полночи запрячь тройку порезвей, вышел, крадучись, как только заснул старый князь, из родного дома, вывел молодую жену — и был таков. Только старый князь и не думал спать: он еще с вечера все узнал от своих наушников и немедля в погоню пошел. Ночь, мороз несказанный, аж кольца округ месяца лежат, снегов в степи выше роста человеческого, а ему все нипочем: летит, весь увешанный саблями и пистолетами, верхом на коне, рядом со своим любимым доезжачим, и уж видит впереди тройку с сыном. Кричит, как орел: стой, стрелять буду! А там не слушают, гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрелять

в лошадей и убил на скаку сперва одну пристяжную, правую, потом другую, левую, и уж хотел коренника свалить, да глянул вбок и видит: несется на него по снегам, под месяцем, великий, небывалый волк, с глазами как огонь, красными и с сияньем округ головы! Князь давай палить и в него, а он даже глазом не моргнул: вихрем нанесся на князя, прынул к нему на грудь — и в единый миг пересек ему кадык клыком.

— Ах, какие страсти, Машенька, — сказал я. — Истинно баллада!

— Грех, не смейтесь, сударь, — ответила она. — У Бога всего много.

— Не спорю, Машенька. Только странно все-таки, что написали этого волка как раз возле могилы князя, зарезанного им.

— Его написали, сударь, по собственному желанию князя: его домой еще живого привезли, и он успел перед смертью покаяться и причастье принять, а в последний свой миг приказал написать того волка в церкви над своей могилой: в назидание, стало быть, всему потомству княжескому. Кто ж его мог по тем временам послушаться? Да и церковь-то

была его домашняя, им самим строенная.

*3 февраля 1938*

## Степа

**П**еред вечером, по дороге в Чернь, молодого Пкупца Красильщикова захватил ливень с грозой.

Он, в чуйке с поднятым воротом и глубоко надвинутым картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в высокие сапогах в переднюю ось, держа мокрыми, застывшими руками мокрые, скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь; слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, ровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер.

Сперва Красильщиков гнал по черноземной колее вдоль шоссе, потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задрбезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потоком, пахнущим огуречной свежестью и фосфором;

перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч резкая, ветвистая молния, а над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся вслед за тем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже скоком... Красильщиков рос и учился в Москве, кончил там университет, но, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни. В это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он, из-за связи с одной известной актрисой, промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск: безделье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающего в желез-

ных чанах асфальта в развороченных улицах, завтраки в Троицком низке с актерами Малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сидение в кофейне Трамблэ, вечером ожиданье ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина... Летние московские вечера бесконечны, темнеет только к одиннадцати, и вот ждешь, ждешь — ее все нет. Потом наконец звонок — и она, во всей своей летней нарядности, и ее задыхающийся голос: «Прости, пожалуйста, весь день пластом лежала от головной боли, совсем завяла твоя чайная роза, так спешила, что лихача взяла, голодна ужасно...»

Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить и кругом стало проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоянный двор старика-вдовца, мещанина Пронина. До города оставалось еще двадцать верст, — надо переждать, подумал Красильщиков, лошадь вся в мыле, и еще неизвестно, что будет опять, ишь какая чернота в ту сторону и все еще загорается... На переезде к постоянному двору он на

рысях свернул и осадил возле деревянного крыльца.

— Дед! — громко крикнул он. — Принимай гостя!

Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны, на крик никто не отозвался. Красильщиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо вслед за вскочившей туда грязной и мокрой собакой, — вид у нее был бешеный, глаза блестели ярко и бессмысленно, — сдвинул с потного лба картуз, снял отяжелевшую от воды чуйку, кинул ее на перила крыльца и, оставшись в одной поддевке с ременным поясом в серебряном наборе, вытер пестрое от грязных брызг лицо и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в сенцы была отворена, но чувствовалось, что дом пуст. Верно, скотину убирают, подумал он и, разогнувшись, посмотрел в поле: не ехать ли дальше? Вечерний воздух был неподвижен и сыр, с разных сторон бодро били вдали перепела в отягченных влагой хлебах, дождь перестал, но надвигалась ночь, небо и земля угрюмо темнели, за шоссе, за низкой чернильной грядой леса,

еще гуще и мрачней чернела туча, широко и зловеще вспыхивало красное пламя — и Красильщиков шагнул в сенцы, нашарил в темноте дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы на стене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворил другую, в избу: опять никого, одни мухи сонно и недовольно загудели в жаркой темноте на потолке.

— Как подошли! — вслух сказал он — и тотчас услышал скорый и певучий, полудетский голос соскользнувшей в темноте с нар Степы, дочери хозяина:

— Это вы, Василь Ликсеич? А я тут одна, стряпуха поругалась с папашей и ушла домой, а папаша взяли работника и уехали по делу в город, вряд ли и вернутся нынче... Напугалась грозы до смерти, а тут, слышу, кто-то подъехал, еще пуще испугалась... Здравствуйте, извините меня, пожалуйста...

Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглое личико:

— Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город, да, вишь, что делается, заехал переждать... А ты, значит, думала, разбойники подъехали?

Спичка стала догорать, но еще видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем... Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой.

— Я сейчас лампу зажгу, — поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинулась к лампочке над столом. — Вас сам Бог послал, чтобы я тут делала одна, — певуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки, из ее жестяного кружка, стекло.

Красильщиков зажжет другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку.

— Погоди, не надо, — вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талию. — Постой, повернись-ка на минутку ко мне...

Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себе, — она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямо и твердо заглянул сквозь сумрак в гла-

за ей и засмеялся:

— Еще пуще испугалась?

— Василь Ликсеич... — пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук.

— погоди. Разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда заезжаю.

— Лучше вас на свете нету, — выговорила она тихо и горячо.

— Ну вот видишь...

Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнули ниже.

— Василь Ликсеич... за-ради Христа... Вы забыли, ваша лошадь так и осталась под крыльцом... папаша заедут... Ах, не надо!

Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые, далекие зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мок-

рую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смирно, молча, он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок... Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался: «А папаша в город уехали...» Вот тебе и уехали! Скверно, он все сразу поймет — такой сухонький и быстрый старичок в серенькой поддевочке, борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные, взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян, без умолку, а все видит насквозь...

Он без сна лежал до того часа, когда темнота избы стала слабо светлеть посередине, между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато белеющий за окнами восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее: лежит, все так же свернувшись, поджав ноги, все забыла во сне! Милая и жалкая девчонка...

Когда в небе стало совсем светло и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами.

— Степа, — сказал он осторожно. — Мне пора.

— Уж едете? — прошептала она бессмысленно.

И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудь руками:

— Куда ж вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что ж мне теперь делать?

— Степа, я опять скоро приеду...

— Да ведь папаша будут дома, — как же я вас увижу! Я бы в лес за шоссе пришла, да как же мне отлучиться из дому?

Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии: «Ах!»

Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке, в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, к густому блеску только что показавше-

гося солнца, а она стояла на нарах на коленях и, рыдая, по-детски и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала:

— Василь Ликсеич... за-ради Христа... за-ради самого Царя Небесного, возьмите меня за-муж! Я вам самой последней рабой буду! У порога вашего буду спать — возьмите! Я бы и так к вам ушла, да кто ж меня так пустит! Василь Ликсеич...

— Замолчи, — строго сказал Красильщиков. — На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе. Слышала?

Она села на ноги, сразу оборвав рыдания, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза:

— Правда?

— Конечно, правда.

— Мне на Крещение уж шестнадцатый пошел, — поспешно сказала она.

— Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно...

Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже в Кисловодске.

*5 октября 1938*

## Муза

**Я** был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи, — у меня всегда была страсть к ней, — и, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве: брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается: длинные волосы, крупными сальными кудрями закинутае назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-серые гетры, — я их особенно ненавидел, — небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика и это как бы про себя:

— Занятно, занятно... Несомненные успехи...

Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах «Столица». Днем работал у художника и дома, вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми, и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом... Неприятно и скуч-

но я жил! Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его «артистически» запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, эта сумрачная «Столица»... В памяти осталось: непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арбату конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане... Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование, — был я тогда далеко не беден.

Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и в отворенные фортки двойных рам несло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, не по-зимнему цокали по мостовой подковы и как будто музыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: кто там? — но ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул — опять молчание, потом новый стук. Я встал, отворил: у порога стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботиках, смотрит в упор, глаза цвета желудя, на длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега; смотрит и говорит:

— Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?

Довольно удивленный, я ответил, конечно, любезностью:

— Очень польщен, милости прошу. Только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны: ничего интересного во мне, кажется, нет.

— Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня перед дверью, — сказала она, все так же прямо смотря на меня. — Польщены, так принимайте.

И, войдя, стала, как дома, снимать перед моим серо-серебристым, местами почерневшим зеркалом шляпку, поправлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала:

— Снимите с меня ботинки и дайте из пальто носовой платок.

Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги.

— Я вас видела вчера на концерте Шора, —

безразлично сказала она.

Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения, — что за странная гостья! — я покорно снял один за другим ботинки. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах, волновало соединение ее мужественности со всем тем женственно-молодым, что было в ее лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке, — во всем, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботинки из-под ее платья, под которым округло и полностью лежали ее колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и удлиненные ступни в открытых лаковых туфлях.

Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня и кто она, где и с кем живет. Она ответила:

— От кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела на концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском бульваре.

Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я, опять не зная, что сказать, спросил:

— Чаю хотите?

— Хочу, — сказала она. — И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок ранет — тут на Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива.

— А кажетесь такой спокойной.

— Мало ли что кажется...

Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки... А съевши яблоко и выпив чашку чая, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя:

— Теперь сядьте ко мне.

Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала — старательно, долго.

— Ну вот, — сказала она как будто облегченно. — Больше пока ничего нельзя. После завтра.

В номере было уже совсем темно, — только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, сильная, вкус

и форма губ необыкновенные... Я как во сне слышал однообразный звон конок, цоканье копыт...

— Я хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге», — сказала она. — Никогда там не была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь.

— Любовь?

— А как же это иначе называется?

Ученье свое я, конечно, вскоре бросил, она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили, как молодожены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции... В мае я переселился, по ее желанию, в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи, и она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого — дачи под Москвой: никогда еще не жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, столь непохожей на наши степные усадьбы, и в таком климате.

Все время дожди, кругом сосновые леса. То

и дело в яркой синеве над ними скопляются белые облака, высоко перекачивается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар... Все мокро, жирно, зеркально... В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малы, как жилища под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громадным черным зеркалом, наполовину затянут был зеленой ряской... Я жил на окраине парка, в лесу. Бревенчатая дача моя была не совсем достроена, — неконопаченные стены, нестроганные полы, печи без заслонок, мебели почти никакой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли бархатом плесени.

Темнело по вечерам только к полуночи: стоит и стоит полусвет запада по неподвижным, тихим лесам. В лунные ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокойствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засыпал, проводив

ее на станцию, — и вдруг слышал: на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма и в отвес падающие молнии... Утром на лиловой земле в сырых аллеях пестрели тени и ослепительные пятна солнца, цокали птички, называемые мухоловками, хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило, находили облака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно, на моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца. Тут я шел на станцию встречать ее. Подходил поезд, вываливались на платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса, показывалась в толпе она, с сеткой, обремененной пакетами закусок, фруктами, бутылкой мадеры... Мы дружно обедали глаз на глаз. Перед ее поздним отъездом бродили по парку. Она становилась сомнамбулична, шла, клоня голову на мое плечо. Черный пруд, вековые деревья, уходящие в звездное небо... Заколдованно-светлая ночь, бесконечно-безмолвная, с бесконечно-длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих

на озеро.

В июне она уехала со мной в мою деревню, — не венчаясь, стала жить со мной как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела не скучая, в будничных заботах, за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, одинокий, бедный помещик, живший от нас верстах в двух, щуплый, рыженький, несмелый, недалекий — и недурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что вечер без него был странен. Мы играли с ним в шашки, или же он играл с ней в четыре руки на рояли.

Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один.

— А где барыня, Дуня? Гулять ушла?

— Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака.

— Оделись и ушли, — сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька.

«Верно, к Завистовскому пошла, — поду-

мал я, — верно, скоро придет вместе с ним — уже семь часов...» И я пошел и прилег в кабинете и внезапно заснул — весь день мерз в дороге. И так же внезапно очнулся через час — с ясной и дикой мыслью: «Да ведь она бросила меня! Наняла на деревне мужика и уехала на станцию, в Москву, — от нее все станется! Но может быть, вернулась?» Прошел по дому — нет, не вернулась. Стыдно прислуги...

Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая: «Как нарочно, и он не пришел нынче, а у меня еще целая страшная ночь впереди! Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть!» Иду, скрипя по наезженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля под низкой, бедной луной... Свернул с большой дороги, пошел к жалкой усадьбе Завистовского: аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю, потом въезд во двор, слева старый, нищий дом, в доме темно... Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь в клоках обивки, — в прихожей краснеет открытая прогоревшая печка, тепло и темнота...

Но темно и в зале.

— Викентий Викентич!

И он бесшумно, в валенках, появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно:

— Ах, это вы... Входите, входите, пожалуйста... А я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня...

Я вошел и сел на бугристый диван.

— Представьте себе, Муза куда-то исчезла...

Он промолчал. Потом почти неслышным голосом:

— Да, да, я вас понимаю...

— То есть что вы понимаете?

И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, Муза.

— Вы с ружьем, — сказала она. — Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня.

И села на другой диван, напротив.

Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой, — все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна, — хотел

крикнуть: «Я не могу жить без тебя, за одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!»

— Дело ясно и кончено, — сказала она. — Сцены бесполезны.

— Вы чудовищно жестоки, — с трудом выговорил я.

— Дай мне папиросу, — сказала она Завистовскому. Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек...

— Вы со мной говорите уже на «вы», — задыхаясь, сказал я, — вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты».

— Почему? — спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросу.

Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, пошел вон.

*17 октября 1938*

### **Поздний час**

**А**х, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу

разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.

И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.

Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, — гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от ме-

ня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, — так молчалив он был, — хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовеет мгlistое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее, красное — русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою — я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились

к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила-архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья — и вот вдруг решился, взял, замирая, твою руку...

За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой.

В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально — печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел — большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени — только в домах направо, до которых

ть не достигала, освещены были белые стены и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару, — он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?

Цель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад; каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе — все так же казенно, скучно, как было когда-то, при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний — и не мог: да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над ко-

зырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?

Старая улица показалась мне только немного уже, чем казалась прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны запыленные купеческие дома, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти серединой улицы, в полном месячном свете... И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет яблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепла, что наслаждением было идти в одной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком... Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?

Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он, верно, не изменился, но тем страшнее увидеть его. Какие-то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат — все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли; и не только родные, но и многие,

многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь, давно ли начинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, — так быстро и на моих глазах! И я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела... Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости...

Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет Божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой

за день мостовой и только изредка, для забавы, запуская колотушкой плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору и за сараем в глубине двора вошел в пестрый сумрак сада, где слабо белело вдали, на скамье под яблонями, твое платье, и, быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.

И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно, — лег где-нибудь на скамье и задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, я видел, как высоко и безгрешно сияет над двором месяц и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, видел заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими травами, а за ними низко выглядыва-

вавшую из-за какого-то другого сада одиночную зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившую. Но и двор и звезду я видел только мельком — одно было в мире: легкий сумрак и лучистое мерцание твоих глаз в сумраке.

А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал:

— Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.

Я вышел на середину светлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видел, что все еще белеет в калитке.

Теперь, поднявшись с тумбы, я пошел назад тем же путем, каким пришел. Нет, у меня была, кроме Старой улицы, и другая цель, в которой мне было страшно признаться себе, но исполнение которой, я знал, было неминуемо. И я пошел — взглянуть и уйти уже навсегда.

Дорога была опять знакома. Все прямо, потом влево, по базару, а с базара — по Монастырской — к выезду из города.

Базар — как бы другой город в городе. Очень пахучие ряды. В Обжорном ряду, под навесами над длинными столами и скамьями, сумрачно. В Скобяном висит на цепи над серединой прохода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В Мучном по утрам всегда бегали, клевали по мостовой целой стаей голуби. Идешь в гимназию — сколько их! И все толстые, с радужными зобами — клюют и бегут, женственно, щёпотко виляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замечая тебя: взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупные темные крысы, гадкие и страшные.

Монастырская улица — пролет в поля и до рога: одним из города домой, в деревню, другим — в город мертвых. В Париже двое суток выделяется дом номер такой-то на такой-то улице изо всех прочих домов чумной бутафорией подъезда, его траурного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столика лист бумаги в траурной кайме — на нем расписываются в знак

сочувствия вежливые посетители; потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная, с траурным балдахином, колесница, дерево которой черно-смолисто, как чумной гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватými черными султанами — перьями страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых пополах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах сидит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутафорский гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ухмыляющийся на эти торжественные слова: «Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis»[8]. — Тут все другое. Дует с полей по Монастырской ветерок, и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым венчиком на лбу, над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и ее.

На выезде, слева от шоссе, монастырь вре-

мен царя Алексея Михайловича, крепостные, всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы собора. Дальше, совсем в поле, очень простран- ный квадрат других стен, но невысоких: в них заключена целая роща, разбитая пересе- кающимися долгими проспектами, по сторо- нам которых, под старыми вязами, липами и березами, все усеяно разнообразными креста- ми и памятниками. Тут ворота были раскры- ты настежь, и я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я несмело снял шляпу и вошел. Как поздно и как немо! Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, на- сколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых, кре- стов и памятников ее узорно пестрело в про- зрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу — светлые и темные пятна, все пестрив- шие под деревьями, спали. В дали рощи, из-за кладбищенской церкви, вдруг что-то мельк- нуло и с бешеной быстротой, темным клуб- ком понеслось на меня — я, вне себя, шарах- нулся в сторону, вся голова у меня сразу оле- денела и стянулась, сердце рванулось и за-

мерло... Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, неся его в себе, как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо идти, я шел все прямо по проспекту — и в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился: передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлинённый и довольно узкий камень, возглавию к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная.

*19 октября 1938*

## Руся

**В** одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва — Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поезде, к опущенному окну вагона первого класса, подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей руке, и дама спросила:

— Послушайте. Почему мы стоим?

Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.

На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

— Однажды я жил в этой местности на каникулах, — сказал он. — Был репетитором в

одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный, — хозяева были люди обедневшие, — за домом некоторое подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега.

— И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту.

— Да, все, как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по ночам, и выходило даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там, на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет... Весло нашлось только одно и то вроде лопаты, и я греб им, как дикарь, — то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвет. И везде невообразимая тишина — только комары ноют и стрекозы летают. Ни-

когда не думал, что они летают по ночам, — оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно.

Зашумел наконец встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купе, осветил его и стал готовить постели.

— Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была?

— Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетенные из какой-то разноцветной шерсти.

— Тоже, значит, в русском стиле?

— Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови... Волосы су-

хие и жесткие, слегка курчавились. Все это, при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках — все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.

— Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.

— Возможно. Тем более что лицом была похожа на мать, а мать родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.

— А отец?

— Тоже молчаливый и сухой, высокий; отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, которого я репетировал.

Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

— А как ее звали?

— Руся.

— Это что же за имя?

— Очень простое — Маруся.

— Ну и что же, ты был очень влюблен в нее?

— Конечно, казалось, что ужасно.

— А она?

Он помолчал и сухо ответил:

— Вероятно, и ей так казалось. Но пойдём спать. Я ужасно устал за день.

— Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чем и как ваш роман кончился.

— Да ничем. Уехал, и делу конец.

— Почему же ты не женился на ней?

— Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя.

— Нет, серьезно?

— Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе, разделась и с дорожной отрадой легли под свежее глянцевитое полотно простынь и на такие же подушки, все скользившие с приподнятого изголовья.

Сине-лиловый глазок над дверью тихо гля-

дел в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето...

На теле у нее тоже было много маленьких темных родинок — эта особенность была прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долгому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни — подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на балкон дверями, в потемневшем доме все спали после обеда — и как страшно испугал его и ее какой-то черный с металлически-зеленым отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с дивана, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснела и отвечала насмешливым бормотанием; за столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу:

— Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и окрошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит.

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству — весь дом был на ней. Обедали в час, и после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под березой ее мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, где он после обеда сидел с книгой в косом камышовом кресле, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопределенной усмешкой:

— Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать?

— Историю Французской революции.

— Ах, бог мой! Я и не знала, что у нас в доме оказался революционер!

— А что ж вы свою живопись забросили?

— Вот-вот и совсем заброшу. Убедилась в своей бездарности.

— А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний.

— А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?

— Вы страшно самолюбивы.

— Есть тот грех...

Наконец предложила ему однажды показаться по озеру, вдруг решительно сказала:

— Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей все дыры забили кугой...

День был жаркий, парило, прибрежные травы, испещренные желтыми цветочками куриной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, и над ними низко вились несметные бледно-зеленые мотыльки.

Он усвоил себе ее постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал:

— Наконец-то вы снизошли до меня!

— Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне! — бойко ответила она и прыгну-

ла на нос лодки, распугав лягушек, со всех сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топая ногами: — Уж! Уж!

Он мельком увидал блестящую смуглость ее голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, далеко отбросил в воду.

Она была бледна какой-то индусской бледностью, родинки на ее лице стали темней, чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнула:

— Ох, какая гадость! Недаром слово «ужас» происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!

Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза прямо.

— Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!

Она совсем пришла в себя, улыбнулась и, перебежав с носа на корму, весело села. В своем испуге она поразила его красотой, сейчас он с нежностью подумал: да она совсем еще

девчонка! Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гуще подводных трав на зеленые щетки куги и цветущие кувшинки, все впереди покрывавшие сплошным слоем своей толстой, круглой листвы, вывел ее на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево.

— Правда хорошо? — крикнула она.

— Очень! — ответил он, снимая картуз, и обернулся к ней: — Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все-таки протекает и полно пивок.

Она положила картуз к себе на колени.

— Да не беспокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

— Нет, я его буду беречь!

У него опять нежно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестящую среди куги и кувшинок воду.

К лицу и рукам липли комары, кругом все слепило теплым серебром: парной воздух,

зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок; везде было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отраженное небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула — и лодка повалилась набок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе, что завалилась вместе с лодкой — он едва успел вскочить и поймать ее под мышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что делает, поцеловал в хохочущие губы. Она быстро обняла его за шею и неловко поцеловала в щеку...

С тех пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его после обеда в сад и спросила:

— Ты меня любишь?

Он горячо ответил, помня вчерашние поцелуи в лодке:

— С первого дня нашей встречи!

— И я, — сказала она. — Нет, сначала нена-

видела — мне казалось, что ты совсем не замечаешь меня. Но, слава богу, все это уже прошлое. Нынче вечером, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнее — мама за каждым шагом моим следит, ревнива до безумия.

Ночью она пришла на берег с пледом на руке. От радости он встретил ее растерянно, только спросил:

— А плед зачем?

— Какой глупый! Нам же будет холодно. Ну, скорей садись и гребь к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу на той стороне, она сказала:

— Ну вот. Теперь иди ко мне. Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озябла, и садись. Вот так... Нет, погоди, вчера мы целовались как-то бестолково, теперь я сначала сама поцелую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... везде...

Под сарафаном у нее была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он, с помутившейся головой, кинул ее на корму. Она иступленно обняла его...

Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и еще не утихшей боли сказала:

— Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала обвязывать голову косой, подняв руки, показывая темные мышки и поднявшиеся груди, не стыдясь своей наготы и темного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинув голову назад, и шумно заколотила ногами.

Потом он, спеша, помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться ее, только целовал ее руки и молчал от нестерпимого счастья. Все казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча тлеющего кое-где светляками, — стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:

— Постой, что это?

— Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег. Или еж в лесу...

— А если козерог?

— Какой козерог?

— Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мне так хорошо, мне хочется болтать страшные глупости!

И он опять прижимал к губам ее руки, иногда как что-то священное целовал холодную грудь. Каким совсем новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкого леса зеленоватый полусвет, слабо отражавшийся в плоско белеющей воде вдали, резко, сельдереем, пахли росистые прибрежные растения, таинственно, просительно ныли невидимые комары — и летали, летали с тихим треском над лодкой и дальше, над этой по-ночному светящейся водой, страшные, бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в старых номерах «Нивы».

— Ты меня еще не разлюбила? — тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит.

— Глупый. Ужасно глупый! — шептала она.

Вдруг послышались мягко бегущие шаги — и на пороге встала в черном шелковом истрепанном халате и истертых сафьяновых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее трагически сверкали. Она вбежала, как на сцену, и крикнула:

— Я все поняла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он, в дыму, бросился к ней, схватил ее цепкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на сизых губах еще театраль-

нее:

— Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!

Она прошептала:

— Вы, вы, мама...

Он очнулся, открыл глаза — все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из черной темноты сине-лиловый глазок над дверью, и все с той же неуклонно рвущейся вперед быстротой неся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался тот печальный полустанок. И уж целых двадцать лет тому назад было все это — перелески, сороки, болота, кувшинки, ужи, журавли... Да, ведь были еще журавли — как же он забыл о них! Все было странно в то удивительное лето, странна и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетавших от времени до времени на побережье болота, и то, что они только ее одну подпускали к себе и, выгибая тонкие, длинные шеи, с очень строгим, но благосклонным любопытством смотрели на нее

сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним в своих разноцветных чуньках, вдруг садилась перед ними на корточки, распутивши на влажной и теплой зелени прибрежья свой желтый сарафан, и с детским задором заглядывала в их прекрасные и грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темно-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали, в бинокль, и четко видел их маленькие блестящие головки, — даже их костяные ноздри, скважины крепких, больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузые туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатые трости ног не в меру длинны и тонки — у одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья; а не то важно прогуливались, выступали медленно, мерно поднимали лапы, в комок сжимая три их пальца, а ставили разла-то, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками... Впрочем, когда

она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел — видел только ее распутившийся сарафан, смертной истомой содрогаясь при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках на нем. А в тот последний их день, в то последнее их свидание рядом в гостиной на диване, над томом старой «Нивы», она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда, в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами:

— А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона!

\* \* \*

За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему:

— Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?

— Грущу, грущу, — ответил он, неприятно усмехаясь. — Дачная девица... *Amata nobis*

quantum amabitur nulla![9]

— Это по-латыни? Что это значит?

— Этому тебе не нужно знать.

— Как ты груб, — сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно.

*27 сентября 1940*

## **Красавица**

**Ч**иновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. Он был молчалив и скромн, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице — и все только руками разводили: за что и почему шли за него такие?

И вот вторая красавица спокойно вознена-

видела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме.

Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной:

— Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре.

И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, — неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: смиренно сидит

себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна... Спит он на полу между диваном и кадкой с пальмой. Он сам себе стелет постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добрашко его.

*28 сентября 1940*

### **Дурочка**

**Д**ьяконов сын, семинарист, приехавший в село к родителям на каникулы, проснулся однажды в темную жаркую ночь от жестокого телесного возбуждения и, полежав, распалил себя еще больше воображением: днем, перед обедом, подсматривал из прибрежного лозняка над заводью речки, как приходили туда с работы девки и, сбрасывая с потных белых тел через голову рубашки, с шумом и хохотом, задирая лица, выгибая спины, кидались в горячо блестящую воду; потом, не владея собой, встал, прокрался в темноте че-

рез сенцы в кухню, где было черно и жарко, как в топленной печи, нашарил, протягивая вперед руки, нары, на которых спала кухарка, нищая, безродная девка, слывшая дурочкой, и она, от страха, даже не крикнула. Жил он с ней с тех пор все лето и прижил мальчика, который и стал расти при матери в кухне. Дьякон, дьяконица, сам батюшка и весь его дом, вся семья лавочника и урядник с женой, все знали, от кого этот мальчик, и семинарист, приезжая на каникулы, видеть не мог его от злобного стыда за свое прошлое: жил с дурочкой!

Когда он кончил курс, — «блестяще!», как всем рассказывал дьякон, — и опять приехал к родителям на лето перед поступлением в академию, они в первый же праздник назвали к чаю гостей, чтобы погордиться перед ними будущим академиком. Гости тоже говорили о его блестящей будущности, пили чай, ели разные варенья, и счастливый дьякон завел среди их оживленной беседы зашипевший и потом громко закричавший граммофон. Все смолкли и с улыбками удовольствия стали слушать подмивающие звуки «По ули-

це мостовой», как вдруг в комнату влетел и неловко, не в лад заплясал, затопал кухаркин мальчик, которому мать, думая всех умилить им, сдуру шепнула: «Беги попляши, деточка». Все растерялись от неожиданности, а дьяконов сын, побагровев, кинулся на него подобно тигру и с такой силой швырнул вон из комнаты, что мальчик кубарем покатился в прихожую.

На другой день дьякон и дьяконица, по его требованию, кухарку прогнали. Они были люди добрые и жалостливые, очень привыкли к ней, полюбили ее за ее безответность, послушание и всячески просили сына смириться. Но он остался непреклонен, и его не посмели послушаться. К вечеру кухарка, тихо плача и держа в одной руке свой узелок, а в другой ручку мальчика, ушла со двора.

Все лето после того она ходила с ним по деревням и селам, побираясь Христа ради. Она обносилась, обтрепалась, спеклась на ветру и на солнце, исхудала до костей и кожи, но была неутомима. Она шла босая, с дерюжной сумой через плечо, подпираясь высокой палкой, и в деревнях и селах молча кланялась пе-

ред каждой избой. Мальчик шел за ней сзади, тоже с мешком через плечико, в старых башмаках ее, разбитых и затвердевших, как те опорки, что валяются где-нибудь в овраге.

Он был урод. У него было большое, плоское темя в кабаньей красной шерстке, носик расплющенный, с широкими ноздрями, глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил.

*28 сентября 1940*

### **Антигона**

**В** июне, из имения матери, студент поехал к дяде и тете, — нужно было проведать их, узнать, как они поживают, как здоровье дяди, лишившегося ног генерала. Студент отбывал эту повинность каждое лето и теперь ехал с покорным спокойствием, не спеша читал в вагоне второго класса, положив молодую круглую ляжку на отвал дивана, новую книжку Аверченки, рассеянно смотрел в окно, как опускались и подымались телеграфные столбы с белыми фарфоровыми чашечками в виде ландышей. Он похож был на молоденького офицера — только белый картуз с голубым

околышем был у него студенческий, все прочее на военный образец: белый китель, зеленые рейтузы, сапоги с лакированными голенищами, портсигар с зажигательным оранжевым жгутом.

Дядя и тетя были богаты. Когда он приезжал из Москвы домой, за ним высылали на станцию тяжелый тарантас, пару рабочих лошадей и не кучера, а работника. А на станции дяди он всегда вступал на некоторое время в жизнь совсем иную, в удовольствие большого достатка, начинал чувствовать себя красивым, бодрым, манерным. Так было и теперь. Он с невольным фатовством сел в легкую коляску на резиновом ходу, запряженную резвой караковой тройкой, которой правил молодой кучер в синей поддевке-безрукавке и шелковой желтой рубахе.

Через четверть часа тройка влетела, мягко играя россыпью бубенчиков и шипя по песку вокруг цветника шинами, на круглый двор обширной усадьбы, к перрону просторного нового дома в два этажа. На перрон вышел взять вещи рослый слуга в полубачках, в красном с черными полосами жилете и штиб-

летах. Студент сделал ловкий и невероятно широкий прыжок из коляски: улыбаясь и раскачиваясь на ходу, на пороге вестибюля показалась тетя — широкий чесучовый балахон на большом дряблом теле, крупное обвисшее лицо, нос якорем и под коричневыми глазами желтые подпалины. Она родственно расцеловала его в щеки, он с притворной радостью припал к ее мягкой темной руке, быстро подумав: целых три дня врать вот так, а в свободное время не знать, что с собой делать! Притворно и поспешно отвечая на ее притворно-заботливые расспросы о маме, он вошел за ней в большой вестибюль, с веселой ненавистью взглянул на несколько сторбленное чучело бурого медведя с блестящими стеклянными глазами, косолапо стоявшего во весь рост у входа на широкую лестницу в верхний этаж и услужливо державшего в когтистых передних лапах бронзовое блюдо для визитных карточек, и вдруг даже приостановился от отрадного удивления: кресло с полным, бледным, голубоглазым генералом ровно катила навстречу к нему высокая, статная красавица в сером холстинковом платье, в бе-

лом переднике и белой косынке, с большими серыми глазами, вся сияющая молодостью, крепостью, чистотой, блеском холеных рук, матовой белизной лица. Целуя руку дяди, он успел взглянуть на необыкновенную стройность ее платья, ног. Генерал пошутил:

— А вот это моя Антигона, моя добрая путешественница, хотя я и не слеп, как Эдип, и особенно на хорошеньких женщин. Познакомьтесь, молодые люди.

Она слегка улыбнулась, только поклоном ответила на поклон студента.

Рослый слуга в полубачках и в красном жилете провел его мимо медведя наверх, по блестящей темно-желтым деревом лестнице с красным ковром посередине и по такому же коридору, ввел в большую спальню с мраморной туалетной комнатой рядом — на этот раз в какую-то другую, чем прежде, и окнами в парк, а не во двор. Но он шел, ничего не видя. В голове все еще вертелась веселая чепуха, с которой он въехал в усадьбу, — «мой дядя самых честных правил», — но стояло уже и другое: вот так женщина!

Напевая, он стал бриться, мыться и пере-

одеваться, надел штаны со штрипками, думая:

«Бывают же такие женщины! И что можно отдать за любовь такой женщины! И как же это при такой красоте катать стариков и старух в креслах на колесиках!»

И в голову шли нелепые мысли: вот взять и остаться тут на месяц, на два, втайне ото всех войти с ней в дружбу, в близость, вызвать ее любовь, потом сказать: будьте моей женой, я весь и навеки ваш. Мама, тетя, дядя, их изумление, когда я заявлю им о нашей любви и нашем решении соединить наши жизни, их негодование, потом уговоры, крики, слезы, проклятия, лишение наследства — все для меня ничто ради вас...

Сбегая с лестницы к тете и дяде, — их покой были внизу, — он думал: «Какой, однако, вздор лезет мне в голову! Остаться тут под каким-нибудь предлогом, разумеется, можно... можно начать незаметно ухаживать, прикинуться безумно влюбленным... Но добьешься ли чего-нибудь? А если и добьешься, что дальше? Как развязаться с этой историей? Правда, что ли, жениться?»

С час он сидел с тетей и дядей в его огромном кабинете с огромным письменным столом, с огромной тахтой, покрытой туркестанскими тканями, с ковром на стене над ней, крест-накрест увешанным восточным оружием, с инкрустированными столиками для курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой рамке под золотой коронкой, на котором был собственноручный вольный росчерк: Александр.

— Как я рад, дядя и тетя, что я опять с вами, — сказал он под конец, думая о сестре. — И как тут чудесно у вас! Ужасно будет жаль уезжать.

— А кто же тебя гонит? — ответил дядя. — Куда тебе спешить? Живи себе, покуда не наскучит.

— Разумеется, — сказала тетя рассеянно.

Сидя и беседуя, он непрестанно ждал: вот-вот войдет она — объявит горничная, что готов чай в столовой, и она придет катить дядю. Но чай подали в кабинет — вкатили стол с серебряным чайником на спиртовке, и тетя разливала сама. Потом он все надеялся, что она принесет какое-нибудь лекарство дяде... Но

она так и не пришла.

«Ну и черт с ней», — подумал он, выходя из кабинета, вошел в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо, в двери зала, где в предвечернем свете отсвечивали в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля, потом прошел налево, в гостиную, за которой была диванная; из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветно-яркому цветнику, обошел его и побрел по высокой тенистой аллее... На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще два часа.

В семь с половиной в вестибюле завыл гонг. Он первый вошел в празднично сверкающую люстрой столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар во всем белом и подкрахмаленном, худощекий лакей во фраке и белых вязаных перчатках и маленькая горничная, по-французски субтильная. Через минуту молочно-седой королевой, покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на щиколках, над тесными шелковыми туфлями, и наконец-то она. Но, под-

катив дядю к столу, она тотчас, не оборачиваясь, плавно вышла — студент успел только заметить странность ее глаз: они не моргали. Дядя покрестил грудь светло-серой генеральской тужурки мелкими крестиками, тетя и студент истово перекрестились стоя, потом именнинно сели, развернули блестящие салфетки. Размытый, бледный, с причесанными мокрыми жидкими волосами, дядя особенно явно показывал свою безнадежную болезнь, но говорил и ел много и со вкусом, пожимал плечами, говоря о войне, — это было время Русско-японской войны: за коим чертом мы затеяли ее! Лакей служил оскорбительно-безучастно, горничная, помогая ему, семенила изящными ножками, повар отпускал блюда с важностью истукана. Ели горячую, как огонь, налимью уху, кровавый ростбиф, молодой картофель, посыпанный укропом. Пили белое и красное вино князя Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, поддакивал с веселыми улыбками, но, как попугай, с тем вздором в голове, с которым давеча переодевался, думал: а где же обедает она, неужели с прислугой? и ждал минуты, когда она

опять придет, увезет дядю и потом где-нибудь встретится с ним, и он перекинется с ней хоть несколькими словами. Но она пришла, укатила кресло и опять где-то скрылась.

Ночью осторожно и старательно пели в парке соловьи, входила в открытые окна спальни свежесть воздуха, росы и политых на клумбах цветов, холодило постельное белье голландского полотна. Студент полежал в темноте и уже решил перевернуться к стене и заснуть, но вдруг поднял голову, привстал: раздеваясь, он увидал в стене у изголовья кровати небольшую дверь, из любопытства повернул в ней ключ и нашел за ней вторую, попробовал ее, но оказалось, что она заперта снаружи; теперь за этими дверями кто-то мягко ходил, что-то таинственно делал; и он затаил дыхание, соскользнул с кровати, отворил первую дверь, прислушался: что-то тихо зазвенело на полу за второй дверью... Он похолодел: неужели это ее комната! Он приник к замочной скважине, — ключа в ней, к счастью, не было, — увидал свет, край туалетного женского стола, потом что-то белое, вдруг вставшее и все закрывшее... Было несомнен-

но, что это ее комната, — чья же иначе? Не поместят же тут горничную, а Марья Ильинишна, старая горничная тети, спит внизу возле тетиной спальни. И он точно заболел сразу ее ночной близостью вот тут, за стеною, и ее недоступностью. Он долго не спал, проснулся поздно и тотчас опять почувствовал, мысленно увидел, представил себе ее ночную прозрачную сорочку, босые ноги в туфлях...

«Впору нынче же уехать!» — подумал он, закуривая.

Утром пили кофе каждый у себя. Он пил, сидя в широкой ночной рубаше дяди, в его шелковом халате, и с грустью бесполезности рассматривал себя, распахнув халат.

За завтраком в столовой было сумрачно и скучно. Он завтракал только с тетей, погода была плохая, — за окнами мотались от ветра деревья, над ними сгущались облака и тучи...

— Ну, милый, я тебя покидаю, — сказала тетя, вставая и крестясь. — Развлекайся, как можешь, а меня и дядю уж извини по нашим немощам, мы до чаю сидим по своим углам. Верно, дождь будет, а то бы ты мог прокатить-

ся верхом...

Он бодро ответил:

— Не беспокойтесь, тетя, я займусь чтением...

И пошел в диванную, где все стены были в полках с книгами.

Проходя туда по гостиной, он подумал, что, может быть, все-таки следует приказать оседлать лошадь. Но в окна были видны разнообразные дождевые облака и неприятная металлическая лазурь среди лиловатых туч над качающимися вершинами деревьев. Он вошел в уютную, пахнущую сигарным дымом диванную, где под полками с книгами кожаные диваны занимали целых три стены, посмотрел некоторые корешки чудесно переплетенных книг — и беспомощно сел, утонул в диване. «Да, адова скука. Хоть бы просто так увидеть ее, поболтать с нею... узнать, какой у ней голос, какой характер, глупа ли она или, напротив, очень себе на уме, скромно ведет свою роль до какой-нибудь благоприятной поры. Вероятно, очень блюдущая себя и знающая себе цену стерва. И скорее всего глупа... Но до чего хороша! И опять ночевать рядом с

ней!» — Он встал, отворил стеклянную дверь на каменные ступени в парк, услышал щелканье соловьев за его шумом, но тут так понесло прохладным ветром по каким-то молодым деревьям влево, что он вскочил в комнату. Комната потемнела, ветер летел по этим деревьям, пригнув их свежую зелень, и стекла двери и окон заискрились острыми брызгами мелкого дождя.

— А им все нипочем! — громко сказал он, слушая долетающее со всех сторон из-за ветра, то отдаленное, то близкое, щелканье соловьев. И в ту же минуту услышал ровный голос:

— Добрый день.

Он взглянул и оторопел: в комнате стояла она.

— Пришла обменять книгу, — сказала она с приветливым бесстрашием. — Только и радости, что книги, — прибавила она с легкой улыбкой и подошла к полкам.

Он пробормотал:

— Добрый день. Я и не слышал, как вы вошли...

— Очень мягкие ковры, — ответила она и, обернувшись, уже длительно посмотрела на

него своими неморгающими серыми глазами.

— А что вы любите читать? — спросил он, немного смелее встречая ее взгляд.

— Сейчас читаю Мопассана, Октава Мирбо...

— Ну да, это понятно. Мопассан всем женщинам нравится. У него все о любви.

— А что же может быть лучше любви?

Голос ее был скромн, глаза тихо улыбались.

— Любовь, любовь! — сказал он, вздыхая. — Бывают удивительные встречи, но... Ваше имя-отчество, сестра?

— Катерина Николаевна. А ваше?

— Зовите меня просто Павлик, — ответил он, все больше смелея.

— Вы думаете, что я вам тоже в тети го- жусь?

— Дорого бы я дал иметь такую тетю! Пока я только ваш несчастный сосед.

— Неужели это несчастье?

— Я слышал вас нынче ночью. Ваша комната, оказывается, рядом с моей.

Она безразлично засмеялась:

— И я вас слышала. Нехорошо подслуши-

вать и подсматривать.

— Как вы непозволительно красивы! — сказал он, в упор рассматривая серую пестроту ее глаз, матовую белизну ее лица и лоск темных волос под белой косынкой.

— Вы находите? И хотите не позволить мне быть такой?

— Да. Одни ваши руки могут с ума свести...

И он с веселой дерзостью схватил левой рукой ее правую руку. Она, стоя спиной к полкам, взглянула через его плечо в гостиную и не отняла руки, глядя на него со странной усмешкой, точно ожидая: ну, а дальше что? Он, не выпуская ее руки, крепко сжал ее, оттягивая книзу, правой рукой охватил ее поясницу. Она опять взглянула через его плечо и слегка откинула голову, как бы защищая лицо от поцелуя, но прижалась к нему выгнутым станом. Он, с трудом переводя дыхание, потянулся к ее полураскрытым губам и двинул ее к дивану. Она, нахмурясь, закачала головой, шепча: «Нет, нет, нельзя, лежа мы ничего не увидим и не услышим...» — и с потускневшими глазами медленно раздвинула ноги... Через минуту он упал лицом к ее пле-

чу. Она еще постояла, стиснув зубы, потом тихо освободилась от него и стройно пошла по гостиной, громко и безразлично говоря под шум дождя:

— О, какой дождь! А наверху все окна открыты...

На другое утро он проснулся в ее постели — она повернулась в нагретом за ночь, сбитом постельном белье на спину, закинув голую руку за голову. Он открыл глаза и радостно встретил ее неморгающий взгляд, с обморочным головокружением почувствовал терпкий запах ее подмышки...

В дверь кто-то торопливо постучался.

— Кто там? — спокойно спросила она, не отстраняя его. — Это вы, Марья Ильинишна?

— Я, Катерина Николаевна.

— В чем дело?

— Позвольте войти, боюсь, кто-нибудь меня услышит, побежит и напугает генеральшу...

Когда он выскочил в свою комнату, она не спеша повернула ключ в замке.

— Его превосходительству что-то нехорошо, надо, думаю, пикюр сделать, — зашепта-

ла, входя, Марья Ильинишна. — Слава богу, генеральша еще спит, идите скорее...

Глаза Марьи Ильинишны уже круглились, как у змеи: говоря, она вдруг увидала возле кровати мужские туфли, — студент убежал босиком. И она тоже увидала туфли и глаза Марьи Ильинишны.

Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать: стала спокойно врать, что получила письмо от отца, — известие, что ее брат тяжело ранен в Маньчжурии, что отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе...

— Ах, как я понимаю вас! — сказала генеральша, уже все знавшая от Марьи Ильинишны. — Ну что ж делать, поезжайте. Только пошлите со станции депешу доктору Кривцову, чтобы он немедленно приехал и побыл у нас, пока мы найдем другую сестру...

Потом она постучалась к студенту и сунула ему записочку: «Все пропало, я уезжаю. Старуха увидала возле кровати ваши туфли. Не поминайте лихом».

За завтраком тетя была только немного печальна, но говорила с ним как ни в чем не

бывало.

— Ты слышал? Сестра уезжает к отцу, он один, брат ее страшно ранен...

— Слышал, тетя. Вот несчастье эта война, сколько горя повсюду. А что все-таки было с дядей?

— Ах, слава богу, ничего серьезного. Он ужасно мнителен. Сердце будто, но все это от желудка...

В три часа Антигону увезли на тройке на станцию. Он, не поднимая глаз, простился с ней на перроне, будто случайно выбежав, чтобы велеть оседлать лошадь. Он готов был кричать от отчаяния. Она помахала ему из коляски перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке.

*2 октября 1940*

## **Смарагд**

**Н**очная синяя чернота неба в тихо плывущих облаках, везде белых, а возле высокой луны голубых. Приглядишься — не облака плывут — луна плывет, и близ нее, вместе с ней, льется золотая слеза звезды: луна плавно уходит в высоту, которой нет дна, и уносит

с собой все выше и выше звезду.

Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна и, отклонив голову, смотрит вверх — голова у нее немного кружится от движения неба. Он стоит у ее колен.

— Какой это цвет? Не могу определить! А вы, Толя, можете?

— Цвет чего, Киса?

— Не зовите меня так, я уж тысячу раз говорила вам...

— Слушаю-с, Ксения Андреевна.

— Я говорю про это небо среди облаков. Какой дивный цвет! И страшный и дивный. Вот уж правда небесный, на земле таких нет. Смарагд какой-то.

— Раз он в небе, так, конечно, небесный. Только почему смарагд? И что такое смарагд? Я его в жизни никогда не видал. Вам просто это слово нравится.

— Да. Ну, я не знаю, — может, не смарагд, а яхонт... Только такой, что, верно, только в раю бывает. И когда вот так смотришь на все это, как же не верить, что есть рай, ангелы, Божий престол...

— И золотые груши на вербе...

— Какой вы испорченный, Толя. Правду говорит Марья Сергеевна, что самая дурная девушка все-таки лучше всякого молодого человека.

— Сама истина глаголет ее устами, Киса.

Платьице на ней ситцевое, рябенькое. Башмаки дешевые; икры и колени полные, девичьи, круглая головка с небольшой косой вокруг нее так мило откинута назад... Он кладет руку на ее колено. Другой обнимает ее за плечи и полушутя целует в приоткрытые губы. Она тихо освобождается, снимает его руку с колена.

— Что такое? Мы обиделись?

Она прижимается затылком к косяку окна, и он видит, что она, прикусив губу, удерживает слезы.

— Да в чем дело?

— Ах, оставьте меня...

— Да что случилось?

Она шепчет:

— Ничего...

И, соскочив с подоконника, убегает.

Он пожимает плечами:

— Глупа до святости!

3 октября 1940

## Волки

Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками — мелкопоместной барышней и юношей-гимназистом. Пасмурные зарницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами, в простой упряжи, и картуз и плечи малого в замашной рубаше на козлах, на мгновение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум, крик, трусливый лай и визг собак: с удивительной дерзостью, когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унес ее — вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили ее, уже околевавшую, с разорванным боком. Теперь барышня нервно хохочет, зажигает и бросает в темноту спички, весело крича:

— Волков боюсь!

Спички освещают удлиненное, грубоватое

лицо юноши и ее возбужденное широкоску-  
лое личико. Она кругло, по-малорусски, повязана красным платочком, свободный вырез красного ситцевого платья открывает ее круг-  
лую, крепкую шею. Качаясь на бегу тележки, она жжет и бросает в темноту спички, будто не замечая, что гимназист обнимает ее и целует то в шею, то в щеку, ищет ее губы. Она отодвигает его локтем, он намеренно громко и просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей:

— Отдайте спички. Мне закурить нечем будет.

— Сейчас, сейчас! — кричит она, и опять вспыхивает спичка, потом зарница, и тьма еще гуще слепит теплой чернотой, в которой все кажется, что тележка катится назад. Наконец она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком мотнув их обоих, тележка точно натывается на что-то — мальи́й круто осаживает лошадей.

— Волки! — вскрикивает он.

В глаза бьет зарево пожара вдали направо. Тележка стоит против того леска, что открылся при зарницах. Лесок от зарева стал те-

перь черным и весь зыбко дрожит, как дрожит и все поле перед ним в сумрачно-красном трепете от того жадно несущегося в небе пламени, которое, несмотря на даль, полыхает с бегущими в нем тенями дыма точно в версте от тележки, разъяряется все жарче и грознее, охватывает горизонт все выше и шире, — кажется, что жар его уже доходит до лица, до рук, виден даже над чернотой земли красный переплет какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят, багрово серея, три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный — прозрачный и яркий, как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют вбок, влево, по пашне, малый, на вожжах, валится назад, а тележка, со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметам...

Где-то над оврагом лошади еще раз взметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Тут она с размаху полетела в козлы и рассекла щеку об что-то железное. Так и остался на всю жизнь легкий шрам в уголке ее губ, и, когда у ней

спрашивали, отчего это, она с удовольствием улыбалась.

— Дела давно минувших дней! — говорила она, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и темные ночи, молотьбу на гумне, ометы новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко-мгновенные дуги падающих звезд. — Волки испугали, лошади понесли, — говорила она. — А я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их...

Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную улыбку.

*7 октября 1940*

### **Визитные карточки**

**Б**ыло начало осени, бежал по опустевшей Волге пароход «Гончаров». Завернули ранние холода, туго и быстро дул навстречу, по серым разливам ее азиатского простора, с ее восточных, уже порыжевших берегов, студеный ветер, трепавший флаг на корме, шляпы, картузы и одежды ходивших по палубе, морщивший им лица, бивший в рукава и полы. И

бесцельно и скучно провожала пароход единственная чайка — то летела, выпукло кренясь на острых крыльях, за самой кормой, то косо смывалась вдаль, в сторону, точно не зная, что с собой делать в этой пустыне великой реки и осеннего серого неба.

И пароход был почти пуст, — только артиль мужиков на нижней палубе, а по верхней ходили взад и вперед, встречаясь и расходясь, всего трое: те два из второго класса, что оба плыли куда-то в одно и то же место и были неразлучны, гуляли всегда вместе, все о чем-то деловито говоря, и были похожи друг на друга незаметностью, и пассажир первого класса, человек лет тридцати, недавно прославившийся писатель, заметный своей не то печальной, не то сердитой серьезностью и отчасти наружностью: он был высок, крепок, — даже слегка гнулся, как некоторые сильные люди, — хорошо одет и в своем роде красив: брюнет того русско-восточного типа, что встречается в Москве среди ее старинного торгового люда; он и вышел из этого люда, хотя ничего общего с ним уже не имел.

Он одиноко ходил твердой поступью, в до-

рогой и прочной обуви, в черном шевиотовом пальто и клетчатой английской каскетке, шагал взад и вперед, то навстречу ветру, то под ветер, дыша этим сильным воздухом осени и Волги. Он доходил до кормы, стоял на ней, глядя на расстилавшуюся и бегущую серой зыбью сзади парохода реку, и опять, резко повернувшись, шел к носу, на ветер, нагибая голову в надувшейся каскетке и слушая мерный стук колесных плиц, с которых стеклянным холстом катилась шумящая вода. Наконец он вдруг приостановился и хмуро улыбнулся: показалась поднимавшаяся из пролета лестницы, с нижней палубы, из третьего класса, черная дешевенькая шляпка и под ней испитое, милое лицо той, с которой он случайно познакомился вчера вечером. Он пошел к ней навстречу широкими шагами. Вся поднявшись на палубу, неловко пошла и она на него и тоже с улыбкой, подгоняемая ветром, вся косясь от ветра, придерживая худой рукой шляпку, в легком пальтишке, под которым видны были тонкие ноги.

— Как изволили почивать? — громко и мужественно сказал он на ходу.

— Отлично! — ответила она неумеренно весело. — Я всегда сплю, как сурок...

Он задержал ее руку в своей большой руке и посмотрел ей в глаза. Она с радостным усилием встретила его взгляд.

— Что ж вы так заспались, ангел мой, — сказал он фамильярно. — Добрые люди уже завтракают.

— Все мечтала! — ответила она бойко, совсем несоответственно всему своему виду.

— О чем же это?

— Мало ли о чем!

— Ой, смотрите! «Так тонут маленькие дети, купаясь летнею порой, чеченец ходит за рекой».

— Вот чеченца-то я и жду! — ответила она с той же веселой бойкостью.

— Пойдем лучше водку пить и уху есть, — сказал он, думая: ей и завтракать-то, верно, не на что.

Она кокетливо затопала ногами:

— Да, да, водки, водки! Чертов холод!

И они скорым шагом пошли в столовую первого класса, она впереди, он за нею, уже с некоторой жадностью осматривая ее.

Он вспоминал о ней ночью. Вчера, случайно заговорив с ней и познакомившись у борта парохода, подходившего в сумерки к какому-то черному высокому берегу, под которым уже рассыпаны были огни, он потом посидел с ней на палубе, на длинной лавке, идущей вдоль кают первого класса, под их окнами с белыми сквозными ставнями, но посидел мало и ночью жалел об этом. К удивлению своему, он ночью понял, что уже хотел ее. Почему? По привычке дорожного влечения к случайным и неизвестным спутницам? Теперь, сидя с ней в столовой, чокаясь рюмками под холодную зернистую икру с горячим калачом, он уже знал, почему так влечет его она, и нетерпеливо ждал доведения дела до конца. Оттого, что все это — и водка и ее развязность — было в удивительном противоречии с ней, он внутренне волновался все больше.

— Ну-с, еще по единой, и шабаш! — говорит он.

— И правда шабаш, — отвечает она в тон ему. — А замечательная водка!

Конечно, она тронула его тем, что так потерялась вчера, когда он назвал ей свое имя,

поражена была неожиданным знакомством с известным писателем, — чувствовать и видеть эту растерянность было, как всегда, приятно, это всегда располагает к женщине, если она не совсем дурна и глупа, сразу создает некоторую интимность между тобой и ею, дает смелость в обращении с нею и уже как бы некоторое право на нее. Но не одно это возбуждало его: он, видимо, поразил ее и как мужчина, а она его тронула именно всей своей бедностью и простосердечностью. Он уже усвоил себе бесцеремонность с поклонницами, легкий и скорый переход от первых минут знакомства с ними к вольности обращения, якобы артистического, и эту наигранную простоту расспросов: кто вы такая? откуда? замужняя или нет? Так расспрашивал он и вчера — глядел в сумрак вечера на разноцветные огни на бакенах, длинно отражавшиеся в темнеющей воде вокруг парохода, на красногоревший костер на плотках, чувствовал запах дымка оттуда, думая: «Это надо запомнить — в этом дымке тотчас чудится запах ухи», — и расспрашивал:

— Можно узнать, как зовут?

Она быстро сказала свое имя-отчество.

— Возвращаетесь откуда-нибудь домой?

— Была в Свяжске у сестры, у нее внезапно умер муж, и она, понимаете, осталась в ужасном положении...

Она сперва так смущалась, что все смотрела куда-то вдаль. Потом стала отвечать смелее.

— А вы тоже замужем?

Она начала странно усмехаться:

— Замужем. И, увы, уже не первый год...

— Почему увы?

— Выскочила по глупости чересчур рано. Не успеешь оглянуться, как жизнь пройдет!

— Ну, до этого еще далеко.

— Увы, недалеко! А я еще ничего, ничего не испытала в жизни!

— Еще не поздно испытать.

И тут она вдруг с усмешкой потрянула головой:

— И испытаю!

— А кто ваш муж? Чиновник?

Она махнула ручкой:

— Ах, очень хороший и добрый, но, к сожалению, совсем неинтересный человек... Сек-

ретарь нашей земской уездной управы...

«Какая милая и несчастная!» — подумал он и вынул портсигар:

— Хотите папиросу?

— Очень!

И она неумело, но отважно закурила, быстро, по-женски затягиваясь. И в нем еще раз дрогнула жалость к ней, к ее развязности, а вместе с жалостью — нежность и сладострастное желание воспользоваться ее наивностью и запоздалой неопытностью, которая, он уже чувствовал, непременно соединится с крайней смелостью. Теперь, сидя в столовой, он с нетерпением смотрел на ее худые руки, на увядшее и оттого еще более трогательное личико, на обильные, кое-как убранные темные волосы, которыми она все встряхивала, сняв черную шляпку и скинув с плеч, с бумагейного платья, серое пальтишко. Его умиляла и возбуждала та откровенность, с которой она говорила с ним вчера о своей семейной жизни, о своем немолодом возрасте, и то, что она вдруг так расхрабрилась теперь, делает и говорит как раз то, что так удивительно не идет к ней. Она слегка покраснелась от вод-

ки, даже бледные губы ее порозовели, глаза налились сонно-насмешливым блеском.

— Знаете, — сказала она вдруг, — вот мы говорили о мечтах; знаете, о чем я больше всего мечтала гимназисткой? Заказать себе визитные карточки! Мы совсем обеднели тогда, продали остатки имения и переехали в город, и мне совершенно некому было давать их, а как я мечтала! Ужасно глупо...

Он сжал зубы и крепко взял ее ручку, под тонкой кожей которой чувствовались все косточки, но она, совсем не поняв его, сама, как опытная обольстительница, поднесла ее к его губам и томно посмотрела на него.

— Пойдем ко мне...

— Пойдем... Здесь, правда, что-то душно, накурено!

И, встряхнув волосами, взяла шляпку.

Он в коридоре обнял ее. Она гордо, с негой посмотрела на него через плечо. Он с ненавистью страсти и любви чуть не укусил ее в щеку. Она, через плечо, вакхически подставила ему губы.

В полусвете каюты с опущенной на окне сквозной решеткой она тотчас же, спеша уго-

дить ему и до конца дерзко использовать все то неожиданное счастье, которое вдруг выпало на ее долю с этим красивым, сильным и известным человеком, расстегнула и стоптала с себя упавшее на пол платье, осталась, стройная, как мальчик, в легонькой сорочке, с голыми плечами и руками и в белых панталончиках, и его мучительно пронзила невинность всего этого.

— Все снять? — шепотом спросила она, совсем как девочка.

— Все, все, — сказал он, мрачней все более.

Она покорно и быстро переступила из всего сброшенного на пол белья, осталась вся голая, серо-сиреневая, с той особенностью женского тела, когда оно нервно зябнет, становится туго и прохладно, покрываясь гусиной кожей, в одних дешевых серых чулках с простыми подвязками, в дешевых черных туфельках, и победоносно-пьяно взглянула на него, берясь за волосы и вынимая из них шпильки. Он, холодея, следил за ней. Телом она оказалась лучше, моложе, чем можно было думать. Худые ключицы и ребра выделялись в соответствии с худым лицом и тонки-

ми голеньями. Но бедра были даже крупны. Живот с маленьким глубоким пупком был впалый, выпуклый треугольник темных красивых волос под ним соответствовал обилию темных волос на голове. Она вынула шпильки, волосы густо упали на ее худую спину в выступающих позвонках. Она наклонилась, чтобы поднять спадающие чулки, — маленькие груди с озябшими, сморщившимися коричневыми сосками повисли тощими грушками, прелестными в своей бедности. И он заставил ее испытать то крайнее бесстыдство, которое так не к лицу было ей и потому так возбуждало его жалостью, нежностью, страстью... Между планок оконной решетки, косо торчавших вверх, ничего не могло быть видно, но она с восторженным ужасом косилась на них, слышала беспечный говор и шаги проходящих по палубе под самым окном, и это еще страшнее увеличивало восторг ее развратности. О, как близко говорят и идут — и никому и в голову не приходит, что делается на шаг от них, в этой белой каюте!

Потом он ее, как мертвую, положил на койку. Сжав зубы, она лежала с закрытыми

глазами и уже со скорбным успокоением на побледневшем и совсем молодом лице.

Перед вечером, когда пароход причалил там, где ей нужно было сойти, она стояла возле него тихая, с опущенными ресницами. Он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, что остается где-то в сердце на всю жизнь, и она, не оглядываясь, побежала вниз по сходням в грубую толпу на пристани.

*5 октября 1940*

### **Зойка и Валерия**

**З**имой Левицкий проводил все свое свободное время в московской квартире Данилевских, летом стал приезжать к ним на дачу в сосновых лесах по Казанской дороге.

Он перешел на пятый курс, ему было двадцать четыре года, но у Данилевских только сам доктор говорил ему «коллега», а все остальные звали его Жоржем и Жоржиком. По причине одиночества и влюбчивости, он постоянно привязывался к какому-нибудь знакомому дому, скоро становился в нем своим человеком, гостем изо дня в день и даже с утра до вечера, если позволяли занятия, — те-

перь стал он таким у Данилевских. И тут не только хозяйка, но даже дети, очень полная Зойка и ушастый Гришка, обращались с ним, как с каким-нибудь дальним и бездомным родственником. Был он с виду очень прост и добр, услужлив и неразговорчив, хотя с большой готовностью отзывался на всякое слово, обращенное к нему.

Пациентам Данилевского отворяла дверь пожилая женщина в больничном платье, они входили в просторную прихожую, устланную коврами и обставленную тяжелой старинной мебелью, и женщина надевала очки, с карандашом в руке строго смотрела в свой дневник и одним назначала день и час будущего приема, а других вводила в высокие двери приемной, и там они долго ждали вызова в соседний кабинет, на допрос и осмотр к молодому ассистенту в сахарно-белом халате, и только уже после этого попадали к самому Данилевскому, в его большой кабинет с высоким одром у задней стены, на который он заставлял некоторых из них влезать и ложиться в самой жалкой и неловкой от страха позе: пациентов все смущало — не только ассистент

и женщина в прихожей, где с такой гробовой медлительностью, блистая, ходил из стороны в сторону медный диск маятника в старинных стоячих часах, но и весь важный порядок этой богатой, просторной квартиры, это выжидательное молчание приемной, где никто не смел сделать лишнего вдоха, и все они думали, что это какая-то совсем особенная, вечно безжизненная квартира и что сам Данилевский, высокий, плотный, грубоватый, вряд ли хоть раз в году улыбается. Но они ошибались: в той жилой части квартиры, куда вели двойные двери из прихожей направо, почти всегда было шумно от гостей, со стола в столовой не сходил самовар, бегала горничная, добавляя к столу то чашек и стаканов, то вазочек с вареньем, то сухарей и булочек, и Данилевский даже в часы приема нередко пробегал туда по прихожей на цыпочках и, пока пациенты ждали его, думая, что он страшно занят каким-нибудь тяжелобольным, сидел, пил чай, говорил про них гостям: «Хай трошки подождут, матери их черт!» Однажды, сидя так и с усмешкой поглядывая на Левицкого, на сухую худобу и некоторую гнупость его те-

ла, на его слегка кривые ноги и впалый живот, на обтянутое тонкой кожей лицо в веснушках, ястребиные глаза и рыжие, круто вьющиеся волосы, Данилевский сказал:

— А признайтесь, коллега: ведь есть в вас какая-нибудь восточная кровь, жидовская, например, или кавказская?

Левицкий ответил со своей неизменной готовностью к ответам:

— Никак нет, Николай Григорьевич, жидовской нет. Есть польская, есть, может быть, ваша украинская, — ведь Левицкие есть и украинцы, — слышал от деда, будто есть и турецкая, но правда ли, один аллах ведает.

И Данилевский с удовольствием расхохотался:

— Ну вот, я все-таки угадал! Так что будьте осторожны, дамы и девицы, он турок и вовсе не такой скромник, как вы думаете. Да и влюбчив он, как вам известно, по-турецки. Чей теперь черед, коллега? Кто теперь дама вашего широкого сердца?

— Дария Тадиевна, — быстро залившись тонким огнем, ответил Левицкий с простосердечной улыбкой — он часто так краснел и

улыбался.

Очаровательно смутилась, так что даже ее смородинные глаза как будто на миг куда-то пропали, и сама Дария Тадиевна, миловидная, с синеватым пушком на верхней губе и вдоль щек, в черном шелковом чепчике после тифа, полулежавшая в кресле.

— Что ж, это ни для кого не секрет и вполне понятно, — сказала она, — ведь во мне тоже восточная кровь...

И Гриша сладострастно заорал: «А, попались, попались!», а Зойка выбежала в соседнюю комнату и с разбега упала спиной к отвалу дивана с раскосившимися глазами.

Действительно, зимой Левицкий был скрытно влюблен в Дарию Тадиевну, а до нее испытывал некоторые чувства и к Зойке. Ей было всего четырнадцать лет, но она уже была очень развита телесно, сзади особенно, хотя еще по-детски были нежны и круглы ее сизые голые колени под короткой шотландской юбочкой. Год тому назад ее взяли из гимназии, не учили и дома, — Данилевский нашел в ней зачатки какой-то мозговой болезни, — и она жила в беспечном безделье, никогда не

скучая. Она так была со всеми ласкова, что даже облизывалась. Она была крутолоба, у нее был наивно-радостный, как будто всегда чему-то удивленный взгляд маслянистых синих глаз и всегда влажные губы. При всей полноте ее тела в нем было грациозное кокетство движений. Красный бант, завязанный в ее орехом переливающихся волосах, делал ее особенно соблазнительной. Она свободно садилась на колени к Левицкому — как бы невинно, ребячески — и, верно, чувствовала, что втайне испытывает он, держа ее полноту, мягкость и тяжесть и отводя глаза от ее голых колен под клетчатой юбочкой. Иногда он не выдерживал, как бы шутя целовал ее в щеку, и она закрывала глаза, томно и насмешливо улыбалась. Она однажды шепотом сказала ему под страшным секретом то, что только она одна в мире знала про маму: мама влюблена в молодого доктора Титова! Маме сорок лет, но ведь она стройна, как барышня, и страшно моложава, и оба они, и мама и доктор, такие красивые и высокие ростом! Потом Левицкий стал невнимателен к ней — стала появляться в доме Дария Тадиевна. Зойка сде-

лалась еще как будто веселее, беспечнее, но не сводила глаз ни с нее, ни с Левицкого, часто с криком кидалась целовать ее, но так ненавидела, что, когда та заболела тифом, каждый день ждала радостной вести из больницы о ее смерти. А потом она ждала ее отъезда — и лета, когда Левицкий, освободившись от занятий, начнет ездить к ним на дачу по Казанской дороге, где Данилевские жили летом уже третий год: она тайком вела некоторую охоту на него.

И вот лето пришло, и он стал приезжать каждую неделю на два, на три дня. Но тут вскоре приехала гостить племянница папы из Харькова, Валерия Остроградская, которой ни Зойка, ни Гришка никогда еще не видали. Левицкого послали рано утром в Москву встречать ее на Курском вокзале, и со станции он приехал не на велосипеде, а сидя с ней в тележке станционного извозчика, усталый, с провалившимися глазами, радостно взволнованный. Видно было, что он еще на Курском вокзале влюбился в нее, и она обращалась с ним уже повелительно, когда он вытаскивал из тележки ее вещи. Впрочем, взбе-

жав на крыльцо навстречу маме, она тотчас забыла о нем и потом не замечала его весь день. Она показалась Зойке непонятной, — разбирая вещи в своей комнате и сидя потом на балконе за завтраком, она то очень много говорила, то неожиданно смолкала, думала что-то свое. Но она была настоящая малороссийская красавица! И Зойка приставала к ней с неугомонной настойчивостью:

— А вы привезли с собой сафьяновые сапожки и плахту? Вы наденете их? Вы позволите называть вас Валечкой?

Но и без малороссийского наряда она была очень хороша: крепкая, ладная, с густыми темными волосами, с бархатными бровями, почти сросшимися, с грозными глазами цвета черной крови, с горячим темным румянцем на загорелом лице, с ярким блеском зубов и полными вишневыми губами. Руки у нее были маленькие, но тоже крепкие, ровно загорелые, точно слегка прокопченные. А какие плечи! И как сквозили на них под тонкой белой блузкой шелковые розовые ленточки, державшие сорочку! Юбка была довольно короткая, совсем простая, но удивительно сиде-

ла на ней. Зойка так восхищалась, что даже не ревновала Левицкого, который перестал уезжать в Москву и не отходил от Валерии, счастливый тем, что она приблизила его к себе, тоже стала называть Жоржем и то и дело что-нибудь приказывала ему. Дальше дни пошли совсем летние, жаркие, гости все чаще приезжали из Москвы, и Зойка заметила, что Левицкий получил отставку, сидит все больше возле мамы, помогает ей чистить малину, что Валерия влюбилась в доктора Титова, в которого тайно влюблена мама. С Валерией вообще что-то случилось — когда не было гостей, она перестала менять нарядные блузки, как делала прежде, иногда с утра до вечера ходила в мамином пеньюаре и вид имела брезгливый. Было страшно интересно: целовалась она с Левицким до своей влюбленности в Титова или нет? Гришка клялся, что видел, как она с Левицким шла раз перед обедом с купанья по еловой аллее, повязанная, как чалмой, полотенцем, как Левицкий тащил, спотыкаясь, ее мокрую простыню и что-то часто, часто говорил и как она приостановилась, а он вдруг схватил ее за плечо и поце-

ловал в губы.

— Я прижался за елью, и они не видали меня, — горячо говорил Гришка, выкатывая глаза, — а я все видел. Она была страшно красивая, только вся красная, было еще страшно жарко, и она, конечно, перекупалась, ведь она всегда по два часа сидит в воде и плавает, я это тоже подсмотрел, она голая прямо наяда, а он говорил, говорил, вот уж правда как турок...

Гришка клялся, но он любил выдумывать всякие глупости, и Зойка верила и не верила.

По субботам и воскресеньям поезда, приходящие на станцию из Москвы, даже утром были переполнены народом, праздничными гостями дачников. Иногда шел тот прелестный дождь сквозь солнце, когда зеленые вагоны, обмытые им, блестели, как новенькие, белые клубы дыма из паровоза казались особенно мягкими, а зеленые вершины сосен, стройно и часто стоявших за поездом, круглились необыкновенно высоко в ярком небе. Приезжие наперебой хватали на изрытом горячем песке за станцией извозчицьи тележки и с дачной отрадой катили по песчаным дорогам

в просеках бора, под небесными лентами над ними. Наступило полное дачное счастье в бору, который без конца покрывал окрест сухую, слегка волнистую местность. Дачники, водившие московских гостей гулять, говорили, что тут недостает только медведей, декламировали «и смолой и земляникой пахнет темный бор» и аукались, наслаждались своим летним благополучием, праздностью и вольностью одежды — косоворотками навыпуск с расшитыми подолами, длинными жгутами цветных поясов, холщовыми картузами: иного московского знакомого, какого-нибудь профессора или редактора журнала, бородастого, в очках, не сразу можно было и узнать в такой косоворотке и в таком картузе.

Среди всего этого дачного счастья Левицкий был вдвойне несчастен, чувствуя себя с утра до вечера жалким, обманутым, лишним. День и ночь он думал одно и то же: зачем, зачем так скоро и безжалостно приблизила она его к себе, сделала не то своим другом, не то рабом, потом любовником, который должен был довольствоваться редким и всегда неожиданным счастьем только поцелуев, за-

чем говорила ему то «ты», то «вы», и как у ней хватило жестокости так просто, так легко вдруг перестать даже замечать его в первый же день знакомства с Титовым? Он сгорал стыдом и от своего бессовестного торчания в усадьбе. Завтра же надо исчезнуть, тайком бежать в Москву, скрыться от всех с этим позорным несчастьем обманутой дачной любви, столь явным даже для прислуги в доме! Но при этой мысли так пронзало воспоминанье о бархатистости ее вишневых губ, что отнимались руки и ноги. Если он сидел на балконе один и она случайно проходила мимо, она с неумеренной простотой говорила ему на ходу что-нибудь особенно незначительное — «а где же это тетя? вы ее не видали?», — и он спешил ответить ей в тон, готовый зарыдать от боли. Раз, проходя, она увидела у него на коленях Зойку, — какое ей было до этого дело? Но она вдруг бешено сверкнула глазами, крикнула: «Не смей, гадкая девчонка, лазить по коленям мужчин!» — и его охватил восторг: это ревность, ревность! А Зойка улучала каждую минуту, когда можно было где-нибудь в пустой комнате на бегу схватить его за

шею и зашептать, блестя глазами и облизывая губы: «Миленький, миленький, миленький!» Она так ловко поймала однажды его губы своим влажным ртом, что он целый день не мог вспомнить ее без сладострастного содрогания — и ужаса: что же это такое со мной! как мне теперь глядеть в глаза Николаю Григорьевичу и Клавдии Александровне!

Двор дачи, похожей на усадьбу, был большой. Справа от въезда стояла пустая старая конюшня с сеновалом в надстройке, потом длинный флигель для прислуги, соединенный с кухней, из-за которой глядели березы и липы, слева, на твердой, бугристой земле, просторно росли старые сосны, на лужайках между ними поднимались гигантские шаги и качели, дальше, уже у стены леса, была ровная крокетная площадка. Дом, тоже большой, стоял как раз против въезда, за ним большое пространство занимало смещение леса и сада с мрачно-величавой аллеей древних елей, шедшей посреди этого смещения от заднего балкона к купальне на пруду. И хозяева, одни или с гостями, сидели всегда на переднем балконе, вдававшемся в дом и защищенном

от солнца. В то воскресное жаркое утро на этом балконе сидели только хозяйка и Левицкий. Утро, как всегда при гостях, казалось особенно праздничным, а гостей приехало много, и горничные, блестя новыми платьями, то и дело пробегали по двору из кухни в дом и из дома в кухню, где шла спешная работа к завтраку. Приехало пятеро: темноликий, желчный писатель, всегда не в меру серьезный и строгий, но страстный любитель всяких игр; коротконогий и похожий на Сократа профессор, в пятьдесят лет только что женившийся на своей двадцатилетней ученице и приехавший вместе с ней, тоненькой блондинкой; очень нарядная маленькая дама, прозванная Осой за свой рост и худобу, злость и обидчивость, и Титов, которого Данилевский прозвал наглым джентльменом. Теперь все гости, Валерия и сам Данилевский были под соснами возле леса, в их сквозной тени, — Данилевский курил в кресле сигару, дети с писателем и женой профессора носились на гигантских шагах, а профессор, Титов, Валерия и Оса бегали, стучали молотками в крокетные шары, перекликались, спорили, ссори-

лись. И Левицкий с хозяйкой слушали их. Левицкий пошел было туда — Валерия тотчас прогнала его: «Тетя одна чистит вишни, извольте идти помогать ей!» Он неловко улыбнулся, постоял, посмотрел, как она, с молотком в руках, нагибается к крокетному шару, как висит ее чесучовая юбка над тугими икрами в тонких чулках палевого шелка, как полно и тяжело натягивают ее груди прозрачную блузку, под которой сквозит загорелое тело круглых плечей, кажущееся розоватым от розовых перемычек сорочки, — и побрел на балкон. Он был особенно жалок в это утро, и хозяйка, как всегда, ровная, спокойная, ясная молодежавшим лицом и взглядом чистых глаз, тоже слушая с тайной болью в сердце голоса под соснами, искоса посматривала на него.

— Теперь руки и не отмоешь, — говорила она, окровавленными пальцами запуская золоченую вилочку в вишню, — а вы, Жорж, всегда умеете как-то особенно испачкаться... Милый, отчего вы все в кителе, ведь жарко, могли бы отлично ходить в одной рубашке с поясом. И не брились десять дней...

Он знал, что впалые щеки его заросли

красноватой щетиной, что он ужасно затаскал свой единственный белый китель, что студенческие штаны его лоснятся и ботинки не чищены, знал, как сутуло сидит он с своей узкой грудью и впалым животом, и отвечал, краснея:

— Правда, правда, Клавдия Александровна, я небрит, как беглый каторжник, вообще совсем опустился, бессовестно пользуясь вашей добротой, простите, бога ради. Нынче же приведу себя в порядок, тем более что давным-давно пора мне в Москву, я уж так загостил у вас, что всем глаза намозолил. Я твердо решил завтра же ехать. Меня один товарищ зовет к себе в Могилев, — пишет, удивительно живописный город...

И нагнулся еще ниже над столом, услышав с крокета повелительный крик Титова на Валерию:

— Нет, нет, сударыня, это не по правилам! Не умеете ножку на шар ставить, бьете по ней молотком — ваша вина. А два раза крокировать не полагается...

За завтраком ему казалось, что все сидящие за столом вселились в него — едят, гово-

рят, острят и хохочут в нем. После завтрака все пошли отдыхать в тени еловой аллеи, густо усыпанной скользкими хвойными иголками, горничные потащили туда ковры и подушки. Он прошел по жаркому двору к пустой конюшне, поднялся по стенной лестнице на ее полутемный чердак, где лежало старое сено, и повалился в него, стараясь что-то решить, стал пристально смотреть, лежа на животе, на муху, которая сидела на сене перед самыми его глазами и сперва быстро сучила крест-накрест передними ножками, точно умывалась, а потом как-то противоестественно, с усилием стала задирать задние. Вдруг кто-то быстро вбежал на чердак, распахнул и запахнул дверь, — и, обернувшись, он увидел в свете слухового окна Зойку. Она прыгнула к нему, утонула в сене и, задыхаясь, зашептала, тоже лежа на животе и будто испуганно глядя ему в глаза:

— Жоржик, миленький, я что-то должна вам сказать — страшно для вас интересное, замечательное!

— Что такое, Зочка? — спросил он, приподнимаясь.

— А вот увидите! Только сначала поцелуйте меня за это — непременно!

И забила ногами по сему, обнажая полные ляжки.

— Зочка, — начал он, не в силах от душевной измученности удержать в себе болезненное умиление, — Зочка, вы одна меня любите, и я вас тоже очень люблю... Но не надо, не надо...

Она пуще забила ногами:

— Надо, надо, непременно!

И упала головой ему на грудь. Он увидел под красным бантом молодой блеск ее ореховых волос, услышал их запах и прижался к ним лицом. Вдруг она тихо и пронзительно вскрикнула «ай!» и схватила себя за юбку сзади.

Он вскочил:

— Что такое?

Она, упав головой в сено, зарыдала:

— Меня что-то страшно укусило там... Посмотрите, посмотрите скорее!

И откинула юбку на спину, сдернула с своего полного тела панталончики:

— Что там? Кровь?

— Да ровно ничего нет, Зочка!

— Как нет? — крикнула она, опять зарыв-  
дав. — Подуйте, подуйте, мне страшно боль-  
но!

И он, дунув, жадно поцеловал несколько раз в нежный холод широкой полноты ее за-  
да. Она вскочила в сумасшедшем восторге,  
блестя глазами и слезами:

— Обманула, обманула, обманула! И вот  
вам за это страшный секрет: Титов дал ей от-  
ставку! Полную отставку! Мы с Гришкой все  
слышали в гостиной: они идут по балкону,  
мы сели на пол за креслами, а он ей и гово-  
рит, страшно оскорбительно: «Сударыня, я не  
из тех, кого можно водить за нос. И притом я  
вас не люблю. Полюблю, если заслужите, а по-  
ка никаких объяснений». Здорово? Так ей и  
надо!

И, вскочив, кинулась в дверь и вниз по  
лестнице.

Он посмотрел ей вслед.

— Я негодяй, которого мало повесить! —  
сказал он громко, еще чувствуя на своих гу-  
бах ее тело.

Вечером в усадьбе было тихо, наступило

успокоение, чувство семейственности, — гости в шесть часов уехали... Теплые сумерки, лекарственный запах цветущих лип за кухней. Сладкий запах дыма и кушаний из кухни, где готовят ужин. И мирное счастье всего этого — сумерек, запахов — и все еще что-то обещающая мука ее присутствия, ее существования возле него... разрывающая душу мука любви к ней — и ее беспощадное равнодушие, отсутствие... Где она? Он сошел с переднего балкона, слушая мерный, с промежутками, визг и скрип качелей под соснами, прошел к ним — да, это она. Он остановился, глядя, как она широко летает вверх и вниз, все ту же натягивая веревки, силясь взлететь до последней высоты, и делает вид, что не замечает его. С визгом колец жутко летит кверху, исчезает в ветвях и, как подстреленная, стремительно несется вниз, приседая и развевая подол. Вот бы поймать! Поймать и задушить, изнасиловать!

— Валерия Андреевна! Осторожнее!

Точно не слыша, наддает еще крепче...

За ужином на балконе, под горячей яркой лампой, смеялись над гостями, спорили о

них. Неестественно и зло смеялась и она, жадно ела творог со сметаной, опять без единого взгляда в его сторону. Одна Зойка молчала и все косилась на него, блестя глазами, знающими что-то вместе с ним одним.

Все разошлись и легли рано, в доме не осталось ни одного огня. Всюду стало темно и мертво. Незаметно ускользнув тотчас после ужина в свою комнату, дверь которой выходила на передний балкон, он стал совать свое бельишко в свой заплечный мешок, думая: выведу потихоньку велосипед, сяду — и на станцию. Возле станции лягу где-нибудь на песок в лесу до первого утреннего поезда... Хотя нет, так нельзя. Выйдет бог знает что, — сбежал, как мальчишка, ночью, ни с кем не простясь! Надо ждать до завтра — и уехать безопасно, как ни в чем не бывало: «До свиданья, дорогой Николай Григорьевич, до свиданья, дорогая Клавдия Александровна! Спасибо, спасибо за все! Да, да, в Могилев, удивительно, говорят, красивый город... Зочка, будьте здоровы, милая, растите и веселитесь! Гриша, дай пожать твою „честную“ руку! Валерия Андреевна, всех благ, не поминайте ли-

хом...» Нет, не поминайте лихом ни к чему, глупо и бестактно, будто какой-то намек на что-то...

Чувствуя, что нет ни малейшей надежды заснуть, он тихо спустился с балкона, решив выйти на дорогу к станции и промаять себя, прошагать версты три. Но во дворе остановился: теплый сумрак, сладкая тишина, млечная белизна неба от несметных мелких звезд... Он пошел по двору, опять остановился, поднял голову: уходящая все глубже и глубже ввысь звездность и там какая-то страшная черно-синяя темнота, провалы куда-то... И спокойствие, молчание, непонятная, великая пустыня, безжизненная и бесцельная красота мира... безмолвная, вечная религиозность ночи... И он один, лицом к лицу со всем этим, в бездне между небом и землей... Он стал внутренне, без слов молиться о какой-то небесной милости, о чьей-то жалости к себе, с горькой радостью чувствуя свое соединение с небом и уже некоторое отрешение от себя, от своего тела... Потом, стараясь удержать в себе эти чувства, посмотрел на дом: звезды отражаются расплюснутым блеском в черных

стеклах окон — и в стеклах ее окна... Спит или лежит, в тупом оцепенении все одной и той же мысли о Титове? Да, вот и ее черед...

Он обошел большой, неопределенный в сумраке дом, пошел к заднему балкону, к поляне между ним и двумя страшными своей ночной высотой и чернотой рядами подвижных елей с острыми верхушками в звездах. В темноте под елями рассыпаны неподвижные зелено-желтые огоньки светляков. И что-то смутно белеет на балконе... Он приостановился, вглядываясь, и вдруг дрогнул от страха и неожиданности: с балкона раздался негромкий и ровный, без выражения голос:

— Что это вы бродите по ночам?

Он, в изумлении, двинулся и тотчас различил: она лежит в качалке, в старинной серебряной шали, которую все гости Данилевских накидывали на себя по вечерам, если оставались ночевать. От растерянности он тоже спросил:

— А вы почему не спите?

Она не ответила, помолчала, поднялась и неслышно сошла к нему, поправляя сползавшую шаль плечом:

— Пройдемся...

Он пошел за ней; сперва сзади, потом рядом, в темноту аллеи, будто что-то таившей в своей мрачной неподвижности. Что это? Он опять с ней наедине, вдвоем, в этой аллее, в такой час? И опять эта шаль, всегда скользившая с ее плеч и коловшая кончики его пальцев своими шелковыми ворсинками, когда он поправлял ее на ней... Пересиливая судорогу в горле, он выговорил:

— За что, зачем вы так страшно мучите меня?

Она закачала головой:

— Не знаю. Молчи.

Он осмелел, возвысил голос:

— Да, за что и зачем? Зачем было вам...

Она поймала его висящую руку и стиснула ее:

— Молчи...

— Валя, я ничего не понимаю...

Она отбросила его руку, взглянула влево, на ель в конце аллеи, широко черневшую треугольником своей мантии:

— Помнишь это место? Тут я тебя в первый раз поцеловала. Поцелуй меня тут в послед-

ний раз...

И, быстро пройдя под ветви ели, порывисто кинула на землю шаль.

— Иди ко мне!

Тотчас вслед за последней минутой она резко и гадливо оттолкнула его и осталась лежать, как была, только опустила поднятые и раскинутые колени и уронила руки вдоль тела. Он пластом лежал рядом с ней, прильнув щекой к хвойным иглам, на которые текли его горячие слезы. В застывшей тишине ночи и лесов неподвижным ломтем дыни краснела вдаль, невысоко над смутным полем, поздняя луна.

В своей комнате он взглянул запухшими от слез глазами на часы и испугался: два без двадцати минут! Торопясь и стараясь не шуметь, он свел велосипед с балкона, тихо и скоро повел его по двору. За воротами вскочил в седло и, круто согнувшись, бешено заработал ногами, прыгая по песчаным ухабам просеки, среди бегущей на него с двух сторон и сквозящей на предрассветном небе частой черноты стволов. «Опоздаю!» И он работал все горячее, вытирая потный лоб сгибом руки: курьер-

ский из Москвы пролетел мимо станции — без остановки — в два пятнадцать, — ему оставалось всего несколько минут. Вдруг, в полусвете зари, еще похожем на сумерки, глянул в конце просеки темный вокзал станции. Вот оно! Он решительно вильнул по дороге влево, вдоль железнодорожного пути, вильнул вправо, на переезд, под шлагбаум, потом опять влево, между рельсами, и понесся, колотясь по шпалам, под уклон, навстречу вырвавшемуся из-под него, грохочущему и слепящему огнями паровозу.

*13 октября 1940*

## **Таня**

Она служила горничной у его родственницы, мелкой помещицы Казаковой, ей шел восемнадцатый год, она была невелика ростом, что особенно было заметно, когда она, мягко виляя юбкой и слегка подняв под кофточкой маленькие груди, ходила босая или, зимой, в валенках, ее простое личико было только миловидно, а серые крестьянские глаза прекрасны только молодостью. В ту далекую пору он тратил себя особенно безрассуд-

но, жизнь вел скитальческую, имел много случайных любовных встреч и связей — и как к случайной отнесся и к связи с ней...

\* \* \*

Она скоро примирилась с тем роковым, удивительным, что как-то вдруг случилось с ней в ту осеннюю ночь, несколько дней плакала, но с каждым днем все больше убеждалась, что случилось не горе, а счастье, что становится он ей все милее и дороже; в минуты близости, которые вскоре стали повторяться все чаще, уже называла его Петрушей и говорила о той ночи как об их общем заветном прошлом.

Он сперва и верил и не верил:

— Неужто правда ты не притворялась тогда, что спишь?

Но она только раскрывала глаза:

— Да разве вы не чувствовали, что я сплю, разве не знаете, как ребята и девки спят?

— Если бы я знал, что ты правда спишь, я бы тебя ни за что не тронул.

— Ну, а я ничего, ничего не чуяла, почти до самой последней минутки! Только как это вам вздумалось прийти ко мне? Приехали и

даже не взглянули на меня, только уж вечером спросили: ты, верно, недавно нанялась, тебя, кажется, Таней зовут? и потом сколько времени смотрели будто без всякого внимания. Значит, притворялись?

Он отвечал, что, конечно, притворялся, но говорил неправду: все вышло и для него совсем неожиданно.

Он провел начало осени в Крыму и по пути в Москву заехал к Казаковой, прожил недели две в успокоительной простоте ее усадьбы и скудных дней начала ноября и собрался было уезжать. В тот день, на прощанье с деревней, он с утра до вечера ездил верхом с ружьем за плечами и с гончей собакой по пустым полям и голым перелескам, ничего не нашел и вернулся в усадьбу усталый и голодный, съел за ужином сковородку битков в сметане, выпил графинчик водки и несколько стаканов чаю, пока Казакова, как всегда, говорила о своем покойном муже и о своих двух сыновьях, служивших в Орле. Часов в десять дом, как всегда, был уже темен, только горела свеча в кабинете за гостиной, где он жил, приезжая. Когда он вошел в кабинет, она со свечой в руке

стояла на его постели на тахте на коленях, вода горячей свечой по бревенчатой стене. Увидав его, она сунула свечу на ночной столик и, соскочив, кинулась вон.

— Что такое? — сказал он, оторопев. — Пойди, что ты тут делала?

— Клопа жгла, — ответила она быстрым шепотом. — Стала опрашивать вас постель, гляжу, а на стене клоп...

И со смехом убежала.

Он посмотрел ей вслед и, не раздеваясь, сняв только сапоги, прилег на стеганое одеяло на тахте, надеясь еще покурить и что-то подумать, — засыпать в десять часов было непривычно, — и тотчас заснул. На минуту очнулся, беспокоясь сквозь сон от дрожащего огня свечи, дунул на нее и опять заснул. Когда же опять открыл глаза, за двумя окнами во двор и за боковым окном в сад, полным света, стояла осенняя лунная ночь, пустая и одиноко прекрасная. Он нашел в сумраке возле тахты туфли и пошел в соседнюю с кабинетом прихожую, чтобы выйти на заднее крыльцо, — поставить ему на ночь, что нужно, забыли. Но дверь прихожей оказалась за-

перта на засов снаружи, и он пошел по таинственно освещенному со двора дому на парадное крыльцо. Туда выходили через главную прихожую и большие бревенчатые сенцы. В этой прихожей, против высокого окна над старым рундуком, была перегородка, а за ней комната без окон, где всегда жили горничные. Дверь в перегородке была приотворена, за ней было темно. Он зажег спичку и увидел ее спящую. Она навзничь лежала на деревянной кровати, в одной рубашке и в бумазейной юбчонке, — под рубашкой круглились ее маленькие груди, босые ноги были заголены до колен, правая рука, откинута к стене, и лицо на подушке казались мертвыми... Спичка погасла. Он постоял — и осторожно подошел к кровати...

\* \* \*

Выходя через темные сенцы на крыльцо, он лихорадочно думал:

«Как странно, как неожиданно! И неужто она правда спала?»

Он постоял на крыльце, пошел по двору... И ночь какая-то странная. Широкий, пустой, светло освещенный высокой луной двор. На-

против сарая, крытые старой окаменевшей соломой, — скотный двор, каретный сарай, конюшни. За их крышами, на северном небосклоне, медленно расходятся таинственные ночные облака — снеговые мертвые горы. Над головой только легкие белые, и высокая луна алмазно слезится в них, то и дело выходит на темно-синие прогалины, на звездные глубины неба и будто еще ярче озаряет крыши и двор. И все вокруг как-то странно в своем ночном существовании, отрешенном от всего человеческого, бесцельно сияющее. И странно еще потому, что будто в первый раз видит он весь этот ночной, лунный, осенний мир...

Он сел возле каретного сарая на подножку тарантаса, закиданного засохшей грязью. Было по-осеннему тепло, пахло осенним садом, ночь была торжественна, бесстрастна и благостна и как-то удивительно соединялась с теми чувствами, что унес он от этого неожиданного соединения с полудетским женским существом...

Она тихо зарыдала, придя в себя и будто бы только в эту минуту поняв то, что случи-

лось. Но может быть, не будто бы, а действительно? Все тело ее поддавалось ему, как безжизненное. Он сперва шепотом побудил ее: «Послушай, не бойся...» Она не слыхала или притворялась, что не слышит. Он осторожно поцеловал ее в горячую щеку — она никак не отозвалась на поцелуй, и он подумал, что она молча дала ему согласие на все, что за этим может последовать. Он разъединил ее ноги, их нежное, горячее тепло, — она только вздохнула во сне, слабо потянулась и закинула руку за голову...

«А если притворства не было?» — подумал он, вставая с подножки и взволнованно глядя на ночь.

Когда она зарыдала, сладко и горестно, он с чувством не только животной благодарности за то неожиданное счастье, которое она бессознательно дала ему, но и восторга, любви стал целовать ее в шею, в грудь, все упоительно пахнущее чем-то деревенским, девичьим. И она, рыдая, вдруг ответила ему женским бессознательным порывом — крепко и тоже будто благодарно обняла и прижала к себе его голову. Кто он, она еще не понимала в полу-

сне, но все равно — это был тот, с кем она, в некий срок, впервые должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость, обоюдная, совершилась и уже ничем в мире расторгнута быть не может, и он навеки унес ее в себе, и вот эта необыкновенная ночь принимает его в свое непостижимое светлое царство вместе с нею, с этой близостью...

Как он мог, уезжая, вспоминать ее только случайно, забывать ее милый простосердечный голосок, ее то радостные, то грустные, но всегда любящие, преданные глаза, как он мог любить других и некоторым из них придавать гораздо больше значения, чем ей!

\* \* \*

На другой день она служила, не поднимая глаз. Казакова спросила:

— Что это ты такая, Таня?

Она покорно ответила:

— Мало ли у меня горя, барыня...

Казакова сказала ему, когда она вышла:

— Да, конечно: сирота, без матери, отец нищий, беспутный мужик...

Перед вечером, когда она ставила на

крыльце самовар, он, проходя, сказал ей:

— Ты не думай, я тебя давно полюбил. Брось плакать, убиваться, этим ничему не поможешь...

Она тихо ответила, смаргивая слезы и суя в самовар пылающие щепки:

— Кабы правда полюбили, все бы легче было...

Потом она стала иногда взглядывать на него, как бы несмело спрашивать взглядом: правда?

Раз вечером, когда она вошла оправлять ему постель, он подошел к ней и обнял ее за плечо. Она с испугом взглянула на него и, вся покраснев, прошептала:

— Отойдите за-ради господ. Того гляди, старуха зайдет...

— Какая старуха?

— Да старая горничная, будто не знаете!

— Я к тебе нынче ночью приду...

Ее точно обожгло, — первое время старуха приводила ее в ужас:

— Ох, что вы, что вы! Я с ума от страха сойду!

— Ну, не надо, не бойся, не приду, — сказал

он поспешно.

Она служила теперь уже по-прежнему, скоро и заботливо, опять стала вихрем носиться через двор в кухню, как носилась прежде, и порой, улучив удобную минуту, тайком бросала на него взгляды уже смущенно-радостные. И вот однажды утром, чем свет, когда он еще спал, ее отправили в город за покупками. За обедом Казакова сказала:

— Что делать, старосту с работником я отослала на мельницу, некого послать за Таней на станцию. Может, ты бы съездил?

Он, сдержав радость, ответил с притворной небрежностью:

— Что ж, охотно проедусь.

Старая горничная, подававшая на стол, нахмурилась:

— За что ж вы, сударыня, хотите девку навек осрамить? Что ж после этого начнут говорить про нее по всему селу?

— Ну, поезжай сама, — сказала Казакова. — Что ж ей, пешком, что ли, со станции идти?

Около четырех он выехал, в шарабане, на старой высокой черной кобыле и, боясь опоз-

дать к поезду, погнал ее за селом шибко, под-  
скакивая по маслянистой, колчеватой, под-  
мерзшей и потом отсыревшей дороге, — по-  
следние дни были влажные, туманные, а в  
тот день туман был особенно густ: еще когда  
он ехал по селу, казалось, что наступает ночь,  
и в избах уже видны были дымно-красные ог-  
ни, какие-то дикие за сизостью тумана. Даль-  
ше, в поле, стало совсем почти темно и от ту-  
мана уже непроглядно. Навстречу тянуло хо-  
лодным ветром и мокрой мглой. Но ветер не  
разогнал тумана, напротив, нагонял все гуще  
его холодный, темно-сизый дым, душил им,  
его пахучей сыростью, и казалось, что за его  
непроглядностью нет ничего — конец мира и  
всего живого. Картуз, чуйка, ресницы, усы,  
все было в мельчайшем мокром бисере. Чер-  
ная кобыла размашисто неслась вперед, ша-  
рабан, подскакивая по скользким колчам, бил  
ему в грудь. Он приловчился и закурил —  
сладкий, душистый, теплый, человеческий  
дым папиросы смешался с первобытным за-  
пахом тумана, поздней осени, мокрого голого  
поля. И все темнело, все мрачнело вокруг,  
вверху и внизу, — почти не стало видно смут-

но темнеющей длинной шеи лошади, ее настороженных ушей. И все усиливалось чувство близости к лошади — единственному живому существу в этой пустыне, в мертвой враждебности всего того, что справа и слева, впереди и сзади, всего того неведомого, что так зловеще скрыто в этой все гуще и чернее бегущей на него дымной тьме... Когда он въехал в деревню при станции, его охватила отрада жилья, жалких огней в убогих окошечках, их ласкового уюта, а на станции все вокзальное показалось совсем иным миром, живым, бодрым, городским. И не успел он привязать лошадь, как, гремя, засверкал к вокзалу светлыми окнами поезд, обдав серным запахом каменного угля. Он побежал в вокзал с таким чувством, точно ждал молодую жену, и тотчас увидел, как вошла она, по-городскому одетая, из противоположных дверей вслед за вокзальным сторожем, тащившим два кулька покупок: вокзал был грязен, вонял керосином ламп, тускло освещавших его, а она вся сияла возбужденными глазами, юностью взволнованного необычным путешествием лица, и сторож что-то говорил ей на «вы». И она вдруг

встретилась с ним взглядом и даже остановилась от растерянности: что такое, почему он тут?

— Таня, — поспешно сказал он, — здравствуй, я за тобой, некого было послать...

Был ли когда-нибудь в жизни у нее столь счастливый вечер! Он сам приехал за мной, а я из города, я наряжена и так хороша, как он и представить себе не мог, видя меня всегда только в старой юбчонке, в ситцевой бедной кофточке, у меня лицо, как у модистки, под этим шелковым белым платочком, я в новом гарусном коричневом платье под суконной жакеткой, на мне белые бумажные чулки и новые полсапожки с медными подковками! Вся внутренне дрожа, она заговорила с ним таким тоном, каким говорят в гостях, и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками, снисходительно дивясь: «Ох, господи, как тут склизко, как натоптали мужики!» Вся замирая от радостного страха, высоко подняла она платье над белой коленкоровой юбкой, чтобы сесть на юбку, а не на платье, вошла в шарабан и села рядом с ним, будто равная ему, и неловко подобралась от кульков в

ногах.

Он молча тронул лошадь и погнал ее в ледяную тьму ночи и тумана, мимо кое-где низко мелькавших огоньков в избах, по ухабам этой мучительной деревенской ноябрьской дороги, и она не смела слова проронить, ужасаясь его молчанию: уж не рассердился ли он на что-нибудь? Он это понимал и нарочно молчал. И вдруг, выехав за деревню и погрузившись уже в полный мрак, перевел лошадь на шаг, взял вожжи в левую руку и сжал правой ее плечи в осыпанной холодным мокрым бисером жакетке, бормоча и смеясь:

— Таня, Танечка...

И она вся рванулась к нему, прижалась к его щеке шелковым платком, нежным пылающим лицом, полными горячих слез ресницами. Он нашел ее мокрые от радостных слез губы и, остановив лошадь, долго не мог оторваться от них. Потом, как слепой, не видя ни зги в тумане и мраке, вышел из шарабана, бросил чуйку на землю и потянул ее к себе за рукав. Все сразу поняв, она тотчас соскочила к нему и, с быстрой заботливостью подняв весь свой заветный наряд, новое платье и юб-

ку, оцупью легла на чуйку, навеки отдавая ему не только все свое тело, теперь уже в полную собственность его, но и всю свою душу.

\* \* \*

Он опять отложил свой отъезд.

Она знала, что это ради нее, она видела, как он ласков с ней, говорит уже как с близкой, своим тайным другом в доме, и перестала бояться, трепетать, когда он подходил к ней, как трепетала первое время. Он стал спокойнее и проще в любовные минуты — она быстро приладилась к нему. Она вся изменилась с той быстротой, на какую способна молодость, сделалась ровна, беззаботно-счастлива, уже легко называла его Петрушей и порой даже притворялась, будто он докучает ей своими поцелуями: «Ах, господи, прохожу мне от вас нету! Чуть завидит меня одну — сейчас ко мне!» — и это доставляло ей особенную радость: значит, он любит меня, значит, он совсем мой, если я могу говорить с ним так! И еще было счастье: высказывать ему свою ревность, свое право на него:

— Слава богу, нет никаких работ на гумне, а то, были бы девки, я бы вам показала, как

ходить к ним! — говорила она.

И прибавляла, вдруг смутившись, с трогательной попыткой улыбки:

— Ай вам мало меня одной?

Зима наступила рано. После туманов завернул морозный северный ветер, сковал маслянистые колчи дорог, окаменил землю, сжег последнюю траву в саду и на дворе. Пошли белесо-свинцовые тучи, совсем обнажившийся сад шумел беспокойно, торопливо, точно убегал куда-то, ночью белая половинка луны так и ныряла в клубках туч. Усадьба и деревня казались безнадежно бедны и грубы. Потом стал порошить снег, убеляя мерзлую грязь точно сахарной пудрой, и усадьба и видные из нее поля стали сизо-белы и просторны. На деревне кончали последнюю работу — ссыпали в погреба на зиму картошки, перебирая их, отбрасывая гнилые. Как-то он пошел пройтись по деревне, надев поддевку на лишем меху и надвинув меховую шапку. Северный ветер трепал ему усы, жег щеки. Надо всем висело угрюмое небо, сизо-белое покатое поле за речкой казалось очень близким. В деревне лежали на земле возле порогов веретья

с ворохами картошек. На веретях сидели, работая, бабы и девки, закутанные в пеньковые шали, в рваных куртках, в разбитых валенках, с посиневшими лицами и руками, — он с ужасом думал: а под подолами у них совсем голые ноги!

Когда он пришел домой, она стояла в прихожей, обтирая тряпкой кипящий самовар, чтобы нести его на стол, и тотчас сказала вполголоса:

— Это вы, верно, на деревню ходили, там девки картошки перебирают... Что ж, гуляйте, гуляйте, высматривайте себе какую получше!

И, сдерживая слезы, выскочила в сенцы.

К вечеру густо, густо повалил снег, и, пробегая мимо него по залу, она взглянула на него с неудержимым детским весельем и, дразня, шепнула:

— Что, много теперь нагуляетесь? Да то ли еще будет — собаки по всему двору катаются — понесет такая кура, что и носу из дому не высунете!

«Господи, — подумал он, — как же я соберусь с духом сказать ей, что вот-вот уеду!»

И ему страстно захотелось быть как можно скорее в Москве. Мороз, метель, на площади, против Иверской, парные голубцы с бормочущими бубенчиками, на Тверской высокий электрический свет фонарей в снежных вихрях... В Большом Московском блещут люстры, разливается струнная музыка, и вот он, кинув меховое оснеженное пальто на руки швейцарам, вытирая платком мокрые от снега усы, привычно, бодро входит по красному ковру в нагретую людную залу, в говор, в запах кушаний и папирос, в суету лакеев и все покрывающие, то распутно-томные, то залихватски-бурные струнные волны...

Весь ужин он не мог поднять глаз на ее беззаботную беготню, на ее успокоившееся лицо.

Поздно вечером он надел валенки, старую енотовую шубу покойного Казакова, надвинул шапку и через заднее крыльцо вышел на вьюгу —дохнуть воздухом, посмотреть на нее. Но под навес крыльца уже нанесло целый сугроб, он споткнулся в нем и набрал целые рукава снега, далее был сущий ад, белое несущееся бешенство. Он с трудом, утопая,

обошел дом, добрался до переднего крыльца и, топая, отряхиваясь, вбежал в темные сенцы, гудевшие от бури, потом в теплую прихожую, где на рундуке горела свеча. Она выскочила из-за перегородки босая, в той же бумазейной юбчонке, всплеснула руками:

— Господи! Да откуда ж это вы!

Он сбросил на рундук шубу и шапку, осыпав его снегом, и в сумасшедшем восторге нежности схватил ее на руки. Она в таком же восторге вырвалась, схватила веник и стала обивать его белые от снега валенки и тащить их с ног:

— Господи, и там полно снегу! Вы на смерть простудитесь!

\* \* \*

Ночью, сквозь сон, он иногда слышал: однообразно шумит с однообразным напором на дом, потом бурно налетает, сыплет стрекочущим снегом в ставни, потрясая их, — и падает, отделяется, шумит усыпительно... Ночь кажется бесконечной и сладкой — тепло постели, тепло старого дома, одинокого в белой тьме несущегося снежного моря...

Утром показалось, что это ночной ветер со

стуком распахивает ставни, бьет ими в стены — открыл глаза — нет, уже светло, и отовсюду глядит в залепленные снегом окна белая, белая белизна, нанесенная до самых подоконников, а на потолке лежит ее белый отсвет. Все еще шумит, несет, но тише и уже по-дневному. С изголовья тахты видны напротив два окна с двойными, почерневшими от времени рамами в мелкую клетку, третье, влево от изголовья, белее и светлее всего. На потолке этот белый отсвет, а в углу дрожит, гудит и постукивает втягиваемая разгорающимся огнем заслонка печки — как хорошо, он спал, ничего не слышал, а Таня, Танечка, верная, любимая, растворила ставни, потом тихо вошла в валенках, вся холодная, в снегу на плечах и на голове, закутанной пеньковым платком, и, став на колени, затопила. И не успел он подумать, как она вошла, неся поднос с чаем, уже без платка. С чуть заметной улыбкой взглянула, ставя поднос на столик у изголовья, в его по-утреннему ясные, от сна точно удивленные глаза:

— Что ж вы так заспались?

— А который час?

Посмотрела на часы на столике и не сразу ответила — до сих пор не сразу разбирает, который час:

— Десять... Без десяти минут девять...

Взглянув на дверь, он потянул ее к себе за юбку. Она отклонилась, отстраняя его руку:

— Никак нельзя, все проснулись...

— Ну, на одну минуту!

— Старуха зайдет...

— Никто не зайдет — на одну минуту!

— Ах, наказание мне с вами!

Быстро вынув одну за другой ноги в шерстяных чулках из валенок, легла, озираясь на дверь... Ах, этот крестьянский запах ее головы, дыхания, яблочный холодок щеки! Он сердито зашептал:

— Опять ты целуешься со сжатыми губами! Когда я тебя отучу!

— Я не барышня... Погодите, я пониже ляжу... Ну, скорее, боюсь до смерти.

И они уставились друг другу в глаза — пристально и бессмысленно, выжидательно.

— Петруша...

— Молчи. Зачем ты говоришь всегда в это время!

— Да когда ж мне и поговорить с вами, как не в это время! Я не буду больше губы сжимать... Поклянитесь, что у вас никого нету в Москве...

— Не тискай меня так за шею.

— Никто в жизни не будет так любить вас. Вот вы в меня влюбились, а я будто и сама в себя влюбилась, не нарадуюсь на себя... А если вы меня бросите...

Выскочив с горячим лицом под навес заднего крыльца на вьюгу, она, стоя, присела на мгновение, потом кинулась навстречу белым вихрям на переднее крыльцо, утопая выше голых колен.

В прихожей пахло самоваром. Старая горничная, сидя на рундуке под высоким окном в снегу, схлебывала с блюдечка и, не отрываясь от него, покосилась:

— Куда это тебя носило? Вся в снегу вывалялась.

— Петру Николаичу чай подавала.

— Что ж ты ему в людскую, что ль, подавала? Знаем мы твой чай!

— Ну, знаете, и на здоровье. Барыня встали?

— Хватились! Пораньше тебя.

— И все-то вы сердитесь!

И, счастливо вздохнув, она пошла за перегородку, за своей чашкой, и чуть слышно запела там:

*Уж как выйду я в сад,  
Во зеленый сад,  
Во зеленый сад гулять,  
Свово милова встречать...*

\* \* \*

Днем, сидя в кабинете за книгой, слушая все тот же то слабеющий, то угрожающе растущий шум вокруг дома, все больше тонувшего в снегах среди со всех сторон несущейся молочной белизны, он думал: как стихнет, так уеду.

Вечером он улучил минуту сказать ей, чтобы она пришла к нему ночью попозднее, когда дом крепче всего спит, — на всю ночь, до утра. Она покачала головой, подумала и сказала: хорошо. Это было очень страшно, но тем слаще.

То же чувствовал и он. И волновала еще жалость к ней: и не знает, что это их послед-

няя ночь!

Ночью он то засыпал, то в тревоге просыпался: решится ли прийти? Тьма дома, шум вокруг этой тьмы, трясутся ставни, в печке то и дело завывает... Вдруг он в страхе очнулся: не услышал, — услышать ее в той преступной осторожности, с которой она пробиралась в густой темноте по дому, нельзя было, — не услышал, а почувствовал, что она, невидимая, уже стоит у тахты. Он протянул руки. Она молча нырнула под одеяло к нему. Он слышал, как стучит ее сердце, чувствовал ее озябшие босые ноги и шептал самые горячие слова, какие только мог найти и выговорить.

Они долго лежали так, грудь с грудью, целуясь с такой крепостью, что больно было зубам. Она помнила, что он не велел ей сжимать рот, и, стараясь угодить ему, раскрывала его, как галчонок.

— Ты небось совсем не спала?

Она ответила радостным шепотом:

— Ни минуточки. Все ждала...

Нашарив на столике спички, он зажег свечу. Она в страхе ахнула:

— Петруша, что ж это вы сделали? А ну-ка

старуха проснется, увидит свет...

— Черт с ней, — сказал он, глядя на ее раскрасневшееся личико. — Черт с ней, я хочу видеть тебя...

Взяв ее, он не спускал с нее глаз. Она прошептала:

— Я боюсь, — что это вы на меня так смотрите?

— Да то, что лучше тебя на свете нет. Эта головка с этой маленькой косой вокруг нее, как у молоденькой Венеры...

Глаза ее засияли смехом, счастьем:

— Какая это Винера?

— Да уж такая... И эта рубашонка...

— А вы купите мне миткалевую... Верно, вы правда меня очень любите?

— Нисколько не люблю. И опять ты пахнешь не то перепелом, не то сухой коноплей...

— Отчего ж вам это нравится? Вот вы говорили, что я всегда говорю в это время... А теперь... сами говорите...

Она начала все крепче прижимать его к себе, хотела еще что-то сказать и уже не могла...

Потом он потушил свечу и долго лежал

молча, курил и думал: а все-таки надо сказать, ужасно, но надо! И чуть слышно начал:

— Танечка...

— Что? — так же таинственно спросила она.

— Ведь мне надо уезжать...

Она даже поднялась:

— Когда?

— Все-таки скоро... очень скоро... У меня есть неотложные дела...

Она упала на подушку:

— Господи!

Его какие-то дела где-то там, в какой-то Москве, внушали ей нечто вроде благоговения. Но как же все-таки расстаться с ним ради этих дел? И она замолчала, быстро и беспомощно ища в уме выхода из этого неразрешимого ужаса. Выхода не было. Хотелось крикнуть: «Возьмите меня с собой!» Но она не смела — разве это возможно?

— Не могу же я век тут жить...

Она слушала и соглашалась: да, да...

— Не могу же я взять тебя с собой...

Она вдруг отчаянно выговорила:

— Почему?

Он быстро подумал: «Да, почему, почему?»  
И поспешно ответил:

— У меня нет дома, Таня, я всю жизнь езжу с места на место... В Москве живу в номерах... И ни на ком никогда не женюсь...

— Отчего?

— Оттого, что уж такой я родился.

— И ни на ком никогда не женитесь?

— Ни на ком, никогда! И даю тебе честное слово, мне, ей-богу, необходимо, очень важные и неотложные дела. К Рождеству непременно приеду!

Она припала головой к нему, полежала, капая на его руки теплыми слезами, и прошептала:

— Ну, я пойду... Скоро светать начнет...

И, поднявшись, стала в темноте крестить его:

— Сохрани вас Царица Небесная, сохрани Матерь Божия!

Прибежав к себе за перегородку, она села на постель и, прижав к груди руки, слизывая с губ слезы, стала шептать под гул метели в сенцах:

— Господи батюшка! Царица Небесная!

Дай, Господи, чтоб не утихало хоть еще дня два!

\* \* \*

Через два дня он уехал, — еще проносились по двору утихающие вихри, но он не мог больше длить тайное мучение ее и свое и не сдался на уговоры Казаковой подождать хоть до завтра.

И дом и вся усадьба опустели, умерли. И представить себе Москву и его в ней, его жизнь там, его какие-то дела, не было никакой возможности.

\* \* \*

На Рождество он не приехал. Что это были за дни! В какой муке неразрешающегося ожидания, в каком жалком притворстве перед самой собой, будто и нет никакого ожидания, шло время с утра до вечера! И все Святки она ходила в самом лучшем своем наряде — в том платье и в тех полсапожках, в которых он встретил ее тогда осенью, на вокзале, в тот незабвенный вечер.

На Крещение она почему-то жадно верила, что вот-вот покажутся из-под горы мужицкие санки, которые он наймет на станции, не

прислав письма, чтобы за ним выслали лошадей, весь день не вставала с рундука в прихожей, глядя во двор до боли в глазах. Дом был пуст, — Казакова уехала в гости к соседям, старуха обедала в людской, сидела там и после обеда, наслаждаясь злословием перед кухаркой. А она даже и обедать не ходила, сказала, что живот болит...

Но вот стало вечереть. Она взглянула еще раз на пустой двор в блестящем насте и поднялась, твердо сказав себе: конец, никого мне больше не нужно, ничего не желаю я ждать! — и пошла, наряженная, гуляющим шагом по залу, по гостиной, в свете зимней, желтой зари из окон, громко и беззаботно запела — с облегчением конченной жизни:

*Уж как выйду я в сад,  
Во зеленый сад,  
Во зеленый сад гулять,  
Свово милова встречать!*

И как раз на словах о милом вошла в кабинет, увидала его пустую тахту, пустое кресло возле письменного стола, где когда-то сидел он с книгой в руках, и упала в кресло, головой на стол, рыдая и крича: «Царица Небесная, по-

шли мне смерть!»

\* \* \*

Он приехал в феврале — когда она уже совсем похоронила в себе всякую надежду увидеть его хоть еще один раз в жизни.

И как будто возвратилось все прежнее.

Он был поражен, увидя ее, — так похудела и поблекла она вся, так несмелы и грустны были ее глаза. Поразилась и она в первую минуту: и он показался ей как будто другим, постаревшим, чужим и даже неприятным — усы у него стали как будто больше, голос грубей, его смех и разговор, пока он раздевался в прихожей, были не в меру громки и неестественны, ей неловко было взглянуть ему в глаза... Но оба постарались скрыть все это друг от друга, и вскоре все пошло как будто по-прежнему.

Потом опять стало подходить страшное время — время его нового отъезда. Он поклялся ей на образ, что приедет к Святой и уже на целое лето. Она поверила, но подумала: «А летом что будет? Опять то же, что теперь?» Этого теперь ей было уже мало — нужно было или совсем, совсем прежнее, а не повторение,

или нераздельная жизнь с ним, без разлук, без новых мучений, без стыда напрасных ожиданий. Но она старалась гнать от себя эту мысль, старалась представить себе все то летнее счастье, когда столько будет им свободы везде... — ночью и днем, в саду, в поле, на гумне, и он будет долго, долго возле нее...

\* \* \*

Накануне его нового отъезда ночь была уже предвесенняя, светлая и ветреная. За домом волновался сад, и все долетал оттуда разносимый ветром злой и беспомощный, отрывистый лай собак над ямой в елках: там сидела лисица, которую поймал в капкан и принес на барский двор лесник Казаковой.

Он лежал на тахте на спине с закрытыми глазами. Она рядом с ним на боку, подложив ладонь под грустную головку. Оба молчали. Наконец она прошептала:

— Петруша, вы спите?

Он открыл глаза, посмотрел в легкий сумрак комнаты, слева озаренный золотистым светом из бокового окна:

— Нет. А что?

— А ведь вы меня больше не любите, да-

ром погубили, — спокойно сказала она.

— Почему же даром? Не говори глупостей.

— Грех вам будет. Куда ж я теперь денусь?

— А зачем тебе куда-нибудь деваться?

— Вот вы опять, опять уедете в эту свою

Москву, а что ж я одна тут буду делать!

— Да все то же, что и прежде делала. А потом — ведь я тебе твердо сказал: на Святой на целое лето приеду.

— Да, может, и приедете... Только прежде вы мне не говорили таких слов: «А зачем тебе куда-нибудь деваться?» Вы меня правда любили, говорили, что милей меня не видали. Да и такая я разве была?

Да, не такая, подумал он. Ужасно изменилась. Даже телом стала как-то жиже, все косточки слышны...

— Прошло мое времечко, — сказала она. — Вскочу, бывало, к вам — и боюсь до смерти и радуюсь: ну, слава богу, старуха заснула. А теперь и ее не боюсь...

Он пожал плечами:

— Я тебя не понимаю. Дай-ка мне папиросы со столика...

Она подала. Он закурил:

— Не понимаю, что с тобой. Ты просто нездорова...

— Вот оттого-то, верно, и не мила я вам стала. А чем же я больна?

— Ты меня не понимаешь. Я говорю, что ты душевно нездорова. Потому что подумай, пожалуйста, что такое случилось, откуда ты взяла, что я тебя больше не люблю? И что ж одно и то же твердить: бывало, бывало...

Она не ответила. Светило окно, шумел сад, долетал отрывистый лай, злой, безнадежный, плачущий... Она тихонько слезла с тахты и, прижав рукав к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее:

— Таня.

Она обернулась, ответила чуть слышно:

— Чего вам?

— Поди ко мне.

— Зачем?

— Говорю, поди.

Она покорно подошла, склонив голову, чтобы он не видал, что все лицо у нее в слезах.

— Ну, что вам?

— Сядь и не плачь. Поцелуй меня — ну?

Он сел, она села рядом и обняла, тихо рыдая. «Боже мой, что же мне делать! — с отчаянием подумал он. — Опять эти теплые детские слезы на детском горячем лице... Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней! А что я могу? Увезти ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать, погубить себя навеки?» И стал быстро шептать, чувствуя, как и его слезы щекочут ему нос и губы:

— Танечка, радость моя, не плачь, послушай: я приеду весной на все лето, и вот правда пойдём мы с тобой «во зеленый сад» — я слышал эту твою песенку и вовеки не забуду ее, — поедём на шарабане в лес — помнишь, как мы ехали на шарабане со станции?

— Никто меня с тобой не пустит! — горько прошептала она, мотая на его груди головой, в первый раз говоря ему «ты». — И никуда ты со мной не поедешь...

Но он уже слышал в ее голосе робкую радость, надежду.

— Поеду, поеду, Танечка! И не смей мне

больше говорить «вы». И плакать не смей...

Он взял ее под ноги в шерстяных чулках и пересадил ее, легонькую, к себе на колени:

— Ну скажи: «Петруша, я тебя очень люблю!»

Она тупо повторила, икнув от слез:

— Я тебя очень люблю...

Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни.

*22 октября 1940*

## **В Париже**

**К**огда он был в шляпе, — шел по улице или стоял в вагоне метро, — и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни. Одно время он арендовал ферму в Провансе, слышался едких провансальских шуток и в Пари-

же любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, — неприятно шутил, если разговор касался женщин:

— Rien n'est plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien[10].

Однажды, в сырой парижский вечер поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина — он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеревшими рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет

из темного переулка с холодной и точно солевой мостовой. Он вошел, поклонился хозяйке и прошел в еще пустую, слабо освещенную комнату, прилегавшую к магазину, где белели накрытые бумагой столики. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидел безучастно-вежливо подходящую женщину лет тридцати, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье.

— Bonsoir, monsieur[11], — сказала она приятным голосом. Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил:

— Bonsoir... Но вы ведь русская?

— Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски.

— Да разве у вас много бывает французов?

— Довольно много, и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?

— Нет, тут столько всего... Вы уже сами посоветуйте что-нибудь.

Она стала перечислять заученным тоном:

— Нынче у нас щи флотские, битки по-казацки... можно иметь отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски...

— Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.

Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошего дома.

— Водочки желаете?

— Охотно. Сырость на дворе ужасная.

— Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней полочки, коркуновские огурчики малосольные...

Он опять взглянул на нее: очень красив белый передник с прошивками на черном пла-

тье, красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины... полные губы не накрашены, но свежи, на голове просто свернутая черная коса, но кожа на белой руке холеная, ногти блестящие и чуть розовые, — виден маникюр...

— Что я прикажу закусить? — сказал он, улыбаясь. — Если позволите, только селедку с горячим картофелем.

— А вино какое прикажете?

— Красное. Обыкновенное, — какое у вас всегда дают к столу.

Она отметила на блокноте и переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой:

— Нет, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью. *L'eau gate le vin comme la charette le chemin et la femme — l'âme*[12].

— Хорошего же вы мнения о нас! — безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед — на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ее черное платье... Да, вежливость и безразличие, все повадки и движения скромной и достойной служащей. Но дорогие хорошие

туфли. Откуда? Есть, вероятно, пожилой, состоятельный «ami»[13]... Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и последняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Да, из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного, — счастливой любовной встречи, живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу, и все напрасно...

На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов и вслух повторяла, отмечая на блокноте:

— Caviar rouge, salade russe... Deux chachlyks...[14]

Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому:

— Добрый вечер. Приятно, что вам у нас понравилось.

Он весело приподнялся:

— Доброго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать прикажете?

— Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?

— Николай Платоныч.

Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот.

— Нынче у нас чудный рассольник. Повар у нас замечательный, на яхте у великого князя Александра Михайловича служил.

— Прекрасно, рассольник так рассольник... А вы давно тут работаете?

— Третий месяц.

— А раньше где?

— Раньше была продавщицей в Printemps.

— Верно, из-за сокращений лишились места?

— Да, по доброй воле не ушла бы.

Он с удовольствием подумал: «Значит, дело не в „amі“», — и спросил:

— Вы замужняя?

— Да.

— А муж ваш что делает?

— Работает в Югославии. Бывший участник Белого движения. Вы, вероятно, тоже?

— Да, участвовал и в великой и в гражданской войне.

— Это сразу видно. И, вероятно, генерал, — сказала она, улыбаясь.

— Бывший. Теперь пишу истории этих

войн по заказам разных иностранных издательств... Как же это вы одна?

— Так вот и одна...

На третий вечер он спросил:

— Вы любите синема?

Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом:

— Иногда бывает интересно.

— Вот теперь идет в синема какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите, пойдём посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни?

— Мерси. Я свободна по понедельникам.

— Ну вот и пойдём в понедельник. Нынче что? Суббота? Значит, послезавтра. Идет?

— Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?

— Нет, еду за город к знакомым. А почему вы спрашиваете?

— Не знаю... Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.

Он благодарно взглянул на нее и покраснел:

— И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч...

И поспешил переменить разговор:

— Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Вы где живете?

— Возле метро Motte-Picquet.

— Видите, как удобно, — прямой путь до Etoile. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в восемь с половиной.

— Мерси.

Он шутливо поклонился:

— C'est moi qui vous remercie[15]. Уложите детей, — улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, — и приезжайте.

— Слава богу, этого добра у меня нет, — ответила она и плавно понесла от него тарелки.

Он был растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам...» Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Le bon Dieu envoie toujours des culottes à ceux qui n'ont pas de derrière...[16]

Вечером в понедельник шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснело. Надеясь поужинать с ней на Монпарнасе, он не обедал, зашел в кафе на Chaussée de la Muette, съел сэндвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закурив, сел в такси. У входа в метро Etoile

остановил шофера и вышел под дождь на тротуар — толстый, с багровыми щеками шофер доверчиво стал ждать его. Из метро несло баннным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным кряканьем названия вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу:

— Ольга Александровна...

Нарядно и модно одетая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно подведенные глаза, дамским движением подала руку, на которой висел зонтик, подхватив другой подол длинного вечернего платья, — он обрадовался еще больше: «Вечернее платье, — значит, тоже думала, что после синема поедем куда-нибудь», — и отвернул край ее перчатки, поцеловал кисть белой руки.

— Бедный, вы долго ждали?

— Нет, я только что приехал. Идем скорей в такси...

И с давно не испытанным волнением он

вошел за ней в полутемную, пахнущую сырым сукном карету. На повороте карету сильно качнуло, внутренность ее на мгновение осветил фонарь, — он невольно поддержал ее за талию, почувствовал запах пудры от ее щеки, увидел ее крупные колени под вечерним черным платьем, блеск черного глаза и полные в красной помаде губы: совсем другая женщина сидела теперь возле него.

В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:

— Вы одна или с какой-нибудь подружкой живете?

— Одна. В сущности, ужасно. Отельчик чистый, теплый, но знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей... Шестой этаж, лифта, конечно, нет, на четвертом этаже красный коврик на лестнице кончается... Ночью, в дождь страшная тоска. Раскройте окно — ни души нигде, совсем мертвый город, бог знает где-то внизу один фонарь под дождем... А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете?

— У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже один. Давний парижанин. Одно время жил в Провансе, снял ферму, хотел удалиться от всех и ото всего, жить трудами рук своих — и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка, оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человек, завел кур, кроликов —дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, — очень злое и умное животное... И, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополе бросила.

— Вы шутите?

— Ничуть. История очень обыкновенная. *Qui se marie par amour a bonnes nuits et mauvais jours*[17]. А у меня даже и того и другого было очень мало. Бросила на второй год после замужества.

— Где же она теперь?

— Не знаю.

Она долго молчала. По экрану дурацки бегал на раскинутых ступнях в нелепо огромных разбитых башмаках и в котелке набок какой-то подражатель Чаплина.

— Да, вам, верно, очень одиноко, — сказала она.

— Да. Но что ж, надо терпеть. *Patience — médecine des pauvres*[18].

— Очень грустная *médecine*.

— Да, невеселая. До того, — сказал он, усмехаясь, — что я иногда даже в «Иллюстрированную Россию» заглядывал, — там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений: «Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку... Серьезная дама шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с девятилетним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином не моложе сорока лет, материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательна...» Вполне ее понимаю — не обязательна.

— Но разве у вас нет друзей, знакомых?

— Друзей нет. А знакомства плохая утеха.

— Кто же ваше хозяйство ведет?

— Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит *femme de ménage*[19].

— Бедный! — сказала она, сжав его руку.

И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синевато-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломленный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса, снизу, из провала дымного от папирос зала, — они сидели на балконе, — гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно-радостный хохот.

Он наклонился к ней:

— Знаете что? Поедемте куда-нибудь, на Монпарнас, например, тут ужасно скучно и дышать нечем...

Она кивнула головой и стала надевать перчатки.

Снова сев в полутемную карету и глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной выши-

не то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами с угольно-крупными ресницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом губами.

В кафе «Sourole» начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили, пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица.

— Но скажите правду, — говорила она, щепотками снимая с кончика языка крошки табаку, — ведь были же у вас встречи за эти годы?

— Были. Но вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели... А у вас?

Она помолчала:

— Была одна очень тяжелая история... Нет, я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер в сущности... Но как вы разошлись с женой?

— Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец-гречонок, чрезвычайно богатый. И в месяц, два не осталось и следа от чистой, трогательной девочки, которая просто молилась на Белую армию, на всех на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в Пера, получать от него гигантские корзины цветов... «Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело, он для меня просто милый мальчик — и больше ничего...» Милый мальчик! А самой двадцать лет. Нелегко было забыть ее, — прежнюю, екатеринодарскую...

Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше десяти процентов на прислугу. После этого им обоим показалось еще страннее расстаться через полчаса.

— Поедемте ко мне, — сказал он печально. — Посидим, поговорим еще...

— Да, да, — ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе.

Ночной шофер, русский, привез их в одинокий переулок, к подъезду высокого дома, возле которого, в металлическом свете газо-

вого фонаря, сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь. Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил еще выпить вина.

— Нет, дорогой мой, — сказала она, — я больше не могу.

Он стал просить:

— Выпьем только по бокалу белого, у меня стоит за окном отличное пуи.

— Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети, вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам... И вообще, зачем нам расставаться?

Он от волнения не мог ответить, молча провел ее в спальню, осветил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем как по крыше

бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.

Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного, горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню.

В спальне, в большом зеркале на стене напротив, ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди.

— Нельзя сюда! — сказала она и, накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску.

Через день, оставив службу, она переехала к нему.

Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано.

— Предосторожность никогда не мешает, — говорил он. — *L'amour fait danser les ânes*

[20], и я чувствую себя так, точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть...

На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, — читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза...

Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной — и о ее, конченной.

Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидела его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.

*26 октября 1940*

### **Галя Ганская**

**Х**удожник и бывший моряк сидели на террасе парижского кафе. Был апрель, и художник восхищался: как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах!

— А в мои золотые времена Париж весной

был, конечно, еще прекраснее, — говорил он. — И не потому только, что я был молод, — сам Париж совсем другой. Подумай: ни одного автомобиля. И разве так, как теперь, жил Париж!

— А мне почему-то вспомнилась одесская весна, — сказал моряк. — Ты, как одессит, еще лучше меня знаешь всю ее совершенно особенную прелесть — это смешение уже горячего солнца и морской еще зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской...

Художник, раскуривая трубку, крикнул: «Garon, un demi!»[21] — и живо обернулся к нему:

— Извини, я тебя перебил. Представь себе — говоря о Париже, я тоже думал об Одессе. Ты совершенно прав, — одесская весна действительно нечто особенное. Только я всегда вспоминаю как-то нераздельно парижские весны и одесские, они у меня чередовались, ты ведь знаешь, как часто ездил я в те времена в Париж весной... Помнишь Галю Ганскую? Ты видел ее где-то и говорил мне, что

никогда не встречал прелестней девочки. Не помнишь? Но все равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз и о ней, и о той весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. Вероятно, у каждого из нас найдется какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый тяжкий грех, хотя, видит Бог, все-таки невольный. Теперь это дело столь давнее, что я могу рассказать тебе его с полной откровенностью...

Я знал ее еще подростком. Росла она без матери, при отце, которого мать уже давно бросила. Был он очень состоятельный человек, а по профессии неудавшийся художник, любитель, как говорится, но такой страстный, что, кроме живописи, не интересовался ничем в мире и всю жизнь занимался только тем, что стоял за мольбертом и загромождал свой дом — у него была усадьба в Отраде — старыми и новыми картинами, скупая все, что ему нравилось, всюду, где возможно. Очень красивый был человек, дородный, вы-

сокий, с чудесной бронзовой бородой, полупо-  
ляк, полухохол, с повадками большого бари-  
на, гордый и изысканно-вежливый, внутрен-  
не очень замкнутый, но делавший вид очень  
открытого человека, особенно с нами: одно  
время все мы, молодые одесские художники,  
гурьбой ходили к нему каждое воскресенье  
года два подряд, и он всегда встречал нас с  
распростертыми объятиями, держался с на-  
ми, при всей разнице наших лет, совсем по-  
товарищески, без конца говорил о живописи,  
угощал на славу. Гале было тогда лет трина-  
дцать-четыренадцать, и мы восхищались ею,  
конечно, только как девочкой: мила, резва,  
грациозна была она на редкость, личико с ру-  
сыми локонами вдоль щек, как у ангела, но  
так кокетлива, что отец однажды сказал нам,  
когда она вбежала зачем-то к нему в мастер-  
скую, что-то шепнула ему на ухо и тотчас вы-  
скочила вон:

— Ой, ой, что за девчонка растет у меня,  
друзья мои! Боюсь я за нее!

Потом, с грубостью молодости, мы как-то  
сразу и все до единого, точно сговорившись,  
бросили ходить к нему, что-то надоело мне в

Отраде — верно, его непрестанные разговоры об искусстве и о том, что он наконец открыл еще один замечательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провел две весны в Париже, вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дел и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлейшим щеголем: цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, полулаковые ботинки с пуговками, удивительная тросточка, а к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопассана, и обращение с женщинами совершенно подлое по безответственности. И вот иду я однажды в чудесный апрельский день по Дерибасовской, перехожу Преображенскую и на углу, возле кофейни Либмана, встречаюсь вдруг с Галей. Помнишь пятиэтажный угловой дом, где была эта кофейня, — на углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тем, что весной, в солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом? Мило и весело было это чрезвычайно. И вот представь себе: весна, всюду множество нарядного, беззаботного и приветливого народа, эти скворцы, сыплющие немолчным

щепетом, точно каким-то солнечным дождем, — и Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая тоненькая девушка во всем новеньком, светло-сером, весеннем. Личико под серой шляпкой наполовину закрыто пепельной вуалькой, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза. Ну, конечно, восклицания, расспросы и упреки: как вы все забыли папу, как давно не были у нас! — Ах да, — говорю, — так давно, что вы успели вырасти. — Тотчас купил ей у оборванной девчонки букетик фиалок, она с быстрой благодарной улыбкой глазами тотчас, как полагается у всех женщин, сует его к лицу себе. — Хотите присядем, хотите шоколаду? — С удовольствием. — Подняла вуальку, пьет шоколад, празднично поглядывает и все спрашивает о Париже, а я все гляжу на нее. — Папа работает с утра до вечера, а вы много работаете или все парижанками увлекаетесь? — Нет, больше не увлекаюсь, работаю и написал несколько порядочных вещей. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вам можно, вы же дочь художника, и живу я в двух шагах отсюда. — Ужасно обрадовалась: — Конечно, можно! И

потом, я никогда не была ни в одной мастерской. Кроме папиной! — Опустила вуальку, схватила зонтик. Я беру ее под руку, она на ходу попадает мне в ногу и смеется. — Галя, — говорю, — ведь мне можно называть вас Галей? — Быстро и серьезно отвечает: вам можно. — Галя, что с вами сделалось? — А что? — Вы и всегда были прелестны, а теперь прелестны просто на удивление! — Опять попадает в ногу и говорит не то шутя, не то серьезно: — Это еще что, то ли будет! — Ты помнишь темную, узкую лестницу на мою вышку со двора? — Тут она вдруг притихла, идет, шурша нижней шелковой юбочкой, и все оглядывается. В мастерскую вошла даже с некоторым благоговением, начала шепотом: ка-ак у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван! и сколько картин вы написали, и все Париж... И стала ходить от картины к картине с тихим восхищением, заставляя себя быть даже не в меру неторопливой, внимательной. Насмотрелась, вздохнула: да, сколько прекрасных вещей вы создали! — Хотите рюмочку портвейна и печений? — Не знаю... — Я взял у ней зонтик, бросил его на

диван, взял ее ручку в лайковой белой перчатке: можно поцеловать? — Но я же в перчатке... — Расстегнул перчатку, поцеловал начало маленькой ладони. Опустила вуальку, без выражения смотрит сквозь нее аквамариновыми глазами, тихо говорит: ну мне пора. — Нет, — говорю, — сперва посидим немного, я вас еще не рассмотрел хорошенько. — Сел и посадил ее к себе на колени, — знаешь эту восхитительную женскую тяжесть даже легоньких? Она как-то загадочно спрашивает: я вам нравлюсь? Посмотрел я на нее на всю, посмотрел на фиалки, которые она приколола к своей новенькой жакетке, и даже засмеялся от умиления: а вам, — говорю, — вот эти фиалки нравятся? — Я не понимаю. — Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же, как эти фиалки. — Опустив глаза, смеется: — У нас в гимназии такие сравнения барышень с разными цветами называли писарскими. — Пусть так, но как же иначе сказать? — Не знаю... — И слегка болтает висящими нарядными ножками, детские губки полуоткрыты, поблескивают... Поднял вуальку, отклонил головку, поцеловал — еще

немного отклонила. Пошел по скользкому шелковому зеленоватому чулку вверх, до застежки на нем, до резинки, отстегнул ее, поцеловал теплое розовое тело начала бедра, потом опять в полуоткрытый ротик — стала чуть-чуть кусать мне губы...

Моряк с усмешкой покачал головой:

— *Vieux satire!*[22]

— Не говори глупостей, — сказал художник. — Мне это очень больно вспоминать.

— Ну, хорошо, рассказывай дальше.

— Дальше было то, что я не видал ее целый год. Однажды, тоже весной, пошел наконец в Отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорел от стыда, как по-свински мы его бросили. Очень постарел, в бороде серебрится, но все та же одушевленность в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мне свои новые работы — летят над какими-то голубыми дюнами огромные золотые лебеди — старается, бедняк, не отстать от века. Я вру напропалую: чудесно, чудесно, большой шаг вперед вы сделали! Крепитесь, но сияет, как мальчик. — Ну, очень рад, очень рад, а теперь завтракать! —

А где дочка? — Уехала в город. Вы ее не узнаете! Не девочка, а уже девушка и, главное, совсем, совсем другая: выросла, вытянулась, как та топуля! — Вот не повезло, думаю, я и пошел-то к старику только потому, что ужасно захотелось видеть ее, и вот, как нарочно, она в городе. Позавтракал, расцеловал мягкую, душистую бороду, наобещал быть непременно в следующее воскресенье, вышел — а навстречу мне она. Радостно остановилась: вы? какими судьбами? были у папы? ах, как я рада! — А я еще больше, говорю, папа мне сказал, что вас теперь и узнать нельзя, уж не топок, а целый тополь, — так оно и есть. — И действительно так: даже как будто и не барышня, а молоденькая женщина. Улыбается и вертит на плече раскрытым зонтиком. Зонтик белый, кружевной, платье и большая шляпа тоже белые, кружевные, волосы сбоку шляпки с прелестнейшим рыжим оттенком, в глазах уже нет прежней наивности, личико удлинилось... — Да, я ростом даже немножко выше вас. — Я только качаю головой: правда, правда... — Пройдемся, — говорю, — к морю. — Пройдемся. — Пошли между садами пе-

реулком, вижу, все время чувствует, что, говоря что попало, я не свожу с нее глаз. Идет, стройно поводя плечами, зонтик закрыла, левой рукой держит кружевную юбку. Вышли на обрыв — подуло свежим ветром. Сады уже одеваются, млеют под солнцем, а море точно северное, низкое, ледяное, заворачивает крутой зеленой волной, все в барашках, вдали тонет в сизой мути, одним словом, Понт Эвксинский. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждем, она, очевидно, думает то же, что и я, — как она сидела у меня на коленях год тому назад. Я взял ее за талию и так сильно прижал всю к себе, что она выгнулась, ловлю губы — старается высвободиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдается, дает мне их. И все это молча — ни я, ни она ни звука. Потом вдруг вырвалась и, поправляя шляпку, просто и убежденно говорит:

— Ах, какой вы негодяй. Какой негодяй.

Повернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла по переулку.

— Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нет? — спросил моряк.

— До конца не было. Целовались ужасно,

ну и все прочее, но тогда меня жалость взяла: вся покраснелась, как огонь, вся растрепалась, и вижу, что уже не владеет собой совсем по-детски — и страшно и ужасно хочется этого страшного. Сделал вид, что обиделся: ну не надо, не надо, не хотите, так не надо... Стал нежно целовать ручки, успокоилась...

— Но как же после этого ты целый год не видал ее?

— А черт его знает как. Боялся, что второй раз не пожалею.

— Плохой же ты был Мопассан.

— Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видел я ее еще с полгода. Прошло лето, стали все возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на даче — эта бессарабская осень нечто божественное по спокойствию однообразных жарких дней, по ясности воздуха, по красоте ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей. Вернулся с дачи и я, иду раз опять мимо Либмана — и, представь себе, опять навстречу она. Подходит ко мне как ни в чем не бывало и начинает хохотать, очаровательно кривя рот: «Вот роковое место, опять Либман!»

— Что это вы такая веселая? Страшно рад вас видеть, но что с вами?

— Не знаю. После моря все время ног под собой не чую от удовольствия бегать по городу. Загорела и еще вытянулась — правда?

Смотрю — правда, и, главное, такая веселость и свобода в разговоре, в смехе и во всем обращении, точно замуж вышла. И вдруг говорит:

— У вас есть портвейн и печенья?

— Есть.

— Я опять хочу посмотреть вашу мастерскую. Можно?

— Господи боже мой! Еще бы!

— Ну, так идем. И быстро, быстро!

На лестнице я ее поймал, она опять выгнулась, опять замотала головой, но без большого сопротивления. Я довел ее до мастерской, целуя в закинутое лицо. В мастерской таинственно зашептала:

— Но послушайте, ведь это же безумие... Я с ума сошла...

А сама уже сдернула соломенную шляпку и бросила ее в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты черепахо-

вым стоячим гребнем, на лбу поднятая челка, лицо в легком ровном загаре, глаза глядят бессмысленно-радостно... Я стал как попало раздевать ее, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с нее белую шелковую блузку, и у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виде ее розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечно-сти приподнятых корсетом грудей с алыми торчащими сосками, потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одна за другой стройные ножки в золотистых туфельках, в ажурных кремовых чулках, в этих, знаешь, батистовых широких панталонах с разрезом в шагу, как носили в то время. Когда я зверски кинул ее на подушки дивана, глаза у ней почернели и еще больше расширились, губы горячечно раскрылись, — как сейчас все это вижу, страстна она была необыкновенно... Но оставим это. Вот что случилось недели через две, в течение которых она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбегает она однажды ко мне утром и прямо с порога:

— Ты, говорят, на днях в Италию уезжа-

ешь?

— Да. Так что ж с того?

— Почему же ты не сказал мне об этом ни слова? Хотел тайком уехать?

— Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать.

— При папе? Почему не мне наедине? Нет, ты никуда не поедешь!

Я по-дурацки вспыхнул:

— Нет, поеду.

— Нет, не поедешь.

— А я тебе говорю, что поеду.

— Это твое последнее слово?

— Последнее. Но пойми, что я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя...

— Я вам не Галя. Я вас теперь поняла — все, все поняла! И если бы вы сейчас стали клясться мне, что вы никуда и никогда вовеки не поедете, мне теперь все равно. Дело уже не в том!

И, распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и зачастила каблучками вниз по лестнице. Я хотел кинуться за ней, но удержался: нет, пусть придет в себя, вечером отправлюсь в

Отраду, скажу, что не хочу огорчать ее, в Италию не еду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг входит ко мне с дикими глазами художник Синани:

— Ты знаешь — у Ганского дочь отравилась! Насмерть! Чем-то, черт его знает, редким, молниеносным, стащила что-то у отца — помнишь, этот старый идиот показывал нам целый шкапчик с ядами, воображая себя Леонардо да Винчи. Вот сумасшедший народ эти проклятые поляки и польки! Что с ней вдруг случилось — непостижимо!

— Я хотел застрелиться, — тихо сказал художник, помолчав и набивая трубку. — Чуть с ума не сошел...

*28 октября 1940*

## **Генрих**

**В** сказочный морозный вечер с сиреневым винеем в садах лихач Касаткин мчал Глебова на высоких, узких санках вниз по Тверской в Лоскутную гостиницу — заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое прозрачное небо, тонко сквозили пролетами вер-

хи колоколен, но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей.

У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:

— Отвезешь меня на Брестский.

— Слушаю-с, — ответил Касаткин. — За границу, значит, отправляетесь.

— За границу.

Круто поворачивая высокого старого рыска, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой:

— Охота пуще неволи!

Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх, — вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное. «И правда, зачем я еду?» Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет... В Ницце теперь чудесно, Ген-

рих отличный товарищ... А главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча... остановишься где-нибудь в пути, — кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на Венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку... Потом ночь, Италия... Утром, по дороге вдоль моря к Ницце, то пролеты в грохочущей и дымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчике... И он быстро пошел по коврам теплых коридоров Лоскутной.

В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Все было прибрано, чемоданы гото-

вы. И опять стало немного грустно — жаль покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли...

Надя должна была вот-вот забежать проститься, он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услышал скорый стук в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз.

— Едешь?

— Еду, Надюша...

Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку.

— Знаешь, я, слава богу, ночью заболела... Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал! Почему ты мне не позволяешь?

— Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди, будешь чувствовать себя лишней, одинокой...

— А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, ка-

жется, жизнь отдала!

— А я? Но ты же знаешь, что это невозможно...  
но...

Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей щеке ее слезы.

— Надюша, что же это?

Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:

— Нет, нет, я не буду... Я не хочу по-женски стеснять тебя, ты поэт, тебе необходима свобода.

— Ты у меня умница, — сказал он, умиляясь ее серьезности и ее детским профилем — чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах. — Ты у меня не такая, как другие женщины, ты сама поэтесса.

Она топнула в пол:

— Не смей мне говорить о других женщинах!

И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием:

— На минутку... Нынче еще можно...

Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас увидал Ли: тонкая, длинная, в прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и в черном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щек черные букли, держа руки в большой каракулевой муфте, она зло смотрела на него своими страшными в своем великолепии черными глазами.

— Все-таки уезжаешь, негодяй, — безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботинками вслед за носильщиком. — Погоди, пожалеешь, другой такой не наживешь, останешься со своей дурочкой-поэтессой.

— Эта дурочка еще совсем ребенок, Ли, — как тебе не грех думать бог знает что.

— Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть это бог знает что, я тебя серной кислотой оболую.

Из-под готового поезда, сверху освещенного матовыми электрическими шарами, валил

горячо шипящий серый пар, пахнувший каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пестром блеске стен, обитых тисненой кожей, и толстых, зернистых дверных стекол, была уже заграница. Проводник-поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым красным абажуром.

— Какой ты счастливый! — сказала Ли. — Тут у тебя даже собственный нужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва-спутница?

И она подергала дверь в соседнее купе:

— Нет, тут заперто. Ну, счастлив твой Бог! Целуй скорее, сейчас будет третий звонок.

Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки и шепча:

— Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!

За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами.

— Ну что, напрощался? Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой.

— Начинаешь ревновать, Генрих?

— Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала ее полной отставки.

— Вот в том-то и дело, что опасна, попробуй-ка сразу оставить такую! А потом, ведь

переносу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним.

— Нет, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего затем, чтобы развязаться с ним.

— Могла бы сделать это письменно. И отлично могла бы ехать прямо со мной.

Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцами волосы, мягко касаясь их, положив ногу на ногу в серых замшевых туфлях с серебряными пряжками.

— Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ницце восемнадцатого, а я не позднее двадцатого, двадцать первого. И довольно об этом, мы ведь с тобой прежде всего хорошие друзья и товарищи.

— Товарищи... — сказал он, радостно глядя

на ее тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках. — Конечно, лучшего товарища, чем ты, Генрих, у меня никогда не будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно, можно говорить обо всем действительно как с другом, но, знаешь, какая беда? Я все больше влюбляюсь в тебя.

— А где ты был вчера вечером?

— Вечером? Дома.

— А с кем? Ну да бог с тобой. А ночью тебя видели в «Стрельне», ты был в какой-то большой компании в отдельном кабинете, с цыганами. Вот это уже дурной тон — Степы, Груши, их роковые очи...

— А венские пропойцы, вроде Пшибышевского?

— Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части. Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?

— Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша...

— Ну, ну, опиши мне ее.

— Нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна. Что ж тут описывать, не видала ты, что ли, цыганок? Очень

худая и даже не хороша — плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы в каком-то желтом крупном ожерелье, плоский живот... это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длинным шелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь — как подберет на руки шаль из тяжелого старого шелка и пойдет под бубны мелькать из-под подола маленькими башмачками, мотая длинными серебряными серьгами, — просто несчастье! Но идем обе-  
дать.

Она встала, легонько усмехнувшись:

— Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тем, что Бог дает. Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнатки!

— И одна совсем лишняя...

Она накинула на волосы вязаный оренбургский платок, он надел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечным туннелям вагонов, переходя железные лязгающие мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках между вагонами.

Он вернулся один, — сидел в ресторане, курил, — она ушла вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купе счастье совсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла и простыни, вынула его ночное белье, поставила на столик вино, положила плетеную из дранок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полные груди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке и на босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талия у нее была тонкая, бедра полновесные, щиколки легкие, точеные. Он долго целовал ее стоя, потом они сели на постель и стали пить рейнское вино, опять целуясь холодными от вина губами.

— А Ли? — сказала она. — А Маша?

\* \* \*

Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливой грустью:

— Ах, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станции — и вас, вас, «жены человеческие, сеть прельщения человеков»! Эта «сеть» нечто поис-

тине неизъяснимое, божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».

— А у Ли, — спросила Генрих, — груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истеричек.

— Да.

— Она глупа?

— Нет... Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой... Но ты мне надоела с Ли.

— Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.

— И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию...

— А почему не в Ниццу?

— Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное — поедем вместе!

— Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию.

— Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. «Я люблю во Флоренции только треченто...» А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто... И я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухоликого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке... Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, в какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов... Представь себе только:

острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колокольцев тесно, тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы... словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чужая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский мертвый ангел... А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощекие, в черных корсажах и красных шерстяных чулках...

— Ох, уж мне эти поэты! — сказала она с ласковым зевком. — И опять девки, девки... Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю...

\* \* \*

В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем, у морщинистого извозчика, сидевшего на коз-

лах просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.

На рассвете, подняв штору, он увидал бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где, после России, все казалось очень мало — вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей, — и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткой мышино-голубой шинели шел, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.

— Генрих, что ты? — сказал он.

— Не знаю, милый, — ответила она ти-

хо. — Я на рассвете часто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя... Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца... А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки...

— Да, да, и пронзительные цимбалы... Вот я и говорю: пошли австрийка к черту, и поедем дальше.

— Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения — ночью, на улице, под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него на лице! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое... Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими...

— Слушай, правда?

Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватило дыхание.

— Генрих, я не узнаю тебя.

— И я себя. Но иди, иди ко мне.

— Погоди...

— Нет, нет, сию минуту!

— Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?

— Нынче вечером, нынче же вечером!

Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпоры пограничников.

\* \* \*

И был Венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино «Феслау» на

ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восстававших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, еще утренняя тень. Был морозный, первозданно-непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящий огонь при входе в закопченную пасть туннеля. Потом — все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал и петушина гордость и петушинные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале — одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег

поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня — вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах...

В синие сумерки, когда до самого Антибского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной, думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедая в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму; рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с са-

мой ранней молодости не испытывал ничего подобного! Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчики, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты, ударил с эстрады струнный оркестр — телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поезд из Вены должен был привезти ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчика в форме: «Ах, какая каналья вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, кантиками!»

Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденький лакей во фраке, итальянский красавчик с газельими глазами, принес ему кофе: «*Pas de lettres, monsieur, pas de télégrammes*»[23]. Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих,

слушая доносящееся снизу, из-под балкона, итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал:

«Ну и черт с ней. Все понятно».

Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двести франков, поехал назад, чтобы убить время, на извозчике — ехал чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, уи! — и крутой выстрел бича в воздухе... Портье радостно осклабился:

— Pas de télégrammes, monsieur!

Он тупо одевался к обеду, думая все одно и то же:

«Если бы сейчас вдруг постучали в дверь, и она вдруг вошла. Спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни никого на свете так не любил, как ее, что Бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю, — возьми меня всего, всего, Генрих! Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ух, какое это было бы упоение — дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, ко-

торое они распивают сейчас вместе!»

После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой вони копеечных итальянских сигар, выходил на набережную, к смоляной черноте моря, глядел на драгоценное ожерелье его черного изгиба, печально пропадающего вдали направо, заходил в бары и все пил, то коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, он, белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими губами:

— Pas de télégrammes?

И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью:

— Pas de télégrammes, monsieur!

Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фрак, — упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами.

На третий день он крепко заснул после завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведение трезво и твердо. Он потребовал к себе в комнату

чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о ней и не жалеть о своей бессмысленной, испорченной поездке. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет в Москву через Венецию в вечернем поезде: пробуду в Венеции день и в три ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную. Какой он, этот австрияк? По портретам и по рассказам Генриха, рослый, жилистый, с мрачным и решительным, — конечно, наигранным, — взглядом кососклоненного из-под широкополой шляпы лица... Но что о нем думать! И мало ли что будет еще в жизни! Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем, — выделяется резкий безучастный голос черной простоволосой женщины, с шалью на плечах, вторящей разливающемуся коротконогому, кажущемуся с высоты карликом, тенору в шляпе нищего... старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу — прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилианкой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей

миמוзы в волосах цвета маслины... запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой, хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой, перепоясанной красным шарфом талией, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивши левую ногу назад...

Вечерело, вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с опаловым глянецом, над ним зло и жалостно надрывались чайки, чуя на завтра непогоду, дымчато-сизый запад за Антибским мысом был мутен, в нем стоял и мерк диск маленького солнца, апельсина-королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной безнадежной тоской, потом очнулся и бодро пошел к своему отелю. «*Journaux étrangers!*»[24] — крикнул бежавший навстречу газетчик и на бегу сунул ему «Новое время». Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил, оглушенный и ослепленный как бы взрывом маг-

ния:

«Вена. 17 декабря. Сегодня в ресторане „Franzensring“ известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом Генрих».

*10 ноября 1940*

## Натали

### I

**В** то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом, краснел при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились: «Шел бы ты, Мещерский, в монахи!» В то лето я уже не краснел бы. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть как все, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики, и, в силу этого решения, да

и желания показать свой голубой околыш, стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони...

Я приехал поздно, и в доме встретила меня только Соня. Когда я выскочил из тарантаса и вбежал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой со своей обычной насмешливостью:

— Ах, вечно и всюду опаздывающий молодой человек!

— Ну, уж на этот раз никак не по своей вине, — ответил я. — Опоздал не молодой человек, а поезд.

— Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания и наконец махнули на тебя рукой. Папа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, очевидно, оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком, Натали ушла обижен-

ная, прислуга тоже разошлась, одна я оказалась терпелива и верна тебе... Ну, раздевайся, и пойдем ужинать.

Я ответил, любуясь ее синими глазами и поднятой, открытой до плеча рукой:

— Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно — ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет!

Она засмеялась:

— Почти ничего. Но и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики... Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в очень интересного нахала. И это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба.

— Да кто это Натали? — спросил я, входя за ней в освещенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой

летней ночи окнами.

— Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица, не то что я. Представь себе: прелестная головка, так называемые «золотые» волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черные солнца, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего.

— Чего прочего? — спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора.

— А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться — советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь чего. И сложена, как молоденькая нимфа...

На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыру и бутылка красного крымского вина.

— Не прогневайся, больше ничего нет, — сказала она, садясь и наливая вина мне и себе. — И водки нет. Ну, дай Бог, чокнемся хоть вином.

— А что именно дай Бог?

— Найти мне поскорей такого жениха, что

пошел бы нам «во двор». Ведь мне уже двадцать первый год, а выйти куда-нибудь замуж на сторону я никак не могу: с кем же останется папа?

— Ну, дай Бог!

И мы чокнулись, и, медленно выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала смотреть на меня, на то, как я работаю вилкой, стала как бы про себя говорить:

— Да, ты ничего себе, похож на грузина и довольно красив, прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень изменился, стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают.

— Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде...

И я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного боком ко мне; под лампой блестел ровный загар ее руки, сияли сине-лиловые усмехающиеся глаза, и красновато отливали каштаном густые и мягкие волосы, заплетенные на ночь в большую косу; ворот распахнувшегося халатика открывал

круглую загорелую шею и начало полнеющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара; на левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос.

— Ну а что папа?

Она, продолжая смотреть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро:

— Папа, слава богу, молодцом. По-прежнему прям, тверд, постукивает костылем, взбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю... Только еще больше прежнего и еще настойчивее трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с чем не соглашается, — сказала она и засмеялась. — Хочешь папиросу?

Я закурил, хотя еще не курил тогда, она опять налила мне и себе и посмотрела в темноту за открытым окном:

— Да, пока все слава богу. И прекрасное лето, — ночь-то какая, а? Только соловьи уж за-

молчали. И я правда очень тебе рада. Послала за тобой еще в шесть часов, боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись и что ты опаздываешь, что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился, с такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствие — сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда, и наконец услышать, что едут, погромыхивают бубенчики, подкатывают к крыльцу...

Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей, уже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и, будто шутя, сказал:

— Вот ты говоришь Натали... Никакая Натали с тобой не сравнится... Кстати, кто она, откуда?

— Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищей. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего... Очень трогатель-

ная девочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа... Эти Станкевичи недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского, и Натали говорит, что он что-то частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом — богат, подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей.

— Так, — сказал я. — Но вернемся к делу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?

— Натали нашему роману все-таки не помешает, — ответила она. — Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать.

— Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя.

— Да, но ведь это была обычная влюбленность в кузину и притом уж слишком подкормленная, ты тогда только смешон и скучен был. Но бог с тобой, прощаю тебе твою прежнюю глупость и готова начать наш роман зав-

тра же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мне завтра рано вставать по хозяйству.

И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин, — такой счастливой удаче своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых, — я долго и жадно целовал и прижимал ее к притолке, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с пунцовым лицом, она погрозила мне пальцем и тихо сказала:

— Только смотри теперь: завтра, при всех, не смей пожирать меня «страстными взорами»! Избавь бог, если заметит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, я его еще больше. Да и не хочу, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива, не суди, пожалуйста, по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказания, сразу станешь противен мне...

Я разделся и упал в постель с головокружением, но уснул сладко и мгновенно, разбитый

счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками.

Впоследствии я не раз вспоминал, как некое злое предзнаменование, что, когда я вошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня мягко метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже при свете спички ясно увидел ее мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку, потом с гадким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней.

## II

В первый раз я видел Натали на другой день утром только мельком: она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула, — была еще не причесана и в одной легкой распахнутой блузке из чего-то оранжевого, — и, сверкнув этим оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Я был в ту минуту в столовой один, только что кончил пить кофе, — улан кончил раньше и ушел, — и,

встав из-за стола, случайно обернулся...

Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада, крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во все чистое, — особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шелка, — покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронеже, вышел в коридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вместе спальню улана. Зная, что он встает летом часов в пять, постучался. Никто не ответил, и я отворил дверь, заглянул и с удовольствием убедился неизменности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столетний серебристый тополь: налево вся стена в дубовых книжных шкапах, между ними в одном месте высятся часы красного дерева с медным диском неподвижного маятника, в другом стоит целая куча трубок с бисерными чубуками, а над ними висит барометр, в третьем вдвинуто бюро дедовских времен с порыжев-

шим зеленым сукном откинутой доски орехового дерева, а на сукне клещи, молотки, гвозди, медная подзорная труба; на стене возле двери, над стопудовым деревянным диваном, целая галерея выцветших портретов в овальных рамках; под окном письменный стол и глубокое кресло — то и другое тоже огромных размеров; правее, над широчайшей дубовой кроватью, картина во всю стену: почерневший лаковый фон, на нем еле видные клубы смугло-дымчатых облаков и зеленовато-голубых поэтических деревьев, а на переднем плане блещет точно окаменевшим яичным белком голая дородная красавица, чуть не в натуральную величину, стоящая вполупорот к зрителю гордым лицом и всеми выпуклостями полновесной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлиненными расставленными пальцами одной руки сосок груди, а другой низ живота в жирных складках. Оглянув все это, я услышал сзади себя сильный голос улана, с костылем подходившего ко мне из прихожей:

— Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валяетесь по кроват-

тям до трех дубов.

Я поцеловал его широкую сухую руку и спросил:

— Каких дубов, дядя?

— Так мужики говорят, — ответил он, мотая седым коком и оглядывая меня желтыми глазами, еще зоркими и умными. — Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушке, говорят мужики. Ну, пойдем пить кофе...

«Чудесный старик, чудесный дом», — думал я, входя с ним в столовую, в открытые окна которой глядела зелень утреннего сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая, улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая в стакане широким пальцем тонкое и длинное, витое стебло круглой золотой старинной ложечки, я ел ломоть за ломтем черный хлеб с маслом и все подливал себе из горячего серебряного кофейника; улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о соседях-помещиках, на все лады браня и высмеивая их, я при-

творялся, что слушаю, глядел на его усы, баки, на крупные волосы на конце носа, а сам так ждал Натали и Соню, что не сиделось на месте: что это за Натали и как мы встретимся с Соней после вчерашнего? чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спальнях ее и Натали, обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни... Может, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей, — отчего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную кофеворотку, заговорят, засмеются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячего кофейника, — молодой утренний аппетит, молодое утреннее возбуждение, блеск выпавшихся глаз, легкий налет пудры на как будто еще помолодевших после сна щеках и этот смех за каждым словом, не совсем естественный и тем более очаровательный... А перед

завтраком они пойдут по саду к реке, будут раздеваться в купальне, освещаемые по голому телу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды... Воображение всегда было живо у меня, я мысленно видел, как Соня и Натали станут, держась за перила лесенки в купальне, неловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зеленого бархата слизи, наросшей на них, как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями — и, вся странно видная в воде голубовато-меловым телом, косо разведет в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка...

— Ну, до обеда, ты ведь помнишь: обед в двенадцать, — отрицательно качая головой, сказал улан и встал со своим выбритым подбородком, в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокий, старчески твердый, в просторном чесучовом костюме и тупоносых башмаках, с костылем в широкой руке, покрытой гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтобы выйти через соседнюю ком-

нату на балкон, она и вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищением. Я вышел на балкон изумленный: в самом деле, красавица! — и долго стоял, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовую, но когда наконец услышал их в столовой с балкона, вдруг сбежал в сад, — охватил какой-то страх не то перед обеими, с одной из которых я имел уже пленительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тем мгновенным, чем она полчаса тому назад ослепила меня в своей быстроте. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в речной низменности, наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную при цвете ее волос:

— Мы уже виделись!

Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную балюстраду, с летним удовольствием чувствуя, как горячо печет нам раскрытые головы, и Натали стояла возле меня, а Соня, обняв ее и будто рассеянно глядя ку-

да-то, с усмешкой напевала: «Средь шумного бала, случайно...» Потом выпрямилась:

— Ну, купаться! В первую очередь мы, потом пойдешь ты...

Натали побежала за простынями, а она задержалась и шепнула мне:

— Изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо.

И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что да, уже не надо, а она, покосясь на дверь, тихо прибавила:

— Приду к тебе после обеда...

Когда они вернулись, пошел в купальню я — сперва по длинной березовой аллее, потом среди разных старых деревьев прибрежья, где тепло пахло речной водой и орали на древесных верхушках грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Соне, о том, что я буду купаться в той же воде, в которой только что купались они...

После обеда среди всего того счастливого, бесцельного, привольного и спокойного, что глядело из сада в открытые окна, — небо, зе-

лень, солнце, — после долгого обеда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я втайне замирал от присутствия Натали и от ожидания того часа, когда затихнет весь дом на послеобеденное время и Соня (вышедшая к обеду с темно-красной бархатистой розой в волосах) тайком прибежит ко мне, чтобы продолжить вчерашнее уже не наспех и не как-нибудь, я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диване, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное, полуполуденное пение птиц в саду, из которого шел в ставни сладкий от цветов и трав воздух, и безвыходно думал: как же мне теперь жить в этой двойственности — в тайных свиданиях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, с которым я давеча глядел на ее тонкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады? Соня,

облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюаре с оборками похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она, в холстинковой юбочке и вышитой малороссийской сорочке, под которыми угадывалось все юное совершенство ее сложения, казалась чуть не подростком. В том-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами, с какими целовал вчера Соню! В легком и широком рукаве сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ее тонкая рука, к сухо-золотистой коже которой прилегали рыжеватые волоски, — я глядел и думал: что испытал бы я, если бы посмел коснуться их губами?! И, чувствуя мой взгляд, она вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспешно опустил глаза, увидав ее ноги сквозь просвечивающий на солнце подол юбки и тонкие, крепкие, породистые щиколки в сером прозрачном чулке...

Соня, с розой в волосах, быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула: «Как, ты

спал!» Я вскочил — что ты, что ты, мог ли я спать! — схватил ее руки. «Запри дверь на ключ...» Я кинулся к двери, она села на диван, закрывая глаза, — «Ну, иди ко мне», — и мы сразу потеряли всякий стыд и рассудок. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты, и она, во всей прелести своего жаркого тела, позволяла целовать себя уже всюду — только целовать — и все сумрачней закрывала глаза, все больше разгоралась лицом. И опять, уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила:

— А что до Натали, то повторяю: берегись перейти за притворство. Характер у меня во все не такой милый, как можно думать!

Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ее темно-красный бархат стал вялым и лиловым.

### III

Жизнь моя пошла внешне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке изнурительно-страстных свиданий с ней по ночам, — она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал, — и все мучительнее и вос-

торженнее следя тайком за Натали, за каждым ее движением. Все шло обычным летним порядком: встречи утром, купание перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад, — они что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тенистой полянке под дубами, недалеко от дома, вправо от балкона; в пятом часу чай на другой тенистой поляне, влево, вечером прогулки или крокет на широком дворе перед домом, — я с Натали против Сони или Соня с Натали против меня, — в сумерки ужин в столовой... После ужина улан уходил спать, а мы еще долго сидели в темноте на балконе, мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила: «Ну, спать!» — и, простясь с ними, я шел к себе, с холодеющими руками ждал того заветного часа, когда весь дом станет темен и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бегут карманные часы у моего изголовья под нагоревшей свечой, и все дивился, ужасался: за что так наказал меня Бог, за что дал сразу две любви, такие разные и такие страстные, такую мучи-

тельную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущения их потом весь день, и все это рядом с Натали! Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем наедине говорила мне:

— Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали недостаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натали тоже, а нянька, конечно, уже уверена в нашем романе и небось наушничает папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный «Обрыв», уводи ее иногда гулять по вечерам... Это ужасно, я ведь замечаю, как идиотски ты пялишь на нее глаза, временами чувствую к тебе ненависть, готова, как какая-нибудь Одарка, вцепиться при всех тебе в волосы, да что же мне делать?

Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливее, играла в

крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала ноты, полулежа на диване:

— А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.

Она резко взглянула на меня:

— Как это?

— Мой кузен, Алексей Николаич Мещерский...

Она не дала мне договорить:

— Ах, вот что! Ваш кузен, этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, картавящий великан с красным сочным ртом... И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?

Я испугался:

— Натали, Натали, за что вы так строги ко мне! Даже пошутить нельзя! Ну простите меня, — сказал я, беря ее руку.

Она не отняла руки и сказала:

— Я до сих пор не понимаю... не знаю вас... Но довольно об этом...

Чтобы не видеть ее томительно влекущих

к себе теннисных белых башмачков, вкось подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тускнел воздух, все шире и ближе шел по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождевым ветром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то беспричинное, на все согласное счастье, что я крикнул:

— Натали, на минутку!

Она подошла к порогу:

— Что?

— Вдохните — какой ветер! Какой радостью могло бы быть все!

Она помолчала.

— Да.

— Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имеете против меня?

Она гордо пожала плечом:

— Что и почему я могу иметь против вас?

Вечером, лежа в темноте в плетеных креслах на балконе, мы все трое молчали, — звезды только кое-где мелькали в темных облаках, слабо тянуло со стороны реки вялым ветром, так дремотно журчали лягушки.

— К дождю, спать хочется, — сказала Соня,

подавляя зевок. — Нянька сказала, родился молодой месяц и теперь с неделю будет «обмываться». — И, помолчав, добавила: — Натали, что вы думаете о первой любви?

Натали откликнулась из темноты:

— Я в одном убеждена: в страшном различии первой любви юноши и девушки.

Соня подумала:

— Ну, и девушки бывают разные...

И решительно встала:

— Нет, спать, спать!

— А я еще подремлю тут, мне ночь нравится, — сказала Натали.

Я прошептал, слушая удаляющиеся шаги Сони:

— Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами!

Она ответила:

— Да, да, мы нехорошо говорили...

На другой день мы встретились как будто спокойно. Ночью шел тихий дождь, но утром погода разгулялась, после обеда стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня делала какие-то хозяйственные подсчеты в кабинете улана, мы сидели в березовой аллее

и пытались продолжать чтение вслух «Обрыва». Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой, я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилежавшие к ней выше кисти и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и читал все оживленнее, не понимая ни слова. Наконец сказал:

— Ну теперь почитайте вы...

Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее груди, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки, на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку ее голоса. В разных местах предвечернего сада вскрикивали на лету иволги, против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллее среди берез, красновато-серый дятел...

— Натали, какой удивительный цвет волос у вас! А коса немного темнее, цвета спелой

кукурузы...

Она продолжала читать.

— Натали, дятел, посмотрите!

Она взглянула вверх:

— Да, да, я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела... Не мешайте читать.

Я помолчал, потом снова:

— Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков.

— Что, где?

Я указал на скамью между нами, на засохший известковый помет:

— Правда?

Я взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья:

— Натали, Натали!

Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила:

— Но вы же любите Сою!

Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью отсекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:

— Это неправда?

— Неправда, неправда! Я ее очень люблю, но как сестру, ведь мы знаем друг друга с дет-

ства!

## IV

На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду.

— Соня, что с Натали? — спросил улан, и Соня ответила, нехорошо засмеявшись:

— Лежит все утро в распашонке, нечесаная, по лицу видно, что ревела, принесли ей кофе — не допила... Что такое? «Голова болит». Уж не влюбилась ли!

— Очень просто, — сказал улан бодро, с одобрительным намеком глянув на меня, но отрицая головой.

Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии, туфельки черные, на высоких каблучках, — я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал «Исторический вестник»,

несколько книг которого дал мне улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущенной приветливостью:

— Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.

— Как? То вы, то она?

— У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок...

— До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах! — сказал я. И вдруг спросил, краснея: — Вы вчера мне поверили?

Она тоже покраснела — тонко и ало — и отвернулась:

— Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам... И что, в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Но идем...

К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мне:

— Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.

— Неужто даже не заглянешь нынче ко мне?

— Ты глуп!

Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видеть по ночам у себя Сони!

С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали — я никогда еще не видал ее такой деловитой, видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик-повар и Христя, хохлушка-горничная, приносили и подавали вовремя, не раздражая улана, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала, и я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боится Сони или се-

бя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя, и я упивался все крепнущей мечтой: не навек же я связан с Соней, не век же мне — да и Натали — гостить тут, через неделю-другую я все равно должен буду уехать — и тогда конец моим мучениям... найду предлог поехать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой... Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ее любовь и руку, будет, конечно, очень больно, — разве только с одной страстью целую я Соню, разве я не люблю и ее? — но что же делать, этого, рано или поздно, все равно не избежишь... И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то, я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее — терпеть, терпеть до поры, до времени. Я страдал, скучал, — как нарочно, дня три шел дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше, в доме было сумрачно, на потолке и на лампе в столовой спали мухи, — но крепился, по часам сидел иногда в кабинете улана, слушая его всякие рассказы... Соня начала выхо-

дить сперва в халатике, на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствия Натали:

— Посиди возле меня, Витик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное... Месяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; распогодилось, и как сладко пахнет цветами...

Я, втайне раздражаясь, отвечал:

— Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.

Она била меня по руке:

— Не смей возражать больной!

Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная и приказывающая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе и Христа понесла со стола самовар в поварскую:

— Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете.

— Я скучаю только без вас, — ответил я. — Когда вас нет...

Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась:

— Но мы же условились не ссориться больше... Послушайте лучше вот что: вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказания насчет месяца, слава богу, не сбылись, ночь будет прекрасная...

— Соне меня жаль, а вам? Нисколько?

— Страшно жаль, — ответила она и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду. — Но, слава богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать...

При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нет! Это просто только ласковое слово! Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролегавший между усадьбой и хохлацкой деревней немного выше ее, на степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля.

Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля, там только что село солнце, горел закат. Справа от меня краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром и уже светил в небе молодой месяц, блестела половина его, не сулившая ничего доброго: как прозрачная паутина, видна была и другая половина, а все вместе напоминало желудь.

За ужином — ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко, — я сказал улану:

— Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.

— Почему, мой друг?

— Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас...

— Это почему?

Натали тоже вскинула на меня глаза:

— Вы собираетесь уезжать?

Я притворно засмеялся:

— Не могу же я...

Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:

— Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпускаю. Да вот и она не отпустит.

— Я не имею никаких прав на Виталия Петровича, — сказала Натали.

Я жалобно воскликнул:

— Дядя, запретите Натали называть меня так!

Улан хлопнул ладонью по столу:

— Запрещаю. И довольно болтать о твоём отъезде. Вот насчет дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.

— В поле было уже слишком чисто, ясно, — сказал я. — И месяц очень чист и похож на желудь, и дуло с юга. И вот, видите, уже находят облака...

Улан повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет:

— Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс...

В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, в унынии думая: все это

вздор, если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные... Молодой месяц играл все выше и ярче в горах все больше скоплавшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-бледное, все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то: Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:

— Вы еще не спите?

— Но вы же мне сказали...

— Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать.

Я пошел за ней, она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:

— Как волшеббно блестят вдали березы. Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине...

Она остановилась, в упор мне чернея в сумраке глазами:

— Вы правда уезжаете?

— Да, пора.

— Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.

— Натали, можно мне приехать представиться вашим, когда вы вернетесь домой?

Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая, правую.

— Натали...

— Да, да, я вас люблю, — сказала она поспешно и невыразительно и пошла назад к дому. Я лунатически пошел за ней.

— Уезжайте завтра же, — сказала она на ходу, не оборачиваясь. — Я вернусь домой через несколько дней.

## V

Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и

дивном, что так внезапно и неожиданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже потонули в темноте от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом затворил одно за другим окна, лова их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по темным коридорам в столовую: мне, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стекла, но я все-таки побежал и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты — я увидал это при том зелено-голубом озарении, в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное, сразу раскрывавшееся всюду, точно быстрые глаза,

и делавшее огромными и видимыми до последнего переплета все оконные рамы, а затем тотчас же затоплявшееся густым мраком, на секунду оставлявшее в ослепшем зрении след чего-то жестяного, красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шепот:

— Где ты был? Мне страшно, зажги скорей огонь...

Я чиркнул спичкой и увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу.

— Или нет, нет, не надо, — поспешно сказала она, — иди скорей ко мне, обними меня, я боюсь...

Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала:

— Ну поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем, я целую неделю не была с тобой!

И с силой откинула меня и себя на подушки дивана.

В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке, со свечой в руке. Она сразу увидела нас, но

все-таки бессознательно крикнула:

— Соня, где ты? Я страшно боюсь...

И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней.

## VI

Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его Благодатном при пустой церкви — и мы и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым.

В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благодатном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил Святки дома, в деревне, и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в город, пока извозчичьи сани несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и

начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи и студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился, — во всяком случае, привык к тому состоянию душевнобольного человека, которым втайне был, и внешне жил, как все.

Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с ее хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза, в новеньком мундире и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли, верно, за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. И я наконец пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над са-

мой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, — и вдруг подался назад: из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, дороден, весь черен блестящими черными волосами и фраком и легок той легкостью, которой удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся, несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя с таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссада-

ми обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял... В двери залы наискось против меня, еще совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах, — хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица-казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись — откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу — *Gaudeamus igitur!*[25] — остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью:

— Ой, но вы и так страшно бледный!

Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками, в надежде, что у меня разорвется сердце...

И прошло еще полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привез ее телеграмму из Благодатного: «Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара». Отец перекрестился и сказал:

— Царство Небесное. Какой ужас. Прости меня, Боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Ведь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль — вдова в такие годы, с ребенком на руках... Никогда ее не видал, — он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне, — но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за полтораста верст, конечно, не можем, надо ехать тебе.

Отказаться было нельзя, — в силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал: я ее увижу! Предлог для встречи был страшный, но законный.

Мы послали ответную телеграмму, и на другой день, майской вечерней зарею, лошади из Благодатного в полчаса доставили меня

со станции в усадьбу. Подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидал, что по западной стене дома, обращенной к еще светлому закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли: за ними лежал он и была она! Во дворе, густо заросшем молодой травой, погромыхивали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, — и приезжие и дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свежесть и новизна всего — полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльце, у настежь раскрытых в сени дверей, стоямя прислонена была к стене большая желтая глазетовая крышка гроба. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость,

красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью — как вступить в этот дом, вновь увидеть ее лицом к лицу после трех лет разлуки и уже вдовой, матерью! И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свечными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавием в передний угол, озаренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трех высоких церковных свечей, — вошел под возгласы и пение священнослужителей, с каждением и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видеть желтой парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть ее. Кто-то подал мне зажженную свечу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью, и с тупой покорностью

слушая эти возгласы и бряцание кадила, исподлобья видя плывущий к потолку торжественно и приторно пахнувший дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее, — впереди всех, в трауре, со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос, — и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свечами и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, ресниц и глаз, при виде меня опустившихся, низко, низко поклонился, целуя ее руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я ночевал еще гимназистом, приезжая в Благодатное, — там была спальня Мещерского на жаркие летние ночи. Она ответила, не поднимая глаз:

— Я сейчас распоряджусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.

Утром, после отпевания и погребения, я немедленно уехал.

Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза.

## VII

Я кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери... Теперь она, вместе с Иваном Лукичом, нашим бывшим дворовым, седым до зелени стариком с большими лопатками, служила мне. Вид она имела еще полудетский — маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвета сажки, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная тонкой кожей, что отец когда-то говорил: «Вот, верно, такая была Агарь». Мила она была мне бесконечно, я любил носить ее на руках, целуя; я думал: «Вот и все, что осталось мне в жизни!» И она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила, — маленького, черненького мальчика, — и перестала

служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила:

— Нет, мне этого не нужно, мне только стыдно будет перед всеми, какая же я барыня! А вам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите. Вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, — сказала она, глядя на ребенка, который на руках у нее сосал грудь. — Поезжайте, поживите в свое удовольствие, только одно помните: если вы влюбитесь в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вместе с ним.

Я посмотрел на нее — ей не верить было невозможно. И поник головой: да, а мне ведь всего двадцать шесть лет... Влюбиться, жениться — этого я и представить себе не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конченной жизни.

Ранней весной я уехал за границу и провел там месяца четыре. Возвращаясь в конце июня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревне, а на зиму опять куда-нибудь уеду. По дороге из Москвы в Тулу спокой-

но грустил: вот опять я дома, а зачем? Вспомнил Натали — и подумал: да, та любовь «до гроба», которую насмешливо предрекала мне Соня, существует; только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу... И, сидя на вокзале в Туле в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму: «Еду из Москвы мимо вас, буду на вашей станции в девять вечера, позвольте заехать, узнать, как вы поживаете».

Она встретила меня на крыльце, — сзади нее светила лампой горничная, — и с полуулыбкой протянула мне обе руки:

— Я страшно рада!

— Как это ни странно, вы еще немного выросли, — сказал я, целуя и чувствуя их уже с мучением. И взглянул на нее на всю при свете лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком после дождя воздухе, кружились мелкие розовые бабочки: черные глаза смотрели теперь тверже, увереннее, вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платье из зеленой чесучи.

— Да, я все еще расту, — ответила она, грустно улыбаясь.

В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, графинчик с водкой, бутылку лафиту. Она взялась за чайник:

— Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте... Из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?

— Возвращаюсь из Парижа.

— Вот как! И долго там пробыли? Ах, если б я могла поехать куда-нибудь! Но ведь моей девочке всего четвертый год... Вы, говорят, усердно хозяйствуете?

Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволения курить.

— Ах, пожалуйста!

Я закурил и сказал:

— Натали, не нужно вам быть со мной светски-любезной, не обращайтесь на меня осо-

бого внимания, я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости — ведь все, что было, былшем поросло и прошло без возврата. Вы не можете не видеть, что я опять ослеплен вами, но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение — оно теперь бескорыстно и спокойно...

Она склонила голову и ресницы, — к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть, — и лицо ее стало медленно розоветь.

— Это совершенно точно, — сказал я, бледнея, но крепнущим голосом, сам себя уверяя, что говорю правду. — Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которые я попал. И потом, я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью.

— Гибелью?

— А разве не так? Вы до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?

Она помолчала.

— Я видела вас на балу в Воронеже... Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна! Хотя разве бывает несчастная любовь? — сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. — Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? Но расскажите мне о себе, неужели вы навсегда поселились в деревне?

Я с усилием спросил:

— Значит, вы тогда меня еще любили?

— Да.

Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.

— Это правда, что я слышала... что у вас есть любовь, ребенок?

— Это не любовь, — сказал я. — Страшная жалость, нежность, но и только.

— Расскажите мне все.

И я рассказал все — вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне «поехать, пожить в свое удовольствие». И кончил так:

— Теперь вы видите, что я всячески погиб...

— Полноте! — сказала она, думая что-то свое. — У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя.

— Не в браке дело, — сказал я. — Бог мой! Мне жениться!

Она в раздумье посмотрела на меня:

— Да, да. И как странно. Ваше предсказание сбылось — мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь?

И положила руку на руку мне:

— Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильоне приготовлена...

Я покорно поцеловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сел у раскрытого окна, в кресле возле

постели, стал курить, думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заехал, понадеялся на свое спокойствие, на свои силы... Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь — еще теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пели вдали, в разных местах села, первые петухи. Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды, за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стеклянно, в тени же пестро и таинственно... И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестящем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно...

Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили — она, лежа на постели, я, стоя на коленях возле и держа ее руку:

— В ту страшную ночь с молниями я лю-

бил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было.

— Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее...

— Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зеленую чесучу и на твои колени под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней.

— Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы?

— Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышишь. И ты правду сказала: нет несчастной любви. Ах, эта твоя оранжевая распашонка и вся ты, еще почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе! Потом твоя рука в рукаве мало-российской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»

— Да, да.

— А потом ты на балу — такая высокая и

такая страшная в своей уже женской красоте, — как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и гибели! Потом ты со свечой в руке, твой траур и твоя непорочность в нем. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица.

— И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко — разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?

\* \* \*

В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах.

*4 апреля 1941*

### III

#### В одной знакомой улице

Весенней парижской ночью шел по бульвару в сумраке от густой, свежей зелени, под которой металлически блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал:

*В одной знакомой улице  
Я помню старый дом  
С высокой темной лестницей,  
С завешенным окном...*

Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко — и я, студент, какой-то тот я, в существование которого теперь уже не верится...

*Там огонек таинственный  
До полночи светил...*

И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развевал его, и светилось вверху, в мезонине, за красной ситцевой занавеской...

*Ах, что за чудо девушка,  
В заветный час ночной,  
Меня встречала в доме том  
С распущенной косой...*

И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою нищую семью, уехавшая в Москву на курсы... И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок — и за дверью слышались быстро сбегавшие с крутой деревянной лестницы шаги, дверь отворялась — и на нее, на ее шаль и белую кофточку несло ветром, метелью... Я кидался целовать ее, обнимая от ветра, и мы бежали наверх, в морозном холоде и в темноте лестницы, в ее тоже холодную комнатку, скучно освещенную керосиновой лампочкой... Красная занавеска на окне, столик под ним с этой лампочкой, у стены железная кровать. Я бросал куда попало шинель, картуз и брал ее к себе на колени, сев на кровать, чувствуя сквозь юбочку ее тело, ее косточки... Распущенной косы не было, была заплетенная, довольно бедная русая, было

простонародное лицо, прозрачное от голода, глаза тоже прозрачные, крестьянские, губы той нежности, что бывают у слабых девушек...

*Как не по-детски пламенно  
Прильнув к устам моим,  
Она, дрожа, шептала мне:  
«Послушай, убежим!»*

Убежим! Куда, зачем, от кого? Как прелестна эта горячая, детская глупость: «Убежим!» У нас «убежим» не было. Были эти слабые, сладчайшие в мире губы, были от избытка счастья выступавшие на глаза горячие слезы, тяжкое томление юных тел, от которого мы клонили на плечо друг другу головы, и губы ее уже горели, как в жару, когда я расстегивал ее кофточку, целовал млечную девичью грудь с твердевшим недозрелой земляникой острием... Придя в себя, она вскакивала, зажигала спиртовку, подогревала жидкий чай, и мы запивали им белый хлеб с сыром в красной шкурке, без конца говоря о нашем будущем, чувствуя, как несет из-под занавески зимой, свежим холодом, слушая, как сыпет в окно снегом... «В одной знакомой улице я помню

старый дом...» Что еще помню? Помню, как весной провожал ее на Курском вокзале, как мы спешили по платформе с ее ивовой корзинкой и свертком красного одеяла в ремнях, бежали вдоль длинного поезда, уже готового к отходу, заглядывали в переполненные народом зеленые вагоны... Помню, как наконец она взобралась в сенцы одного из них и мы говорили, прощались и целовали друг другу руки, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов... Больше ничего не помню. Ничего больше и не было.

*25 мая 1944*

### **Речной трактир**

**В** «Праге» сверкали люстры, играл среди обеденного шума и говора струнный португальский оркестр, не было ни одного свободного места. Я постоял, оглядываясь, и уже хотел уходить, как увидел знакомого военного доктора, который тотчас пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь, на гремящий трамваями Арбат. Пообедали вместе, порядочно выпив водки и кахетинского, разговаривая о

недавно созванной Государственной думе, спросили кофе. Доктор вынул старый серебряный портсигар, предложил мне свою асмоловскую «пушку» и, закуривая, сказал:

— Да, все Дума да Дума... Не выпить ли нам коньяку? Грустно что-то.

Я принял это в шутку, человек он был характера спокойного и суховатого (крепкий и сильный сложением, к которому очень шла военная форма, жестко рыжий, с серебром на висках), но он серьезно прибавил:

— От весны, должно быть, грустно. К старости, да еще холостой, мечтательной, становишься вообще гораздо чувствительнее, чем в молодости. Слышите, как пахнет тополем, как звонко гремят трамваи? Кстати, закройте окно, неудобно, — сказал он, вставая. — Иван Степаныч, шустовского...

Пока старый половой Иван Степаныч ходил за шустовским, он рассеянно молчал. Когда подали и налили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал, хлебнув коньяку из горячей чашечки:

— Тут еще вот что — некоторые воспоминания. Перед вами заходил сюда поэт Брюсов

с какой-то худенькой, маленькой девицей, похожей на бедную курсисточку, что-то четко, резко и гневно выкрикивал своим картавым, в нос лающим голосом метрдотелю, подбегавшему к нему, видимо, с извинениями за отсутствие свободных мест, — место, должно быть, было заказано по телефону, но не оставлено, — потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете, но и я с ним немного знаком, встречаюсь в кружках, интересующихся старыми русскими иконами, — я ими тоже интересуюсь и уже давно, с волжских городов, где служил когда-то несколько лет. Кроме того, и наслышан о нем достаточно, о его романах, между прочим, так что испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве. Трогательно была она ужасно, растерянно и восторженно глядела то на этот, верно, совсем непривычный ей ресторанный блеск, то на него, пока он скандировал свой лай, демонически играя черными глазами и ресницами. Все это-то и навело меня на воспоминания. Расскажу вам одно из них, вызванное именно им, благо оркестр уходит и можно посидеть спокойно...

Он уже покраснел от водки, от кахетинского, от коньяку, как всегда краснеют рыжие от вина, но налил еще по рюмке.

— Я вспомнил, — начал он, — как лет двадцать тому назад шел однажды по улицам одного приволжского города некий довольно молодой военный врач, то есть, попросту говоря, я самый. Шел по пустыкам, чтобы бросить какое-то письмо в почтовый ящик, с тем беззаботным благополучием в душе, что иногда испытывает человек без всякой причины в хорошую погоду. А тут как раз погода была прекрасная, тихий, сухой, солнечный вечер начала сентября, когда на тротуарах так приятно шуршат под ногами опавшие листья. И вот, что-то думая, случайно поднимаю глаза и вижу: идет впереди меня скорым шагом очень стройная, изящная девушка в сером костюме, в серенькой, красиво изогнутой шляпке, с серым зонтиком в руке, обтянутой оливковой лайковой перчаткой. Вижу и чувствую, что что-то мне в ней ужасно нравится, а кроме того, кажется несколько странным: почему и куда так спешит? Удивляться, казалось бы, нечему — мало ли бывает у людей спеш-

ных дел. Но все-таки это почему-то интригует меня. Бессознательно прибавляю шаг и себе, почти нагоняю ее — и, оказывается, не напрасно. Впереди, на углу, старая низкая церковь, и я вижу, что она направляется прямо к ней, хотя день будничней и такой час, когда никакой службы по церквам еще нет. Там она взбегает на паперть, с трудом отворяет тяжелую дверь, а я опять за ней и, войдя, останавливаюсь у порога. В церкви пусто, и она, не видя меня, скорым и легким шагом идет к амвону, крестится и гибко опускается на колени, закидывает голову, прижимает руки к груди, уронив зонтик на пол, и смотрит на алтарь тем, как видно по всему, настойчиво молящим взглядом, каким люди просят Божьей помощи в большом горе или в горячем желании чего-нибудь. В узкое с железной решеткой окно слева от меня светит желтоватый вечерний свет, спокойный и будто тоже старинный, задумчивый, а впереди, в сводчатой и приземистой глубине церкви, уже сумрачно, только мерцает золото кованых с чудесной древней грубостью риз на образах алтарной стены, и она, на коленях, не сводит с них

глаз. Тонкая талия, лира зада, каблучки уткнувшейся носками в пол легкой, изящной обуви... Потом несколько раз прижимает платочек к глазам, быстро берет с полу зонтик, точно решившись на что-то, гибко встает, бежит к выходу, внезапно видит мое лицо — и меня просто поражает своей красотой ужаснейший испуг, вдруг мелькнувший в ее блестящих слезами глазах...

В соседней зале потухла люстра, — ресторан уже опустел, — и доктор взглянул на часы.

— Нет. Еще не поздно, — сказал он. — Всего десять. Вы никуда не спешите? Ну так посидим еще немного, я доскажу вам эту довольно странную историю. Странно было в ней прежде всего то, что в тот вечер, то есть, вернее, поздно вечером, я опять встретил ее. Мне вдруг вздумалось поехать в летний трактир на Волге, где я был всего два-три раза за все лето, да и то только затем, чтобы посидеть на речном воздухе после жаркого дня в городе. Почему я поехал именно в этот уже свежий вечер, бог ведает: словно руководило мною что-то. Можно, конечно, сказать, что вышла

простая случайность: поехал человек от нечего делать, и нет ничего удивительного в новой случайной встрече. Разумеется, все это вполне справедливо. Но почему же вышло и другое, то есть то, что я встретил ее черт знает где и что вдруг оправдались какие-то смутные догадки и предчувствия, испытанные мной, когда я в первый раз увидел ее и ту сосредоточенность, какую-то тайную тревожную цель, с которой она шла в церковь и там так напряженно и молча, то есть чем-то самым главным, самым подлинным, что есть в нас, молила о чем-то Бога? Приехав и совсем забыв о ней, я долго и скучно сидел один в этом речном кабаке, очень дорогом, кстати сказать, известном своими купеческими ночными кутежами, нередко тысячными, и без всякого вкуса глотал от времени до времени жигулевское пиво, вспоминая Рейн и швейцарские озера, на которых был летом в прошлом году, и думая о том, как вульгарны все провинциальные русские места загородных развлечений, в частности, и приволжские. Вы бывали в приволжских городах и в подобных трактирах на воде, на сваях?

Я ответил, что Волгу знаю мало, на поплавах там не бывал, но легко представляю себе их.

— Ну, конечно, — сказал он. — Русская провинция везде довольно одинакова. Одно только там ни на что не похоже — сама Волга. С ранней весны и до зимы она всегда и всюду необыкновенна, во всякую погоду и что днем, что ночью. Ночью сидишь, например, в таком трактире, смотришь в окна, из которых состоят три его стены, а когда в летнюю ночь они все открыты на воздух, смотришь прямо в темноту, в черноту ночи, и как-то особенно чувствуешь все это дикое величие водных пространств за ними: видишь тысячи рассыпанных разноцветных огней, слышишь плеск идущих мимо плотов, переключку мужицких голосов на них или на баржах, на белянах, предостерегающие друг друга крики, разнотонную музыку то гулких, то низких пароводных гудков и сливающиеся с ними терции каких-нибудь шибко бегущих речных паровичков, вспоминаешь все эти разбойничьи и татарские слова — Балахна, Васильсурск, Чебоксары, Жигули, Батраки, Хвалынск — и страш-

ные орды грузчиков на их пристанях, потом всю несравненную красоту старых волжских церквей — и только головой качаешь: до чего в самом деле ни с чем не сравнима эта самая наша Русь! А посмотришь вокруг — что это, собственно, такое, этот трактир? Свайная постройка, бревенчатый сарай с окнами в топорных рамах, уставленный столами под белыми, но нечистыми скатертями с тяжелыми дешевыми приборами, где в солонках соль перемешана с перцем и салфетки пахнут серым мылом, дощатый помост, то есть балаганная эстрада для балалаечников, гармонистов и арфянок, освещенная по задней стене керосиновыми лампочками с ослепительными жестяными рефлекторами, желтоволосые половые, хозяин из мужиков с толстыми волосами, с медвежьими глазками — и как соединить все это с тем, что тут то и дело выпивается за ночь на тысячу рублей мумму и редереру! Все это, знаете, тоже Русь... Но не надел ли я вам?

— Помилуйте! — сказал я.

— Ну так позвольте кончить. Я все это клоню к тому, в каком похабном месте вдруг

опять встретил я ее во всей ее чистой, благородной прелести и с каким спутником! К полночи трактир стал оживать и наполняться: зажгли под потолком огромную и страшно жаркую лампу, лампы по стенам, лампочки на стене за помостом, вышел целый полк половых, повалила толпа гостей: конечно, купеческие сынки, чиновники, подрядчики, парходные капитаны, труппа актеров, гастролировавших в городе... половые, развратно изгибаясь, забегали с подносами, в компаниях за столами пошел галдеж, хохот, поплыл табачный дым, на помост вышли и в два ряда сели по его бокам балалаечники в оперно-крестьянских рубахах, в чистеньких онучах и новеньких лаптях, за ними вышел и фронтом стал хор нарумяненных и набеленных блядчонок, одинаково заложивших руки за спину и резкими голосами, с ничего не выражающими лицами подхвативших под звеневшие балалайки жалостную, протяжную песню про какого-то несчастного «воина», будто бы вернувшегося из долгого турецкого плена: «Ивво рад-ный-и ни узнали-и, сприси-и-ли воина, кто ты-ы...» Потом вышел

с огромной гармоньей в руках какой-то «знаменитый Иван Грачев», сел на стул у самого края помоста и тряхнул густыми, хамски разобранными на прямой ряд белобрысыми волосами: морда полотера, желтая косоворотка, расшитая по высокому вороту и подолу красным шелком, жгут красного пояса с длинно висящими махрами, новые сапоги с лакированными голенищами... Тряхнул волосами, уложил на поднятое колено гармонию-трехрядку в черных с золотом мехах, устремил оловянные глаза куда-то вверх, сделал заливчатый перебор на ладах — и зарычал, запел ими, ломая, извивая и растягивая меха толстой змеей, перебирая по ладам с удивительнейшими выкрутасами, да все громче, решительнее и разнообразнее, потом вскинул морду, закрыл глаза и залился женским голосом: «Я вечер в лужках гуляла, грусть хотела разогнать...» Вот в эту-то самую минуту и увидал я ее, и, конечно, не одну: как раз в то время встал, чтобы позвать полового и заплатить за пиво, да так и ахнул: отворилась снаружи дверь за помостом, и появилась она, в каком-то картузике цвета хаки, в

непромокаемом пальто того же цвета с поясом, — правда, хороша она была во всем этом удивительно, похожа на высокого мальчика, — а за нею, держа ее за локоть, некто небольшого роста, в поддевке и в дворянском картузе, темноликий и уже морщинистый, с черными беспокойными глазами. И, понимаете, я, что называется, света божьего невзвидел! Я узнал в нем одного моего знакомого, промотавшегося помещика, пьяницу, развратника, бывшего гусарского поручика, выгнанного из полка, и, ничего не соображая, не думая, кинулся вперед между столами так стремительно, что настиг его и ее почти при входе, — Иван Грачев еще кричал: «Я цветочек там искала, чтобы милому послать...» Когда я подбежал к ним, он, взглянув на меня, успел весело крикнуть: «А, доктор, здравствуйте», в то время как она побледнела до гробовой синевы, но я оттолкнул его и бешено зашептал ей: «Вы, в этом кабаке! В полночь, с развратным пьяницей, шулером, известным всему уезду и городу!» Я схватил ее за руку, грозя изувечить его, если она сию же минуту не выйдет со мной отсюда вон. Он

оцепенел — что ж он мог, зная, что я могу вот этими руками подковы ломать! Она повернулась и, наклонив голову, пошла к выходу. Я догнал ее под первым фонарем на булыжной набережной, взял под руку, — она не подняла головы, не освободила руку. За вторым фонарем, возле скамьи, она остановилась и, уткнувшись в меня, задрожала от слез. Я посадил ее на скамью, одной рукой держа ее мокрую от слез, милую, тонкую девичью руку, другой обнимая за плечо. Она несвязно выговаривала: «Нет, неправда, неправда, он хороший... он несчастный, но он добрый, великодушный, беззаботный...» Я молчал, — возражать было бесполезно. Потом кликнул проезжавшего мимо извозчика. Она стихла, и мы в молчании поднялись в город. На площади она тихо сказала: «Теперь пустите меня, я дойду пешком, я не хочу, чтобы вы знали, где я живу», — и, вдруг поцеловав мне руку, соскочила и, не оглядываясь, неловко пошла вкось по площади... Больше я никогда не видел ее и так и не знаю до сих пор, кто она, что она...

Когда мы расплатились, оделись внизу и

вышли, доктор дошел со мной до угла Арбата, и мы приостановились, чтобы проститься. Было пусто и тихо — до нового оживления к полночи, до разъезда из театров и ужинов по ресторанам, в городе и за городом. Небо было черно, чисто блестели фонари под молодой, нарядной зеленью на Пречистенском бульваре, мягко пахло весенним дождем, помочившим мостовые, пока мы сидели в «Праге».

— А знаете, — сказал доктор, поглядев кругом, — я жалел потом, что, так сказать, спас ее. Были со мной и другие случаи в этом роде... А зачем, позвольте спросить, я вмешивался? Не все ли равно, чем и как счастлив человек! Последствия? Да ведь все равно они всегда существуют: ведь ото всего остаются в душе жестокие следы, то есть воспоминания, которые особенно жестоки, мучительны, если вспоминается что-нибудь счастливое... Ну, до свидания, очень рад был встретиться с вами...

*27 октября 1943*

### **Кума**

**Д**ачи в сосновых лесах под Москвой. Мелкое озеро, купальни возле топких берегов.

Одна из самых дорогих дач недалеко от озера: дом в шведском стиле, прекрасные старые сосны и яркие цветники перед обширной террасой.

Хозяйка весь день в легком нарядном ма-тинэ с кружевами, сияющая тридцатилетней купеческой красотой и спокойным довольством летней жизни. Муж уезжает в контору в Москву в девять утра, возвращается в шесть вечера, сильный, усталый, голодный, и тотчас идет купаться перед обедом, с облегчением раздевается в нагретой за день купальне и пахнет здоровым потом, крепким простонародным телом...

Вечер в конце июня. Со стола на террасе еще не убран самовар. Хозяйка чистит на варенье ягоды. Друг мужа, приехавший на дачу в гости на несколько дней, курит и смотрит на ее обнаженные до локтей, холеные, круглые руки. (Знаток и собиратель древних русских икон, изящный и сухой сложением человек с небольшими подстриженными усами, с живым взглядом, одетый как для тенниса.) Смотрит и говорит:

— Кума, можно поцеловать руку? Не могу

спокойно смотреть.

— Руки в соку, — подставляет блестящий локоть.

Чуть коснувшись его губами, говорит с запинкой:

— Кума...

— Что, кум?

— Знаете, какая история: у одного человека сердце ушло из рук, и он сказал уму: прощай!

— Как это сердце ушло из рук?

— Это из Саади, кума. Был такой персидский поэт.

— Знаю. Но что значит сердце ушло из рук?

— А это значит, что человек влюбился. Вот как я в вас.

— Похоже, что и вы сказали уму: прощай.

— Да, кума, сказал.

Улыбается рассеянno, будто занятая только своим делом:

— С чем вас и поздравляю.

— Я серьезно.

— На здоровье.

— Это не здоровье, кума, а очень тяжелая

болезнь.

— Бедный. Надо лечиться. И давно это с вами?

— Давно, кума. Знаете, с каких пор? С того дня, когда мы с вами ни с того ни с сего крестили у Савельевых, — не понимаю, какая нелегкая дернула их позвать крестить именно нас с вами... Помните, какая метель была в тот день, и как вы приехали вся в снегу, возбужденная быстрой ездой и метелью, как я сам снял с вас соболью шубку, и вы вошли в залу в скромном белом шелковом платье, с жемчужным крестиком на слегка открытой груди, а потом держали ребенка на руках с завернутыми рукавчиками, стояли со мной у купели, глядя на меня с какой-то смущенной полуулыбкой... Тут-то и началось между нами что-то тайное, какая-то греховная близость, наше как бы уже родство и оттого особенное вожделение.

— Parlez pour vous...[26]

— А потом мы рядом сидели за завтраком, и я не понимал — то ли это от гиацинтов на столе так чудесно, молодо, свежо пахнет или от вас... Вот с тех пор я и заболел. И вылечить

меня можете только вы.

Посмотрела исподлобья:

— Да, я этот день хорошо помню. А что до леченья, то жаль, что Дмитрий Николаевич нынче ночует в Москве, — он бы вам тотчас посоветовал настоящего доктора.

— А почему он ночует в Москве?

— Сказал утром, уходя на станцию, что нынче у них заседание пайщиков, перед разездом. Все разъезжаются — кто в Кисловодск, кто за границу.

— Но он мог бы с двенадцатичасовым вернуться.

— А прощальное пьянство после заседания в «Мавритании»?

За обедом он грустно молчал, неожиданно пошутил:

— А не закатиться ли и мне в «Мавританию» с десятичасовым: вдребезги напиться там, выпить на брудершафт с метрдотелем?

Она посмотрела длительно.

— Закатиться и меня одну оставить в пустом доме? Так-то вы помните гиацинты!

И тихо, будто задумавшись, положила ладонь на его лежавшую на столе руку...

Во втором часу ночи, в одном шлафроке, он прокрался из ее спальни по темному, тихому дому, под четкий стук часов в столовой, в свою комнату, в сумраке которой светился в открытые на садовый балкон окна дальний неживой свет всю ночь не гаснущей зари и пахло ночной лесной свежестью. Блаженно повалился навзничь на постель, нашарил на ночном столике спички и портсигар, жадно закурил и закрыл глаза, вспоминая подробности своего неожиданного счастья.

Утром в окна тянуло сыростью тихого дождя, по балкону ровно стучали его капли. Он открыл глаза, с наслаждением почувствовал сладкую простоту будничной жизни, подумал: «Нынче уеду в Москву, а послезавтра в Тироль или на озеро Гарда», — и опять заснул.

Выйдя к завтраку, почтительно поцеловал ее руку и скромно сел за стол, развернул салфетку...

— Не взыщите, — сказала она, стараясь быть как можно проще, — только холодная курица и простокваша. Саша, принесите красного вина, вы опять забыли...

Потом, не поднимая глаз:

— Пожалуйста, уезжайте нынче же. Скажите Дмитрию Николаевичу, что вам тоже страшно захотелось в Кисловодск. Я приеду туда недели через две, а его отправлю в Крым к родителям, там у них чудная дача в Мисхоре... Спасибо, Саша. Вы простокваши не любите, — хотите сыру? Саша, принесите, пожалуйста, сыр...

— «Вы любите ли сыр, спросили раз ханжу», — сказал он, неловко смеясь. — Кума...

— Хороша кума!

Он взял через стол и сжал ее руку, тихо говоря:

— Правда приедете?

Она ответила ровным голосом, глядя на него с легкой усмешкой:

— А как ты думаешь? Обману?

— Как мне благодарить тебя!

И тотчас подумал: «А там я ее, в этих лакированных сапожках, в амазонке и в котелке, вероятно, тотчас же люто возненавижу!»

*25 сентября 1943*

**Начало**

— А я, господа, в первый раз влюбился, или, вернее, потерял невинность, лет двенадцати. Был я тогда гимназистом и ехал из города домой, в деревню, на рождественские каникулы, в один из тех теплых серых дней, что так часто бывают на Святках. Поезд шел среди сосновых лесов в глубоких снегах, я был детски-счастлив и спокоен, чувствуя этот мягкий зимний день, эти снега и сосны, мечтая о лыжах, ожидавших меня дома, и совсем один сидел в жарко натопленном первом классе старинного вагона-микст, состоявшего всего из двух отделений, то есть из четырех красных бархатных диванов с высокими спинками, — от этого бархата было как будто еще жарче и душнее, — и четырех таких же бархатных диванчиков возле окон с другой стороны, с проходом между ними и диванами. Там беззаботно, мирно и одиноко провел я больше часа. Но на второй от города станции отворилась дверь из сеней вагона, отрадно запахло зимним воздухом, вошел носильщик с двумя чемоданами в чехлах и с портпледом из шотландской материи, за ним очень бледная черноглазая молодая дама в

черном атласном капоре и в каракулевой шубке, а за дамой рослый барин с желтыми совиными глазами, в оленьей шапке с поднятыми наушниками, в поярковых валенках выше колен и в блестящей оленьей дохе. Я, как воспитанный мальчик, тотчас, конечно, встал и с большого дивана возле двери в сенцы пересел во второе отделение, но не на другой диван, а на диванчик возле окна, лицом к первому отделению, чтобы иметь возможность наблюдать за вошедшими: ведь дети так же внимательны и любопытны к новым лицам, как собаки к незнакомым собакам. И вот тут-то, на этом диване, и погибла моя невинность. Когда носильщик поклат вещи в сети над диваном, на котором я только что сидел, сказал барину, сунувшему в руку ему бумажный рубль, «счастливого пути, ваше сиятельство!» и уже на ходу поезда выбежал из вагона, дама тотчас легла навзничь на диван под сеткой, затылком на его бархатный валик, а барин неловко, не привычными ни к какому делу руками, стащил с сетки портплед на противоположный диван, выдернул из него белую подушечку и, не глядя, подал ей.

Она тихо сказала: «Благодарствуй, мой друг», — и, подсунув ее под голову, закрыла глаза, он же, сбросив доху на портплед, стал у окна между диванчиками своего отделения и закурил толстую папиросу, густо распространив в духоте вагона ее ароматический запах. Он стоял во весь свой мощный рост, с торчащими вверх наушниками оленьей шапки, и, казалось, не спускал глаз с бегущих назад сосен, а я сперва не спускал глаз с него и чувствовал только одно — ужасную ненависть к нему за то, что он совершенно не заметил моего присутствия, ни разу даже не взглянул на меня, точно я и не был в вагоне, а в силу этого и за все прочее: за его барское спокойствие, за княжески-мужицкую величину, хищные круглые глаза, небрежно запущенные каштановые усы и бороду и даже за плотный и просторный коричневый костюм, за легкие бархатистые валенки, натянутые выше колен. Но не прошло и минуты, как я уже забыл о нем: я вдруг вспомнил ту мертвенную, но прекрасную бледность, которой несознательно поражен был при входе дамы, лежавшей теперь навзничь на диване против меня, перевел

взгляд на нее — и уже ничего более, кроме нее, ее лица и тела, не видел до следующей станции, где мне надо было сходить. Она вздохнула и легла поудобнее, пониже, распахнула, не открывая глаз, шубку на фланелевом платье, скинула нога об ногу на пол теплые ботики с открытых замшевых ботинок, сняла с головы и уронила возле себя атласный капор, — черные волосы ее оказались, к моему великому удивлению, по-мальчишески коротко стриженными, — потом справа и слева отстегнула что-то от шелковых серых чулок, поднимая платье до голого тела между ним и чулками, и, оправив подол, задремала: гелиотроповые, но женски-молодые губы с темным пушком над ними слегка приоткрылись, бледное до прозрачной белизны лицо с явными на нем черными бровями и ресницами потеряло всякое выражение... Сон женщины, желанной вам, все ваше существо влекущей к себе, — вы знаете, что это такое! И вот я в первый раз в жизни увидел и почувствовал его, — до того я видел только сон сестры, матери, — и все глядел, глядел остановившимися глазами, с пересохшим ртом на эту маль-

чишески-женскую черную голову, на неподвижное лицо, на чистой белизне которого так дивно выделялись тонкие черные брови и черные сомкнутые ресницы, на темный пушок над полураскрытыми губами, совершенно мучительными в своей притягательности, уже постигал и поглощал все то непередаваемое, что есть в лежащем женском теле, в полноте бедер и тонкости щиколок, и с страшной яркостью все еще видел мысленно тот ни с чем не сравнимый женский, нежный телесный цвет, который она нечаянно показала мне, что-то отстегивая от чулок под фланелевым платьем. Когда неожиданно привел меня в себя толчок остановившегося перед нашей станцией поезда, я вышел из вагона на сладкий зимний воздух, шатаясь. За деревянным вокзалом стояли троечные сани, запряженные серой парой, гремевшей бубенцами; с енотовой шубой в руках ждал возле саней наш старый кучер, неприветливо сказавший мне:

— Мамаша приказали беспременно надеть...

И я покорно влез в эту пахучую мехом и

зимней свежестью дедовскую шубу с огромным, уже желтым и длинно-остистым воротом, утонул в мягких и просторных санях и под глухое, полое бормотанье бубенцов закачался по глубокой и беззвучной снежной дороге в сосновой просеке, закрывая глаза и все еще млея от только что пережитого, смутно и горестно-сладко думая только о нем, а не о том прежнем, милом, что ждало меня дома вместе с лыжами и волчонком, взятым на охоте в августе в логове убитой волчицы и теперь сидевшим у нас в яме в саду, из которой еще осенью, когда я приезжал домой на два дня на Покров, уже так дико и чудесно воняло зверем.

*23 октября 1943*

### «Дубки»

**Ш**ел мне тогда, друзья мои, всего двадцать третий год, — дело, как видите, давнее, еще дней блаженной памяти Николая Павловича, — только что произведен я был в чин гвардейского корнета, уволен зимой в том для меня достопамятном году в двухнедельный отпуск в свою рязанскую вотчину, где, по

кончине родителя, одиноко жила моя матушка, и, приехав, вскорости жестоко влюбился: заглянул однажды в давно пустовавшую дедовскую усадьбу при некоем сельце Петровском, по соседству с нашей, да и стал под всякими предложениями заглядывать туда все чаще и чаще. Дика и поныне русская деревня, зимой пуще всего, что ж было в мои времена! Таково дико было и Петровское с этой пустовавшей усадьбой на его окраине, называвшейся «Дубки», ибо при въезде в нее росло несколько дубов, в мою пору уже древних, могучих. Под теми дубами стояла старая грубая изба, за избой разрушенные временем службы, еще дальше пустыри вырубленного сада, занесенного снегами, и развалина барского дома с темными провалами окон без рам. И вот в этой-то избе под дубами и сиживал я чуть не каждый день, болтая всякий будто бы хозяйственный вздор жившему в ней нашему старосте Лавру, даже низко ища его дружества и тайком бросая горестные взоры на его молчаливую жену Анфису, схожую скорее с испанкой, чем с простою русскою дворовой, бывшую чуть не вдвое моложе Лавра, рослого

мужика с кирпичным лицом в темно-красной бороде, из которого легко мог бы выйти атаман шайки муромских разбойников. С утра я без разбору читал, что попадет под руку, брэнчал на фортепяно, подпевая с томлением: «Когда, душа, просилась ты погибнуть иль любить», — а пообедав, уезжал до вечера в «Дубки», невзирая на жгучие ветры и вьюги, неустанно летевшие к нам из саратовских степей. Так прошли Святки и приблизился срок моего возвращения к должности, о чем я осведомил однажды с притворной непринужденностью Лавра и Анфису. Лавр резонно заметил на то, что служба царская, вестимо, первее всего, и тут за чем-то вышел из избы, Анфиса же, сидевшая с шитьем в руках, опустила вдруг шитье на колени, посмотрела вслед мужу своими кастильскими очами и, лишь только захлопнулась дверь за ним, стремительно-страстно блеснула ими в меня и сказала горячим шепотом:

— Барин, завтра он уедет с ночевкой в город, приезжайте ко мне скоротать вечерок на прощанье. Таилась я, а теперь скажу: горько мне будет расставаться с вами!

Я, конечно, был сражен таковым признанием и только успел головой кивнуть в знак согласия — Лавр воротился в избу.

После того я, как понимаете, не чаял в неизъяснимом нетерпении и дожить до завтрашнего вечера, не знал, что с собой делать, думая только одно: пренебрегу всем своим карьером, брошу полк, останусь навеки в деревне, соединю судьбу свою с нею по смерти Лавра — и прочее подобное... «Ведь он уже стар, — думал я, невзирая на то, что Лавру еще и пятидесяти не было, — он должен скоро умереть...» Наконец прошла ночь, — я до самого утра то трубку курил, то ром пил, нисколько не пьянея, все разгораясь в своих безрассудных мечтах, — прошел и короткий зимний день, стало темнеть, а на дворе — преже-стокий буран. Как тут уехать из дому, что сказать матушке? Теряюсь, не знаю, как быть, как вдруг простая мысль: да съезжу тайком, вот и вся недолга! Сказался недомоганием, не буду, мол, ужинать, пойду в постель, а как только матушка откушала и удалилась к себе, — наступила уже ранняя зимняя ночь, — с великою поспешностью оделся, побежал в из-

бу к конюхам, приказал запрячь легонькие санки и был таков. На дворе зги не видно в белой метельной тьме, но дорога лошади знакомая, пустил ее наугад, и не прошло и полчасика, как зачернели в этой тьме гудящие дубы над заветной избой, засветилось сквозь снег ее окошко. Привязал я лошадь к дубу, бросил на нее попону — и, вне себя, через сугроб, в темные сенцы! Нашарил дверь избы, шагнул за порог, а она уж наряжена, набелена, нарумянена, сидит в блеске и красном дыму лучины на лавке близ стола, уставленного по белой скатерти угощением, во все глаза ждет меня. Все маячит, дрожит в этом блеске, в дыму, но глаза и сквозь них видны — столь они широки и пристальны! Лучина в светце на припечном столбе, над лоханью с водой, трещит, слепит быстрым багровым пламенем, роняет огненные искры, шипящие в воде, на столе тарелки с орехами и мятными жамками, штоф с наливкою, два стаканчика, а она, близ стола, спиной к белому от снега окошку, сидит в шелковом лиловом сарафане, в миткалевой сорочке с распашными рукавами, в коралловом ожерелье — смоляная головка,

сделавшая бы честь любой светской красавице, гладко причесана на прямой пробор, в ушах висят серебряные серьги... Увидав меня, вскочила, мигом скинула с меня оснеженную шапку, лисью поддевку, толкнула к лавке, — все как в исступлении, вопреки всем моим прежним мыслям о ее гордой неприступности, — бросилась на колени ко мне, обняла, прижимая к моему лицу свои жаркие ланиты...

— Что ж ты таилась, — говорю, — дождалась до разлуки нашей!

Отвечает отчаянно:

— Ах, что ж я могла! Сердце заходилось, как ты приезжал, видела твое мучение, да я крепка, не выдавала себя! Да и где могла открыться тебе? Ведь ни минуты не была глаз на глаз с тобой, а при нем даже взглядом не откроешься, зорек, как орел, заметит что — убьет, рука не дрогнет!

И опять обнимает, жмет мою робкую руку, кладет на колени себе... Чувствую ее тело на своих ногах сквозь легкий сарафан и уж не владею собой, как вдруг она вся чутко и дико выпрямляется, вскакивает, глядя на меня гла-

зами Пифии:

— Слышишь?

Слушаю — и ничего не слышу, кроме шума снега за стеной: что, мол, такое?

— Подъехал кто-то! Лошадь заржала! Он!

И, забежав и сев за стол, преодолевая тяжелое дыхание, громко говорит простым голосом, наливая дрожащей рукою из штофа:

— Выкушайте, сударь, наливочки. По-еде-те — озяб-нете...

Вот тут он и взошел, весь косматый от снега, в бараньем треухе и тулупе, глянул, молвил: «Здравствуйте, сударь», — усердно положил тулуп на хоры, снял, отряхнул треух и, вытирая полую полушубка мокрое лицо и бороду, не спеша заговорил:

— Ну и погодка! Добился кое-как до Больших Дворов, — нет, думаю, пропадешь, не доедешь, — въехал на заезжий двор, поставил кобылу под навес в затишье, задал корму, а сам в избу, за щи, — попал как раз в обед, — да так и просидел, почесть, до вечера. А потом думаю — э, была не была, поеду-ка я домой, авось бог донесет, — не до города, не до дел в такую страсть! Вот и доехал, слава богу...

Мы молчим, сидим в оцепенении, в ужаснейшем замешательстве, понимаем, что он сразу понял все, она не подымает ресниц, я изредка на него взглядываю... Признаюсь, живописен он был. Велик, плечист, туго подпоясан зеленой подпояской по короткому полушубку с цветными татарскими разводами, крепко обут в казанские валенки, кирпичное лицо горит с ветру, борода блестит тающим снегом, глаза — грозным умом... Подойдя к светцу, запалил новую лучину, потом сел за стол, взял штоф толстыми пальцами, налил, выпил до дна и говорит в сторону:

— Уж и не знаю, сударь, как вы теперь доедете. А ехать вам давно пора, лошадь вашу всю снегом занесло, вся согнулась стоит... Уж не гневайтесь, что не выйду провожать — больно намаялся за день, да и жену весь день не видал, а есть у меня о чем с ней побеседовать...

Я, без слова в ответ, поднялся, оделся и вышел...

А наутро, чем свет, верховой из Петровского: ночью Лавр удавил жену своей зеленой подпояской на железном крюку в дверной

притолке, а утром пошел в Петровское, заявил мужикам:

— У меня, соседи, горе. Жена удавилась — видно, с расстройства ума. Проснулся на рассвете, а она висит уж вся синяя с лица, голова на грудь свалилась. Нарядилась зачем-то, на-румянилась — и висит, малость не достает до полу... Присвидетельствуйте, православные.

Те посмотрели на него и говорят:

— Ишь ты, что с собою наделала! А что ж это у тебя, староста, вся борода клоками вырвана, все лицо сверху донизу когтями изрезано, глаз кровью течет? Вяжи его, ребята!

Был он бит плетьюми и отправлен в Сибирь, в рудники.

*30 октября 1943*

### «Мадрид»

Поздним вечером шел в месячном свете вверх по Тверскому бульвару, а она навстречу: идет гуляющим шагом, держит руки в маленькой муфте и, поводя круглой каракулевой шапочкой, надетой слегка набекрень, что-то напевает. Подойдя, приостановилась:

— Не хотите ли разделить компанию?

Он посмотрел: небольшая, курносенькая, немножко широкоскулая, глаза в ночном полусвете блестят, улыбка милая, несмелая, голосок в тишине, в морозном воздухе чистый...

— Отчего же нет? С удовольствием.

— А вы сколько дадите?

— Рубль за любовь, рубль на булавки.

Она подумала:

— А вы далеко живете? Недалеко, так пойду, после вас еще успею походить.

— Два шага. Тут, на Тверской, номера «Мадрид».

— А, знаю! Я там раз пять была. Меня туда один шулер водил. Еврей, а ужасно добрый.

— Я тоже добрый.

— Я так и подумала. Вы симпатичный, сразу мне понравились...

— Тогда, значит, пошли.

По дороге, все поглядывая на нее, — на редкость милая девчонка! — стал расспрашивать:

— Что ж ты это одна?

— Я не одна, мы всегда втроем выходим: я, Мур и Анеля. Мы и живем вместе. Только нынче суббота, их приказчики взяли. А меня

никто за весь вечер не взял. Меня не очень берут, любят больше полных или уж чтобы как Анеля. Она хоть худая, а высокая, дерзкая. Пьет — страсть и по-цыгански умеет петь. Она и Мур мужчин терпеть не могут, влюблены друг в друга ужас как, живут как муж с женой...

— Так, так... Мур... А тебя как зовут? Только не ври, не выдумывай.

— Меня Нина.

— Вот и врешь. Скажи правду.

— Ну, вам скажу. Поля.

— Гуляешь, должно быть, недавно?

— Нет, уж давно, с самой весны. Да что все спрашивать! Дайте лучше папиросочку. У вас, верно, очень хорошие, ишь какой на вас клош и шляпа!

— Дам, когда придем. На морозе вредно курить.

— Ну, как хотите, а мы завсегда на морозе курим, и ничего. Вот Анеле вредно, у ней чухотка... А отчего вы бритый? Он тоже был бритый...

— Это ты все про шулера? Однако запомнился он тебе!

— Я его до сих пор помню. У него тоже чашотка, а курит ужас как. Глаза горят, губы сухие, грудь провалилась, щеки провалились, темные...

— А кисти волосатые, страшные...

— Правда, правда! Ай вы его знаете?

— Ну вот, откуда же я могу его знать!

— Потом он в Киев уехал. Я его на Брянский вокзал ходила провожать, а он и не знал, что приду. Пришла, а поезд уж пошел. Побежала за вагонами, а он как раз из окошка высунулся, увидал меня, замахал рукой, стал кричать, что скоро опять приедет и киевского сухого варенья мне привезет.

— И не приехал?

— Нет, его, верно, поймали.

— А откуда же ты узнала, что он шулер?

— Он сам сказал. Напился портвейну, стал грустный и сказал. Я, говорит, шулер, все равно что вор, да что же делать, волка ноги кормят... А вы, может, актер?

— Вроде этого. Ну, пришли...

За входной дверью горела над конторкой маленькая лампочка, никого не было. На доске на стене висели ключи от номеров. Когда

он снял свой, она зашептала:

— Как же это вы оставляете? Обворуют!

Он посмотрел на нее, все больше веселя.

— Обворуют — в Сибирь пойдут. Но что за прелесть мордашка у тебя!

Она смутилась:

— Все смеетесь... Пойдемте за-ради бога скорей, ведь все-таки это не дозволяется водить к себе так поздно...

— Ничего, не бойся, я тебя под кровать спрячу. Сколько тебе лет? Восемнадцать?

— Чудной вы! Все знаете! Восемнадцатый.

Поднялись по крутой лестнице, по истертому коврику, повернули в узкий, слабо освещенный, очень душный коридор, он остановился, всовывая ключ в дверь, она поднялась на цыпочки и посмотрела, какой номер:

— Пятый! А он стоял в пятнадцатом, в третьем этаже...

— Если ты мне про него еще хоть слово скажешь, я тебя убью.

Губы у нее сморщились довольной улыбкой, она, слегка покачиваясь, вошла в прихожую освещенного номера, на ходу расстегивая пальтецо с каракулевым воротничком.

— А вы ушли и забыли свет погасить...

— Не беда. Где у тебя носовой платочек?

— На что вам?

— Раскраснелась, а все-таки нос озяб...

Она поняла, поспешно вынула из муфты комочек платка, утерлась. Он поцеловал ее холодную щечку и потрепал по спине. Она сняла шапочку, тряхнула волосами и, стоя, стала стягивать с ноги ботинок. Ботинок не поддавался, она, сделав усилие, чуть не упала, схватилась за его плечо и звонко засмеялась:

— Ой, чуть не полетела!

Он снял пальтецо с ее черного платица, пахнувшего материей и теплым телом, легонько толкнул ее в номер, к дивану:

— Сядь, и давай ногу.

— Да нет, я сама...

— Сядь, тебе говорят.

Она села и протянула правую ногу. Он встал на одно колено, ногу положил на другое, она стыдливо одернула подол на черный чулок:

— Вот какой вы, ей-богу! Они, правда, у меня страсть тесные...

— Молчи.

И, быстро стащив ботинки один за другим вместе с туфлями, откинул подол с ноги, крепко поцеловал в голое тело выше колена и встал с красным лицом:

— Ну, скорей! Не могу...

— Что не можете? — спросила она, стоя на ковре маленькими ногами в одних чулках, трогательно уменьшившись в росте.

— Совсем дурочка! Ждать не могу, поняла?

— Раздеваться?

— Нет, одеваться!

И, отвернувшись, подошел к окну и торопливо закурил. За двойными стеклами, снизу замерзшими, бледно светили в месячном свете фонари, слышно было, как, гремя, неслись мимо, вверх по Тверской, бубенцы на «голубках»... Через минуту она окликнула его:

— Я уж лежу.

Он потушил свет и, как попало раздевшись, торопливо лег к ней под одеяло. Она, вся дрожа, прижалась к нему и зашептала с мелким, счастливым смехом:

— Только за-ради бога не дуйте мне в шею, на весь дом закричу, страсть боюсь щекотки...

С час после того она крепко спала. Лежа ря-

дом с ней, он глядел в полутьму, смешанную с мутным светом с улицы, думая с неразрешающимся недоумением: как же это может быть, что она под утро куда-то уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачечной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых, — и какая детская беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу» от жалости, когда она завтра соберется уходить...

— Поля, — сказал он, садясь и трогая ее за голое плечо.

Она испуганно очнулась:

— Ох, батюшки! Извините, пожалуйста, совсем нечаянно заснула... Я сейчас, сейчас...

— Что сейчас?

— Сейчас встану, оденусь...

— Да нет, давай ужинать. Никуда я тебя не пущу до утра.

— Что вы, что вы! А полиция?

— Глупости. А мадера у меня ничуть не хуже портвейна твоего шулера.

— Что ж вы мне все попрекаете им?

Он внезапно зажег свет, резко ударивший ей в глаза, она сунула голову в подушку. Он сдернул с нее одеяло, стал целовать в затылок, она радостно забила ногами:

— Ой, не щекотите!

Он принес с подоконника бумажный мешочек с яблоками и бутылку крымской мадеры, взял с умывальника два стакана, сел опять на постель и сказал:

— Вот, ешь и пей. А то убью.

Она крепко надкусила яблоко и стала есть, запивая мадерой и рассудительно говоря:

— А что ж вы думаете? Может, кто и убьет. Наше деле такое. Идешь неизвестно куда, неизвестно с кем, а он либо пьяный, либо полоумный, кинется и задушит, либо ножиком зарежет... А до чего у вас теплый номер! Сидишь вся голая, и все тепло. Это мадера? Вот люблю! Куда ж сравнить с портвейном, он за всегда пробкой пахнет.

— Ну, не завсегда.

— Нет, ей-богу, пахнет, хоть два рубля за бутылку заплати, одна честь.

— Ну, давай еще налью. Давай чокнемся, выпьем и поцелуемся. До дна, до дна.

Она выпила, и так поспешно, что задохнулась, закашлялась и, смеясь, упала головой к нему на грудь. Он поднял ей голову и поцеловал в мокрые, деликатно сжатые губки.

— А меня придеешь провожать на вокзал?

Она удивленно раскрыла рот.

— Вы тоже уедете? Куда? Когда?

— В Петербург. Да это еще не скоро.

— Ну, слава богу! Я теперь только к вам буду ходить. Вы хотите?

— Хочу. Только ко мне одному. Слышишь?

— Ни за какие деньги ни к кому не пойду.

— Ну то-то же. А теперь — спать.

— Да мне нужно на минуточку...

— Вот тут, в тумбочке.

— Мне на виду стыдно. Погасите на минуточку огонь...

— И совсем погашу. Третий час...

В постели она легла ему на руку, опять вся прижавшись к нему, но уже тихо, ласково, а он стал говорить:

— Завтра мы с тобой будем вместе завтракать...

Она живо подняла голову:

— А где? Вот я раз была в «Тереме», это за

Триумфальными воротами, дешево до того, прямо даром, а уж сколько дают — съесть нельзя!

— Ну, это мы посмотрим где. А потом ты пойдешь домой, чтобы твои стервы не подумали, что тебя убили, да и у меня дела есть, а к семи опять приходи ко мне, поедем обедать к Патрикееву, там тебе понравится — оркестрион, балалаечники...

— А потом в «Эльдорадо» — правда? Там сейчас идет чудная фильма «Мертвец-беглец».

— Великолепно. А теперь — спи.

— Сичас, сичас... Нет, Мур не стерва, она страсть несчастная. Я бы без нее пропала.

— Как это?

— Она папина сестра двоюродная...

— Ну?

— Папа мой был сцепщиком на товарной станции в Серпухове, ему там грудь раздавило буферами, а мама умерла, когда я была еще маленькой, я и осталась одна на всем свете и поехала к ней в Москву, а она, оказывается, давно уж не служит по номерам горничной, мне дали ее адрес в адресном столе, я приеха-

ла к ней с корзинкой на извозчике на Смоленский рынок, смотрю, а она с этой Анелей живет и вместе с ней ходит по вечерам на бульвары... Ну и оставила меня у себя, а потом уговорила тоже выходить...

— А говоришь, что ты без нее пропала бы.

— А куда ж бы я делась в Москве одна? Конечно, она меня погубила, да разве она мне зла желала? Ну да что об этом говорить. Может, Бог даст, место какое найду тоже в номерах, только уж место не брошу и уж никого к себе не подпущу, мне и чаевых будет довольно, да еще на всем готовом. Вот если бы тут, в вашем «Мадриде»! Чего бы лучше!

— Я об этом подумаю; может, и устрою тебе где-нибудь такое место.

— Я бы вам в ножки поклонилась!

— Чтоб вышла уж полная идиллия.

— Что?

— Нет, ничего, это я со сна... Спи.

— Сичас, сичас... Я чтой-то раздумалась...

*26 апреля 1944*

**Второй кофейник**

Она и натурщица его, и любовница, и хозяйка — живет с ним в его мастерской на Знаменке: желтоволосая, невысокая, но ладная, еще совсем молодая, миловидная, ласковая. Теперь он пишет ее по утрам «Купальщицей»: она, на маленьком помосте, как будто возле речки в лесу, не решаясь войти в воду, откуда должны глядеть глазастые лягушки, стоит вся голая, простонародно развитая телом, прикрывая рукой золотистые волосы внизу. Проработав с час, он отклоняется от мольберта, смотрит на полотно и так и этак, прищуриваясь, и рассеянно говорит:

— Ну, станция. Подогревай второй кофейник.

Она облегченно вздыхает и, топая босыми ногами по циновкам, бежит в угол мастерской, к газовой плитке. Он что-то соскребает с полотна тонким ножичком, плитка шумит, кисло пахнет своими зелеными рожками и душисто кофею, а она беззаботно запекает на всю мастерскую звонким голосом:

*Начивала ту-учка, ту-учка золотая...*

*На груди-и утеса велика-ана...*

И, повернув голову, радостно говорит:

— Это мне художник Ярцев выучил. Вы его знавали?

— Знал немного. Долговязый такой?

— Он самый.

— Даровитый малый был, но дубина порядочная. Он ведь, кажется, помер?

— Помер, помер. Спился. Нет, он добрый был. Я с ним год жила, вот как с вами. Он и невинности меня лишил всего на втором сеансе. Вскочил вдруг от мольберта, бросил палитру с кистями и сбил мне с ног на ковер. Я испугалась до того, что и крикнуть не смогла. Вцепилась ему в грудь, в пинжак, да куда тебе! Глаза бешеные, веселые... Как ножом зарезал.

— Да, да, ты мне это уж рассказывала. Молодец. И ты все-таки любила его?

— Конечно, любила. Очень боялась. Надругался надо мной, выпимши, не приведи господи. Я молчу, а он: «Катька, молчать!»

— Хорош!

— Пьяный. Кричит на всю студию: «Катька, молчать!» А я и так молчу. Потом как залъется, залъется: «Начивала тучка...» И сейчас

же подхватит на иные слова: «Начивала сучка, сучка молодая» — это я-то, значит. Со сме-ху помрешь! И опять — трах ногой в пол: «Катька, молчать!»

— Хорош. Но постой, я забыл: ведь тебя какой-то твой дядя привез в Москву?

— Дядя, дядя. Осталась я сиротой по шашнадцатому году, а он мне и привез. Это уж к моему другому дяде в его извощичий трактир. Я там посуду мыла, белье хозяйское стирала, потом тетя вздумала в бордель меня продать. И продала бы, да Бог спас. Приехали раз под утро из «Стрельни» опохмеляться Шаляпин с Коровиным, увидали, как я тащила на стойку с Родькой-половым кипящий ведерный самовар, и давай кричать и хохотать: «С добрым утром, Катенька! Хотим, чтобы бесприменно ты, а не этот сукин сын половой подавал нам!» Ведь как угадали, что меня Катей зовут! Дядя уж проснулся, вышел, зеваает, насупился — она, говорит, не к этому делу приставлена, не может подавать. А Шаляпин как рявкнет: «В Сибири сгною, в кандалы закую — слушай мой приказ!» Тут дядя сразу испужался, я тоже насмерть испужалась, упер-

лась было, а дядя шипит: «Иди подавай, а то я потом шкуру с тебя спущу, это самые знаменитые люди во всей Москве». Я и пошла, а Корвин оглядел мне всю, дал десять рублей и велел к нему завтра притить, писать мне вздумал, дал свой адрес. Я пришла, а он уж раздумал писать и послал к доктору Голоушеву, он был страшный приятель со всеми художниками, пьяных и мертвых свидетельствовал при полиции и тоже немножко писал. Ну, он и пустил мне по рукам, не велел ворочаться в трактир, я так и осталась в одном платьишке.

— То есть как это пустил по рукам?

— А так. По мастерским. Сперва я позировала вся одетая, в желтом платочке, и все художникам, Кувшинниковой, сестре Чехова, — она, по правде сказать, совсем никуда была в нашем деле, дилитанка, — потом попала аж к самому Малявину: он мне посадил голую на ноги, на пятки, спиной к себе, с рубашкой над головой, будто я ее надеваю, и написал. Спина и зад вышли отлично, сильная лепка, только он испортил пятками и подошвами, совсем противно вывернул их под задом...

— Ну, Катька, молчать. Второй звонок. Давай кофейник.

— Ой, батюшки, заговорила! Даю, даю...

*30 апреля 1944*

## **Холодная осень**

**В** июне того года он гостил у нас в имении — всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:

— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много народу, — были именины отца, — и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

В сентябре он приехал к нам всего на сутки — проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро,

и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

— Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, — мы знали какой, — и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:

— Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

— Да, если позволите, утром, — ответил он. — Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

— Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, — я вздумала раскладывать пасьянс, — он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

— Хочешь пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

— Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

*Какая холодная осень!  
Надень свою шаль и капот...*

— Капота нет, — сказала я. — А как дальше?

— Не помню. Кажется, так:

*Смотри — меж чернеющих сосен  
Как будто пожар восстает...*

— Какой пожар?

— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой!

— Что ты?

— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

— Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

— Как блестят глаза, — сказал он. — Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок — ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

— Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала...

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, — в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, — и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том оцепении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружающим нас радост-

ным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...

Убили его — какое странное слово! — через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговли на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, — то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого

военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, — я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, — и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равно-

душной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнуточками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, — остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

*3 мая 1944*

**Пароход «Саратов»**

**В** сумерки прошумел за окнами короткий майский дождь. Рябой денщик, пивший в кухне при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене, встал и неловко, стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошел в темный кабинет, подошел к оттоманке:

— Ваше благородие, десятый час...

Он испуганно открыл глаза:

— Что? Десятый? Не может быть...

Оба окна были открыты на улицу, глухую, всю в садах, — в окна пахло свежестью весенней сырости и тополями. Он с той остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, почувствовал эти запахи и бодро сбросил с оттоманки ноги.

— Зажги огонь и ступай скорей за извозчиком. Найди какого порезвей...

И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил одеколоном и причесал короткие курчавые волосы, еще раз взглянул в зеркало: лицо было свежо, глаза блестели; с часу до шести он завтракал в большой офицерской компании, дома заснул тем мгновенным сном, каким засыпаешь по-

сле нескольких часов непрерывного питья, куренья, смеха и болтовни, однако чувствовал себя теперь отлично. Денщик подал в прихожей шашку, фуражку и тонкую летнюю шинель, распахнул дверь на подъезд — он легко вскочил в пролетку и несколько хрипло крикнул:

— Валяй живей! Целковый на водку!

Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей, запах мокрых тополей был и свеж и прян, лошадь неслась, высекая подковами красные искры. Все было прекрасно: и зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папиросы, которую ухитрился закурить на лету. И все сливалось в одно: в счастливое чувство готовности на все, что угодно. Водка, бенедиктин, турецкое кофе? Вздор, просто весна и все отлично...

Дверь отворила маленькая, очень порочная на вид горничная на тонких качающихся каблучках. Быстро скинув шинель и отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальник и немного взбив волосы, вошел, позванивая шпорами, в небольшую, тесную от излишества будуарной мебели комнату. И тотчас

вошла и она, тоже покачиваясь на каблучках туфель без задка, на босу ногу с розовыми пятками, — длинная, волнистая, в узком и пестром, как серая змея, капоте с висящими, разрезанными до плеча рукавами. Длинные были и несколько раскосые глаза ее. В длинной бледной руке дымилась папироса в длинном янтарном мундштуке.

Целуя ее левую руку, он щелкнул каблучками:

— Прости, ради бога, задержался не по своей вине...

Она посмотрела с высоты своего роста на мокрый глянец его коротких, мелко курчавых волос, на блестящие глаза, почувствовала его винный запах:

— Вина давно известная...

И села на шелковый пуф, взяв левой рукой под локоть правую, высоко держа поднятую папиросу, положив ногу на ногу и выше колена раскрыв боковой разрез капота. Он сел напротив на шелковое канапе, вытягивая из кармана брюк портсигар:

— Понимаешь, какая вышла история...

— Понимаю, понимаю...

Он быстро и ловко закурил, помахал горячей спичкой и бросил ее в пепельницу на восточном столике возле пуфа, усаживаясь поудобней и глядя с обычным неумеренным восхищением на ее голое колено в разрезе капота.

— Ну, прекрасно, не хочешь слушать, не надо... Программа нынешнего вечера: хочешь поехать в Купеческий сад? Там нынче какая-то «Японская ночь» — знаешь, эти фонарики, на эстраде гейши, «за красу я получила первый приз».

Она покачала головой:

— Никаких программ. Я нынче сижу дома.

— Как хочешь. И это неплохо.

Она повела глазами по комнате:

— Милый мой, это наше последнее свидание.

Он весело изумился:

— То есть как это последнее?

— А так.

У него еще веселей заиграли глаза.

— Позволь, позволь, это забавно!

— Я ничуть не забавляюсь.

— Прекрасно. Но все-таки интересно знать,

что сей сон значит? Яка така удруг закавыка, как говорит наш вахмистр?

— Как говорят вахмистры, меня мало интересуеет. И я, по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься.

— Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу.

— Это очень мило, но на этот раз не совсем кстати.

— Однако, черт возьми, я все-таки ничего не понимаю! Что случилось?

— Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой.

— Мамочки мои! Да ты это серьезно?

— Совершенно серьезно. Я была преступно виновата перед ним. Но он все готов простить, забыть.

— Ка-акое великодушие!

— Не паясничай. Я виделась с ним еще Великим постом...

— То есть тайком от меня и продолжая...

— Что продолжая? Понимаю, но все равно... Я виделась с ним, — и, разумеется, тайком, не желая тебе причинять страдание, — и тогда же поняла, что никогда не переставала

любить его.

Он сощурил глаза, жуя мундштук папиросы.

— То есть его деньги?

— Он не богаче тебя. И что мне ваши деньги! Если б я захотела...

— Прости, так говорят только кокотки.

— А кто ж я, как не кокотка? Разве я на свои, а не на твои деньги живу?

Он пробормотал офицерской скороговоркой:

— При любви деньги не имеют значения.

— Но ведь я люблю его!

— А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки и одним из выгодных содержателей?

— Ты отлично знаешь, что далеко не забавой, не игрушкой. Ну да, я содержанка, и все-таки подло напоминать мне об этом.

— Легче на поворотах! Выбирайте хорошо ваши выражения, как говорят французы!

— Вам тоже советую держаться этого правила. Словом...

Он встал, почувствовал новый прилив той готовности на все, с которой мчался на извоз-

чике, прошелся по комнате, собираясь с мыслями, все еще не веря той нелепости, неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер, отшвырнул ногой желтоволосую куклу в красном сарафане, валявшуюся на ковре, сел опять на канопе, в упор глядя на нее.

— Я еще раз спрашиваю: это все не шутки?

Она, закрыв глаза, помахала давно потухшей папиросой.

Он задумался, снова закурил и опять зажевал мундштук, отдельно говоря:

— И что же, ты думаешь, что я так вот и отдам ему вот эти твои руки, ноги, что он будет целовать вот это колено, которое еще вчера целовал я?

Она подняла брови.

— Я ведь все-таки не вещь, мой милый, которую можно отдавать или не отдавать. И по какому праву...

Он поспешно положил папиросу в пепельницу и, согнувшись, вынул из заднего кармана брюк скользкий, маленький, увесистый «браунинг», на ладони покачал его:

— Вот мое право.

Она покосилась, скучно усмехнулась:

— Я не любительница мелодрам. — И бесстрастно повысила голос: — Соня, подайте Павлу Сергеевичу шинель.

— Что-о?

— Ничего. Вы пьяны. Уходите.

— Это ваше последнее слово?

— Последнее.

И поднялась, оправляя разрез на ноге. Он шагнул к ней с радостной решительностью.

— Смотрите, как бы и впрямь не стало оно вашим последним!

— Пьяный актер, — сказала она брезгливо и, поправляя сзади волосы длинными пальцами, пошла из комнаты. Он так крепко схватил ее за обнажившееся предплечье, что она изогнулась и, быстро обернувшись с еще больше раскосившимися глазами, замахнулась на него. Он, ловко уклонившись, с едкой гримасой выстрелил.

В декабре того же года пароход Добровольного флота «Саратов» шел в Индийском океане на Владивосток. Под горячим тентом, натянутом на баке, в неподвижном зное, в горячем полусвете, в блеске зеркальных отраже-

ний от воды, сидели и лежали на палубе до пояса голые арестанты с наполовину выбритыми, страшными головами, в штанах из белой парусины, с кольцами кандалов на щиколках босых ног. Как все, до пояса гол был и он худым, коричневым от загара телом. Темнела и у него только половина головы коротко стриженными волосами, красно чернели жестким волосом давно не бритые худые щеки, лихорадочно сверкали глаза. Облокотясь на поручни, он пристально смотрел на горбамиды летящую глубоко внизу, вдоль высокой стены борта, густо-синюю волну и от времени до времени поплевывал туда.

*16 мая 1944*

## **Ворон**

**О**тец мой был похож на ворона. Мне пришло это в голову, когда я был еще мальчишкой: увидел однажды в «Ниве» картинку, какую-то скалу и на ней Наполеона с его белым брюшком и лосинами, в черных коротких сапожках, и вдруг засмеялся от радости, вспомнив картинку в «Полярных путешествиях» Богданова, — так похож показался мне Напо-

леон на пингвина, — а потом грустно подумал: а папа похож на ворона...

Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служебный пост, и это еще более испортило его; думаю, что даже в том чиновном обществе, к которому принадлежал он, не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно жестокого в медлительных словах и поступках. Невысокий, плотный, немного сутулый, грубо черноволосый, темный длинным бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон — особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши, сутуло и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами на танцующих, на подходящих к киоску, да и на ту боярыню, которая с чарующей улыбкой подавала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной рукой в бриллиантах, — рослую даму в парче и кокошнике, с носом, настолько розово-белым от пудры, что он казался искусственным. Был отец

давно вдов, нас, детей, было у него лишь двое, — я да маленькая сестра моя Лиля, — и холодно, пусто блистала своими огромными, зеркально-чистыми комнатами наша просторная казенная квартира во втором этаже одного из казенных домов, выходявших фасадами на бульвар в тополях между собором и главной улицей. К счастью, я больше полугода жил в Москве, учился в Катковском лицее, приезжал домой лишь на Святки и летние каникулы. В том году встретило меня, однако, дома нечто совсем неожиданное.

Весной того года я кончил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был: точно солнце засияло вдруг в нашей прежде столь мертвой квартире, — всю ее озаряло присутствие той юной, легконогой, что только что сменила няньку восьмилетней Лили, длинную, плоскую старуху, похожую на средневековую деревянную статую какой-нибудь святой. Бедная девушка, дочь одного из мелких подчиненных отца, была она в те дни бесконечно счастлива тем, что так хорошо устроилась тотчас после гимназии, а потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но

уж до чего была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черноглазой, тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости Лилей, будто постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой! Отец за обедами неузнаваем стал: не кидал тяжких взглядов на старика Гурия, в вязаных перчатках подносившего ему кушанья, то и дело что-нибудь говорил, — медлительно, но говорил, — обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству, — «любезная Елена Николаевна», — даже пытался шутить, усмехаться. А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто алела тонким и нежным лицом — лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке с темными от горячего юного пота подмышками, под которой едва означались маленькие груди. На меня она за обедом и глаз поднять не смела: тут я был для нее еще страшнее отца. Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: не только он, но и я по-

нимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня, а слушать отца и следить за злой, непоседливой, хотя и молчаливой Лилей скрыт был совсем иной страх — радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга. По вечерам отец всегда пил чай среди своих занятий, и прежде ему подавали его большую чашку с золотыми краями на письменный стол в кабинете; теперь он пил чай с нами, в столовой, и за самоваром сидела она — Лиля в этот час уже спала. Он выходил из кабинета в длинной и широкой тужурке на красной подкладке, усаживался в свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, наливала мне и себе и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием, а он не спеша говорил — нечто очень странное:

— Белокурым, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунсовое... Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым, стоячим воротом а-ля Мария Стюарт, унизанным мелкими бриллиантами... или средневековое платье пунсового

бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком... Шубка темно-синего лионского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам... Все это, конечно, мечты, — говорил он, усмехаясь. — Ваш отец получает у нас всего семьдесят пять рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще пять человек, мал мала меньше, — значит, вам скорей всего придется всю жизнь прожить в бедности. Но и то сказать: какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются?.. Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются... Ведь вот выиграл же недавно по выигрышному билету повар на вокзале в Курске двести тысяч, — простой повар!

Она пыталась делать вид, что принимает все это за милые шутки, заставляла себя взглядывать на него, улыбаться, а я, будто и не слыша ничего, раскладывал пасьянс «Наполеон». Он же пошел однажды еще дальше, — вдруг молвил, кивнув в мою сторону:

— Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает: мол, помрет в некий срок папенька, и будут у него куры не клевать золота! А ку-

ры-то и впрямь не будут клевать, потому что клевать будет нечего. У папеньки, разумеется, кое-что есть, — например, именьице в тысячу десятин чернозему в Самарской губернии, — только навряд оно сынку достанется, не очень-то он папеньку своей любовью жалует, и, насколько понимаю, выйдет из него мот первой степени...

Был этот последний разговор вечером под Петров день, — очень мне памятный. Утром того дня отец уехал в собор, из собора — на завтрак к имениннику-губернатору. Он и без того никогда не завтракал в будни дома, так что и в тот день мы завтракали втроем, и под конец завтрака Лиля, когда подали вместо ее любимых хворостиков вишневый кисель, стала пронзительно кричать на Гурия, стуча кулачками по столу, сошвырнула на пол тарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотащили ее в ее комнату, — она брыкалась, кусала нам руки, — умолили ее успокоиться, наобещали жестоко наказать повара, и она стихла наконец и заснула. Сколько трепетной нежности было для нас даже в одном этом — в совместных усили-

ях тащить ее, то и дело касаясь рук друг друга! На дворе шумел дождь, в темнеющих комнатах сверкала иногда молния и содрогались стекла от грома.

— Это на нее так гроза подействовала, — радостно сказала она шепотом, когда мы вышли в коридор, и вдруг насторожилась: — О, где-то пожар!

Мы пробежали в столовую, распахнули окно — мимо нас, вдоль бульвара, с грохотом неслась пожарная команда. На тополи лился быстрый ливень, — гроза уже прошла, точно он потушил ее, — в грохоте длинных несущихся дрог с медными касками стоящих на них пожарных, со шлангами и лестницами, в звоне поддужных колокольцев над гривами черных битюгов, с треском подков мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой, нежно, бесовски-игриво, предостерегающе пел рожок горниста... Потом часто, часто забил набат на колокольне Ивана Воина на Лавах... Мы рядом, близко друг к другу, стояли у окна, в которое свежо пахло водой и городской мокрой пылью, и, казалось, только смотрели и слушали с пристальным волнением.

Потом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком на них, сердце у меня забилося сильнее, лоб стянуло — я взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляюще глядя ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза, а я охватил ее плечо и впервые в жизни сомлел в нежном холоде девичьих губ... Не было после того ни единого дня без наших ежечасных, будто бы случайных встреч то в гостиной, то в зале, то в коридоре, даже в кабинете отца, приехавшего домой только к вечеру, — этих коротких встреч и отчаянно долгих, ненасытных и уже нестерпимых в своей неразрешимости поцелуев. И отец, что-то чуя, опять перестал выходить к вечернему чаю в столовую, стал опять молчалив и угрюм. Но мы уже не обращали на него внимания, и она стала спокойнее и серьезнее за обедами.

В начале июля Лиля заболела, объевшись малиной, лежала, медленно поправляясь, в своей комнате и все рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, при-

шпиленных к доске, какие-то сказочные города, а она поневоле не отходила от ее кровати, сидела и вышивала себе малороссийскую рубашечку, — отойти было нельзя: Лиля поминутно что-нибудь требовала. А я погибал в пустом, тихом доме от непрерывного, мучительного желания видеть, целовать и прижимать к себе ее, сидел в кабинете отца, что попало беря из его библиотечных шкапов и силясь читать. Так сидел я и в тот раз, уже перед вечером. И вот вдруг послышались ее легкие и быстрые шаги. Я бросил книгу и вскочил:

— Что, заснула?

Она махнула рукой:

— Ах, нет! Ты не знаешь — она может по двое суток не спать, и ей все ничего, как всем сумасшедшим! Прогнала меня искать у отца какие-то желтые и оранжевые карандаши...

И, заплакав, подошла и уронила мне на грудь голову:

— Боже мой, когда же это кончится! Скажи же наконец ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас!

И, подняв мокрое от слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась в поцелуе. Я при-

жал ее всю к себе, потянул к дивану, — мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту? Но на пороге кабинета уже слышалось легкое покашливание: я взглянул через ее плечо — отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и, горбясь, удалился.

К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался Гурий: «Папаша просят вас пожаловать к ним». Я вошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить:

— Завтра ты на все лето уедешь в мою сарматскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе службу. Если осмелишься ослушаться, навеки лишу тебя наследства. Но мало того: завтра же попрошу губернатора немедленно выслать тебя в деревню по этапу. Теперь ступай и больше на глаза мне не показывайся. Деньги на проезд и некоторые карманные получишь завтра утром через человека. К осени напишу в деревенскую контору мою, дабы тебе выдали некоторую сумму на первое прожитие в столицах. Видеть ее до отъезда никак не надейся. Все, любимый мой. Иди.

В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставив службу, тоже переехал в Петербург — «с прелестной молоденькой женой», как сказали мне. И, входя однажды вечером в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидал и его и ее. Они сидели в ложе возле сцены, у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он, во фраке, сутулясь, вороном, внимательно читал, прищурив один глаз, программу. Она, держась легко и стройно, в высокой прическе белокурых волос, оживленно озиралась кругом — на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющийся партер, на вечерние платья, фраки и мундиры входящих в ложи. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, род

пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом...

*18 мая 1944*

## **Камарг**

**О**на вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, извиваясь всем своим цыганско-испанским телом, села у окна на одноместную скамью и, будто никого не видя, стала шелушить и грызть жареные фисташки, от времени до времени поднимая подол верхней черной юбки и запуская руку в карман нижней, заносенной белой. Вагон, полный простым народом, состоял не из купе, разделен был только скамьями, и многие, сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на нее.

Губы ее, двигавшиеся над белыми зубами, были сизы, синеватый пушок на верхней губе сгущался над углами рта. Тонкое, смугло-темное лицо, озаряемое блеском зубов, было древне-дико. Глаза, длинные, золотисто-карие, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели как-то внутрь себя — с тусклой первобытной истомой. Из-под жесткого шел-

ка смольных волос, разделенных на прямой пробор и вьющимися локонами падавших на низкий лоб, поблескивали вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. Выцветший голубой платок, лежавший на покатых плечах, был красиво завязан на груди. Руки, сухие, индусские, с мумийными пальцами и более светлыми ногтями, все шелушили и шелушили фисташки с обезьяньей быстротой и ловкостью. Кончив их и стряхнув шелуху с колен, она прикрыла глаза, положила нога на ногу и откинулась к спинке скамьи. Под сборчатой черной юбкой, особенно женственно выделявшей перехват ее гибкой талии, кострецы выступали твердыми бугорками плавных очертаний. Худая, голая, блестящая тонкой загорелой кожей ступня была обута в черный тряпичный чувяк и переплетена разноцветными лентами, — синими и красными...

Под Арлем она вышла.

— C'est une samarguaïaise[27], — почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой сосед, мощный, как бык, провансалец, с черным, в кровяных жилках румянцем.

23 мая 1944

## Сто рупий

Я увидал ее однажды утром во дворе той гостиницы, того старинного голландского дома в кокосовых лесах на берегу океана, где я проживал в те дни. И потом видел ее там каждое утро. Она полулежала в камышовом кресле, в легкой, жаркой тени, падавшей от дома, в двух шагах от веранды. Высокий, желтолицый, мучительно узкоглазый малаец, одетый в белую парусиновую куртку и такие же панталоны, приносил ей, шурша босыми ногами по гравию, и ставил на столик возле кресла поднос с чашкой золотого чаю, что-то почтительно говорил ей, не шевеля сухими, стянутыми в дыру губами, кланялся и удалялся; а она полулежала и медленно помахивала соломенным веером, мерно мерцая черным бархатом своих удивительных ресниц... К какому роду земных созданий можно было отнести ее?

Ее тропически крепкое тело, его кофейная нагота была открыта на груди, на плечах, на руках и на ногах до колен, а стан и бедра как-то повиты яркой зеленой тканью. Маленькие

ступни с красными ногтями пальцев выглядывали между красными ремнями лакированных сандалий желтого дерева. Дегтярные волосы, высоко поднятые прической, странно не соответствовали своей грубостью нежности ее детского лица. В мочках маленьких ушей покачивались золотые дутые кольца. И неправдоподобно огромны и великолепны были черные ресницы — подобие тех райских бабочек, что так волшебным мерцают на райских индийских цветах... Красота, ум, глупость — все эти слова никак не шли к ней, как не шло все человеческое: поистине, была она как бы с какой-то другой планеты. Единственное, что шло к ней, была бессловесность. И она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом своих ресниц-бабочек, медленно помахивая веером...

Раз утром, когда во двор гостиницы вбежал рикша, на котором я обычно ездил в город, малаец встретил меня на ступеньках веранды и, поклонившись, тихо сказал по-английски:

— Сто рупий, сэр.

*24 мая 1944*

## Месть

В пансионе в Каннах, куда я приехал в конце августа с намерением купаться в море и писать с натуры, эта странная женщина пила по утрам кофе и обедала за отдельным столиком с неизменно сосредоточенным, мрачным видом, точно никого и ничего не видя, а после кофе куда-то уходила почти до вечера. Я жил в пансионе уже с неделю и все еще с интересом посматривал на нее: черные густые волосы, крупная черная коса, обвивающая голову, сильное тело в красном с черными цветами платье из кретона, красивое, грубоватое лицо — и этот мрачный взгляд... Подавала нам эльзаска, девочка лет пятнадцати, но с большими грудями и широким задом, очень полная удивительно нежной и свежей полнотой, на редкость глупая и милая, на каждое слово расцветающая испугом и улыбкой, и вот, встретив ее однажды в коридоре, я спросил:

— Dites, Odette, qui est cette dame?

Она, с готовностью и к испугу и к улыбке, вскинула на меня маслянисто-голубые глаза:

— Quelle dame, monsieur?

- Mais la dame brune, là-bas?
- Quelle table, monsieur?
- Numéro dix.
- G'est une russe, monsieur.
- Et puis?
- Je n'en sais rien, monsieur.
- Est-elle chez vous depuis longtemps?
- Depuis trois semaines, monsieur.
- Toujours seule?
- Non, monsieur. Il y avait un monsieur...
- Jeune, sportif?
- Non, monsieur. Très pensif, nerveux...
- Et il a disparu un jour?
- Mais oui, monsieur...[28]

«Так, так! — подумал я. — Теперь кое-что понятно. Но куда это исчезает она по утрам? Все его ищет?»

На другой день, вскоре после кофе, я, как всегда, услышал в открытое окно своей комнаты хруст гальки в садике пансиона, выглянул: она, с раскрытой, как всегда, головой, под зонтиком того же цвета, что и платье, куда-то уходила скорым шагом в красных эспадрильях. Я схватил трость, канотье и поспешил за ней. Она из нашего переуллка повернула на

бульвар Карно, — я тоже повернул, надеясь, что она в своей постоянной сосредоточенности не обернется и не почувствует меня. И точно — она ни разу не обернулась до самого вокзала. Не обернулась и на вокзале, входя в купе третьеклассного вагона. Поезд шел в Тулон, я на всякий случай взял билет до Сен-Рафаэля, поднялся в соседнее купе. Ехала она, очевидно, недалеко, но куда? Я высовывался в окно в Напуле, в Тэуле... Наконец, высунувшись на минутной остановке в Трэйясе, увидел, что она идет уже к выходу со станции. Я выскочил из вагона и опять пошел за ней, держась, однако, в некотором отдалении. Тут пришлось идти долго — и по извивам шоссе вдоль обрывов над морем, и по крутым каменистым тропинкам сквозь мелкий сосновый лес, по которым она сокращала путь к берегу, к заливчикам, изрезывающим берег в этой скалистой, покрытой лесом и пустынной местности, этот скат прибрежных гор. Близился полдень, было жарко, воздух неподвижен и густ от запаха горячей хвои, нигде ни души, ни звука, — только пилили, скрежетали цикады, — открытое к югу море сверкало,

прыгало крупными серебряными звездами... Наконец она сбежала по тропинке к зеленому заливчику между сангвиновыми утесами, бросила зонтик на песок, быстро разулась, — была на босу ногу, — и стала раздеваться. Я лег на каменистый отвес, под которым она расстегивала свое мрачно-цветистое платье, глядел и думал, что, верно, и купальный костюм у нее такой же зловещий. Но никакого костюма под платьем не оказалось, — была одна короткая розовая сорочка. Скинув и сорочку, она, вся коричневая от загара, сильная, крепкая, пошла по гольшам к светлой, прозрачной воде, напрягая красивые щиколки, подергивая крутыми половинками зада, блестя загаром бедер. У воды она постояла, — должно быть, щурясь от ее ослепительности, — потом зашумела в ней ногами, присела, окунулась до плеч и, повернувшись, легла на живот, потянулась, раскинув ноги, к песчаному побережью, положила на него локти и черную голову. Вдали широко и свободно трепетала колючим серебром равнина моря, замкнутый заливчик и весь его скалистый уют все жарче пекло солнце, и такая тишина

стояла в этой знойной пустыне скал и мелко-южного леса, что слышно было, как иногда набегала на тело, ничком лежащее подо мной, и сбегала с его сверкающей спины, раздвоенного зада и крупных раздвинутых ног сеть мелкой стеклянной зыби. Я, лежа и выглядывая из-за камней, все больше тревожился видом этой великолепной наготы, все больше забывал нелепость и дерзость своего поступка, приподнялся, закуривая от волнения трубку, — и вдруг она тоже подняла голову и вопросительно уставилась на меня снизу вверх, продолжая, однако, лежать, как лежала. Я встал, не зная, что делать, что сказать.

Она заговорила первая:

— Я всю дорогу слышала, что сзади меня кто-то идет. Почему вы поехали за мной?

Я решил ответить без обиняков:

— Простите, из любопытства...

Она перебила меня:

— Да, вы, очевидно, любознательны. Odette мне сказала, что вы расспрашивали ее обо мне, я случайно слышала, что вы русский, и потому не удивилась — все русские не в меру любознательны. Но почему все-таки вы по-

ехали за мной?

— В силу все той же любознательности, — в частности, и профессиональной.

— Да, знаю, вы живописец.

— Да, а вы живописны. Кроме того, вы каждый день куда-то уходили по утрам, и это меня интриговало, — куда, зачем? — пропустили завтраки, что не часто случается с жильцами пансионатов, да и вид у вас был всегда не совсем обычный, на чем-то сосредоточенный. Держитесь вы одиноко, молчаливо, что-то как будто таите в себе... Ну, а почему я не ушел, как только вы стали раздеваться...

— Ну, это-то понятно, — сказала она.

И, помолчав, прибавила:

— Я сейчас выйду. Отвернитесь на минуту и потом идите сюда. Вы меня тоже заинтересовали.

— Ни за что не отвернусь, — ответил я. — Я художник, и мы не дети.

Она пожала плечом:

— Ну, хорошо, мне все равно...

И встала во весь рост, показывая всю себя спереди во всей своей женской силе, не спеша пробралась по гальке, накинула на голову

свою розовую сорочку, потом открыла в ней свое серьезное лицо, опустила ее на мокрое тело. Я сбежал к ней, и мы сели рядом.

— Кроме трубки, у вас есть, может быть, и папиросы? — спросила она.

— Есть.

— Дайте мне.

Я дал, зажег спичку.

— Спасибо.

И, затягиваясь, она стала глядеть вдаль, пошевеливая пальцами ноги, не оборачиваясь; иронически сказала вдруг:

— Так я еще могу нравиться?

— Еще бы! — воскликнул я. — Прекрасное тело, чудесные волосы, глаза... Только очень уж недоброе выражение лица.

— Это потому, что я правда занята одной злой мыслью.

— Я так и думал. Вы с кем-то недавно расстались, кто-то вас оставил...

— Не оставил, а бросил. Сбежал от меня. Я знала, что он пропащий человек, но я его как-то любила. Оказалось, что любила просто негодя. Встретилась я с ним месяца полтора тому назад в Монте-Карло. Играла в тот вечер

в казино. Он стоял рядом, тоже играл, следил сумасшедшими глазами за шариком и все выигрывал, выигрывал раз, два, три, четыре... Я тоже все выигрывала, он это видел и вдруг сказал: «Шабаш! Assez!» — и повернулся ко мне: «N'est-ce pas, madame?»[29] Я, смеясь, ответила: «Да, шабаш!» — «Ах, вы русская?» — «Как видите». — «Тогда идем кутить!» Я посмотрела — очень потрепанный, но изящный с виду человек... Остальное нетрудно угадать.

— Да, нетрудно. Почувствовали себя за ужином близкими, говорили без конца, удивились, когда настал час расставаться...

— Совершенно верно. И не расстались, и начали проматывать выигранное. Жили в Монте-Карло, в Тюрби, в Ницце, завтракали и обедали в кабаках на дороге между Каннами и Ниццей, — вы, верно, знаете, что это стоит! — жили одно время даже в отеле на Cap d'Antibes, притворяясь богатыми людьми... А денег оставалось все меньше, поездки в Монте-Карло на последние гроши кончались крахом... Он стал куда-то исчезать и возвращаться опять с деньгами, хотя привозил пустяки — франков сто, пятьдесят... Потом где-то

продал мои серьги, обручальное кольцо, — я была когда-то замужем, — золотой нательный крест...

— И, конечно, уверял, что вот-вот откуда-то получит какой-то большой долг, что у него есть знатные и состоятельные друзья и знакомые.

— Да, именно так. Кто он, я точно и теперь не знаю, он избегал говорить подробно и ясно о своей прошлой жизни, и я как-то невнимательно относилась к этому. Ну, обычное прошлое многих эмигрантов: Петербург, служба в блестящем полку, потом война, революция, Константинополь... В Париже, благодаря прежним связям, будто бы устраивался и всегда может устроиться очень недурно, а пока — Монте-Карло или же постоянная возможность, как он говорил, перехватить в Ницце у каких-то титулованных друзей... Я уже падала духом, приходила в отчаяние, но он только усмехался: «Будь спокойна, положишь на меня, я уже сделал некоторые серьезные демарши в Париже, а какие именно, это, как говорится, не женского ума дело...»

— Так, так...

— Что так?

И она вдруг обернулась ко мне, сверкнув глазами, далеко швырнув потухшую папиросу.

— Вас все это потешает?

Я схватил и сжал ее руку.

— Как вам не стыдно! Вот напишу вас Медузой или Немезидой!

— Это богиня мести?

— Да, и очень злая.

Она печально усмехнулась:

— Немезида! Уж какая там Немезида! Нет, вы хороший... Дайте еще папиросу. Выучил курить... Всему выучил!

И, закурив, опять стала смотреть вдаль.

— Я забыл вам сказать еще то, как я был удивлен, когда увидал, куда вы ездите купаться, — целое путешествие каждый день и с какой целью? Теперь понимаю: ищете одиночества.

— Да...

Солнечный жар тек все гуще, цикады на горячих, пахучих соснах пилили, скрежетали все настойчивее, яростней, — я чувствовал, как должны быть накалены ее черные воло-

сы, открытые плечи, ноги, и сказал:

— Перейдем в тень, уж очень жжет, и докажите мне вашу печальную историю.

Она очнулась.

— Перейдем...

И мы обошли полукруг заливчика и сели в светлой и знойной тени под красными утесами. Я опять взял ее руку и оставил в своей. Она не заметила этого.

— Что ж тут досказывать? — сказала она. — Мне уж как-то расхотелось вспоминать всю эту действительно очень печальную и постыдную историю. Вы, вероятно, думаете, что я привычная содержанка то одного, то другого мошенника. Ничего подобного. Прощлое мое тоже самое обыкновенное. Муж был в Добровольческой армии, сперва у Деникина, потом у Врангеля, а когда мы докатились до Парижа, стал, конечно, шофером, но начал спиваться и спился до того, что потерял работу и превратился в настоящего босяка. Продолжать жить с ним я уже никак не могла. Видела его последний раз на Монпарнасе, у дверей «Доминика», — знаете, конечно, этот русский кабачок? Ночь, дождь, а он в

опорках, топчется в лужах, подбегает, согнувшись, к прохожим, протягивает руку за подачкой, неловко помогает, лучше сказать, мешает вылезать из такси подъезжающим... Я постояла, посмотрела на него, подошла к нему. Узнал, испугался, сконфузился, — вы не можете представить, какой это прекрасный, добрый, деликатный человек! — стоит, растерянно смотрит на меня: «Маша, ты?» Маленький, оборванный, небритый, весь зарос рыжей щетиной, мокрый, дрожит от холода... Я дала ему все, что было у меня в сумочке, он схватил мою руку мокрой, ледяной ручкой, стал целовать ее и трястись от слез. Но что же я могла сделать? Только посылать ему раза два, три в месяц по сто, по двести франков, — у меня в Париже шляпная мастерская, и я довольно прилично зарабатываю. А сюда я приехала отдохнуть, покупаться — и вот... На днях уеду в Париж. Встретиться с ним, дать ему пощечину и тому подобное — очень глупая мечта, и знаете, когда я поняла это уж как следует? Вот только сейчас, благодаря вам. Стала рассказывать и поняла...

— Но все-таки как же он сбежал?

— Ах, в том-то и дело, что уж очень подло. Поселились мы в этом самом пансиончике, где мы с вами оказались соседями, — это после отеля-то на Cap d'Antibes! — и пошли однажды вечером, всего дней десять тому назад, пить чай в казино. Ну, конечно, музыка, несколько танцующих пар, — я уж больше просто видеть не могла без отвращения всего этого, нагладелась достаточно! — однако сижу, ем пирожные, которые он заказывает для меня и для себя и все как-то странно смеется, — посмотри, посмотри, говорит про музыкантов, настоящие обезьяны, как топают и кривляются! Потом открывает пустой портсигар, зовет шассера, приказывает ему принести английских папирос, тот приносит, он рассеянно говорит мерси, я вам заплачу после чая, глядит на свои ногти и обращается ко мне: «Ужас какие руки! Пойду помою...» Встает и уходит...

— И больше не возвращается.

— Да. А я сижу и жду. Жду десять минут, двадцать, полчаса, час... Представляете вы это себе?

— Представляю...

Я очень ясно представил себе: сидят за чайным столиком, смотрят, молчат, по-разному думают о своем мерзком положении... За стеклами больших окон вечеряющее небо и глянец, штиль моря, висят темнеющие ветви пальм, музыканты, как неживые, топают ногами в пол, дуют в инструменты, бьют в металлические тарелки, мужчины, шаркая и качаясь в лад им, напирают на своих дам, будто таща их к явно определенной цели... Малый в крагах и в некотором подобии зеленого мундира подает ему, почтительно сняв картуз, пачку «High-Life»...

— Ну и что же? Вы сидите...

— Я сижу и чувствую, что погибаю. Музыканты ушли, зал опустел, зажегся электрический свет...

— Посинели окна...

— Да, а я все не могу подняться с места: что делать, как спастись? В сумочке у меня всего шесть франков и какая-то мелочь!

— А он действительно пошел в уборную, сделал там что нужно, думая о своей мошеннической жизни, потом застегнулся и на цыпочках пробежал по коридорам к другому вы-

ходу, выскочил на улицу... Побойтесь Бога, подумайте, кого вы любили! Искать его, мстить ему? За что? Вы не девочка, должны были видеть, кто он и в какое положение вы попали. Почему же продолжали эту ужасную во всех смыслах жизнь?

Она помолчала, повела плечом:

— Кого я любила? не знаю. Была, как говорится, потребность любви, которой я по-настоящему никогда не испытала... Как мужчина, он мне ничего не давал и не мог дать, уже давно потерял мужские способности... Должна была видеть, кто он и в какое положение попала? Конечно, должна, да не хотелось видеть, думать — в первый раз в жизни жила такой жизнью, этим порочным праздником, всеми его удовольствиями, жила в каком-то наваждении. Зачем хотела где-то встретить его и как-то отомстить ему? Опять наваждение, навязчивая идея. Разве я не чувствовала, что, кроме гадкого и жалкого скандала, я ничего не могла сделать? Но вы говорите: за что? А вот за то, что это все-таки благодаря ему я так низко пала, жила этой мошеннической жизнью, а главное, за тот ужас, позор,

который я пережила в тот вечер в казино, когда он сбежал из клозета! Когда я, вне себя, что-то лгала в кассе казино, вывертывалась, умоляла взять у меня в залог до завтра сумочку — и когда ее не взяли и презрительно простили мне и чай, и пирожные, и английские папиросы! Послала телеграмму в Париж, получила на третий день тысячу франков, пошла в казино — там, не глядя на меня, взяли деньги, даже счетик дали... Ах, милый, никакая я не Медуза, я просто баба и к тому же очень чувствительная, одинокая, несчастная, но поймите же меня — ведь и у курицы есть сердце! Я просто больна была все эти дни с того проклятого вечера. И просто сам Бог послал мне вас, я как-то вдруг пришла в себя... Пустите мою руку, пора одеваться, скоро поезд из Сен-Рафаэля...

— Бог с ним, — сказал я. — Посмотрите лучше кругом, на эти красные скалы, зеленый заливчик, корявые сосны, послушайте этот райский скрежет... Ездить сюда мы теперь будем уж вместе. Правда?

— Правда.

— Вместе и в Париж уедем.

— Да.

— А что дальше, не стоит загадывать.

— Да, да.

— Можно поцеловать руку?

— Можно, можно...

3 июня 1944

## Качели

**В** летний вечер сидел в гостиной, брэнча на фортепьяно, услышал на балконе ее шаги, дико ударил по клавишам и не в лад закричал, запел:

*Не завидую богам,  
Не завидую царям,  
Как увижу очи томны,  
Стройный стан и косы темны!*

Вошла в синем сарафане, с двумя длинными темными косами на спине, в коралловом ожерелье, усмехаясь синими глазами на загорелом лице:

— Это все про меня? И ария собственной композиции?

— Да!

И опять ударил и закричал:

*Не завидую богам...*

— Ну и слух же у вас!

— Зато я знаменитый живописец. И красив, как Леонид Андреев. На беду вашу заехал я к вам!

— Он пугает, а мне не страшно, сказал Толстой про вашего Андреева.

— Посмотрим, посмотрим!

— А дедушкин костыль?

— Дедушка, хоть и севастопольский герой, только с виду грозен. Убежим, повенчаемся, потом кинемся ему в ноги — заплачет и простит...

В сумерки, перед ужином, когда в поварской жарили пахучие битки с луком и в росистом парке свежело, носились, стоя друг против друга, на качелях в конце аллеи, визжа кольцами, дуя ветром, развевавшим ее подол. Он, натягивая веревки и поддавая взмах доски, делал страшные глаза; она, раскрасневшись, смотрела пристально, бессмысленно и радостно.

— Ау! А вон первая звезда и молодой месяц и небо над озером зеленое-зеленое — живописец, посмотрите, какой топкий серпик! Ме-

сяц, месяц, золотые рога... Ой, мы сорвемся!

Слетев с высоты и соскочив на землю, сели на доску, сдерживая взволнованное дыхание и глядя друг на друга.

— Ну что? Я говорил!

— Что говорил?

— Вы уже влюблены в меня.

— Может быть... Пойдите, зовут к ужину...

Ау, идем, идем!

— Погодите минутку. Первая звезда, молодой месяц, зеленое небо, запах росы, запах из кухни, — верно, опять мои любимые битки в сметане! — и синие глаза и прекрасное счастливое лицо...

— Да, счастливее этого вечера, мне кажется, в моей жизни уже не будет...

— Данте говорил о Беатриче: «В ее глазах — начало любви, а конец — в устах». И так? — сказал он, беря ее руку.

Она закрыла глаза, клонясь к нему опущенной головой. Он обнял ее плечи с мягкими косами, поднял ее лицо:

— Конец в устах?

— Да...

Когда шли по аллее, он смотрел себе под

ноги:

— Что ж нам теперь делать? Идти к дедушке и, упав на колени, просить его благословения? Но какой же я муж?

— Нет, нет, только не это.

— А что же?

— Не знаю. Пусть будет только то, что есть... Лучше уж не будет.

*10 апреля 1945*

### **Чистый понедельник**

**Т**емнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчичьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи, — в сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды, — оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаче мой кучер — от Красных ворот к храму Христа Спасителя: она жила против него; каждый вечер

я возил ее обедать в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь», после обеда в театры, на концерты, а там к «Яру» в Стрельну... Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно — так же, как и говорить с ней об этом: она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношения, — со всем близки мы все еще не были; и все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании — и вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее.

Она зачем-то училась на курсах, довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил: «Зачем?» Она пожала плечом: «А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история...» Жила она одна, — вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери, что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пя-

том этаже, всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван, стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически-прекрасное начало «Лунной сонаты», — только одно начало, — на пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы, — по моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие, — и когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила: «Спасибо за цветы...» Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги — Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского, — и получал все то же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно, почему, — говорила она в раздумье, глядя мой бобровый воротник, — но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которымходишь со двора в комнату...» Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы, ни книги, ни обе-

ды, ни театры, ни ужины за городом, хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые, все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду съедала за день целую коробку, за обедами и ужинами ела не меньше меня, любила расстегаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане, иногда говорила: «Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать», — но сама и обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех...

Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губернии, был в ту пору красив почему-то южной, горячеею красотой, был даже «неприлично красив», как сказал мне однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человек, великий обжора и умница. «Черт вас знает, кто вы, сицилианец какой-то», — сказал он сонно; и характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у нее

красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболь мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком; выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками (а на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на Арбате); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой: я это видел, выезжая иногда к ней и днем, потому что каждый месяц она дня три-четыре совсем не выходила и не выезжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать.

— Вы ужасно болтливы и непоседливы, — говорила она, — дайте мне дочитать главу...

— Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас, — отвечал я, напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабре, попав в Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, тоже наконец рассмеялась, и я тотчас весело обратился к ней.

— Все так, — говорила она, — но все-таки помолчите немного, почитайте что-нибудь, покурите...

— Не могу я молчать! Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам! Не любите вы меня!

— Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кроме отца и вас, у меня никого нет на свете. Во всяком случае, вы у меня первый и последний. Вам этого мало? Но довольно об этом. Читать при вас нельзя, давайте чай пить...

И я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике на столике за отвалом дивана, брал

из ореховой горки, стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря что придет в голову:

— Вы дочитали «Огненного ангела»?

— Досмотрела. До того высокопарно, что совестно читать.

— А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаля-пина?

— Не в меру разудал был. И потом желтоволосую Русь я вообще не люблю.

— Все-то вам не нравится!

— Да, многое...

«Странная любовь!» — думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него... «Станный город! — говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. — Василий Блажен-

ный — и Спас-на-Бору, итальянские соборы — и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах...»

Приезжая в сумерки, я иногда заставал ее на диване только в одном шелковом архалуке, отороченном соболем, — наследство моей астраханской бабушки, сказала она, — сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело... И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы — она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя, остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни одетая, готовая к выезду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим:

— Куда нынче? В «Метрополь», может быть?

И опять весь вечер мы говорили о чем-ни-

будь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке:

— Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь...

Это меня не обезнадежило. «Там видно будет!» — сказал я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась иногда невыносимой, но и тут — что оставалось мне, кроме надежды на время? Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову:

— Нет, это выше моих сил! И зачем, почему надо так жестоко мучить меня и себя?!

Она промолчала.

— Да, все-таки это не любовь, не любовь...

Она ровно отозвалась из темноты:

— Может быть. Кто же знает, что такое любовь?

— Я, я знаю! — воскликнул я. — И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!

— Счастье, счастье... «Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а

вытащишь — ничего нету».

— Это что?

— Это так Платон Каратаев говорил Пьеру.

Я махнул рукой:

— Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью!

И опять весь вечер говорил только о постороннем — о новой постановке Художественного театра, о новом рассказе Андреева... С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш из «Аиды», ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад, — да, целовал, говорил я себе, с восторженной благодарностью глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал груди, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая: «Москва, Астрахань, Персия, Индия!» В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумней становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелея, вела меня иногда в отдель-

ный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевало с низким лбом под дегтярной челкой... Она слушала песни с томной, странной усмешкой... В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой, на подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел к Красным воротам. И завтра и послезавтра будет все то же, думал я, — все та же мука и все то же счастье... Ну что ж — все-таки счастье, великое счастье!

Так прошел январь, февраль, пришла и прошла Масленица. В Прощеное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу вечера. Я приехал, и она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботинках.

— Все черное! — сказал я, входя, как всегда, радостно.

Глаза ее были ласковы и тихи.

— Ведь завтра же Чистый понедельник, — ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. — «Господи владыко живота моего...» Хотите поехать в Новодевичий монастырь?

Я удивился, но поспешил сказать:

— Хочу!

— Что ж все кабаки да кабаки, — прибавила она. — Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище...

Я удивился еще больше:

— На кладбище? Зачем? Это знаменитое рас-коль-ничье?

— Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хоронили ихнего архиепископа. И вот представьте себе: гроб — дубовая колода, как в древности, золотая парча будто ковானая, лик усопшего закрыт белым «воздúхом», шитым крупной черной вязью, — красота и ужас. А у гроба диаконы с рипидами и трикириями...

— Откуда вы это знаете? Рипиды, трикирии!

— Это вы меня не знаете.

— Не знал, что вы так религиозны.

— Это не религиозность. Я не знаю что... Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевские соборы, а вы даже и не подозреваете этого... Так вот: диаконы — да какие! Пересвет и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересветы: высокие, могучие, в длинных черных кафтанах, поют, пере-кликаясь, — то один хор, то другой, — и все в унисон и не по нотам, а по «крюкам». А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями, а на дворе мороз, солнце, слепит снег... Да нет, вы этого не понимаете! Идем...

Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-красных стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок, куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам по кладбищу, — солнце только что село, еще совсем было светло, дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в инее, и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными

огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики, — она вдруг обернулась, почувствовав это.

— Правда, как вы меня любите! — сказала она с тихим недоумением, покачав головой.

Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом:

— Какая противная смесь сусального русского стиля и Художественного театра!

Стало темнеть, морозило, мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор.

— Поездим еще немножко, — сказала она, — потом поедем есть последние блины к Егорову... Только не шибко, Федор, — правда?

— Слушаю-с.

— Где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов. Поедем его искать...

И мы зачем-то поехали на Ордынку, долго ездили по каким-то переулкам в садах, были

в Грибоедовском переулке; но кто же мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов, — прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоедов? Уже давно стемнело, розовели за деревьями в инее освещенные окна...

— Тут есть еще Марфо-Мариинская обитель, — сказала она.

Я засмеялся:

— Опять в обитель?

— Нет, это я так...

В нижнем этаже в трактире Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу, перед черной доской иконы Богородицы Троеручицы, горела лампадка, сели за длинный стол на черный кожаный диван... Пушок на ее верхней губе был в инее, янтарь щек слегка розовел, чернота райка со-

всем слилась с зрачком, — я не мог отвести восторженных глаз от ее лица. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты:

— Хорошо! Внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и Богородица Троеручица. Три руки! Ведь это Индия! Вы — барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву.

— Могу, могу! — отвечал я. — И давайте закажем обед сйлен!

— Как это «сйлен»?

— Это значит — сильный. Как же вы не знаете? «Рече Гюрги...»

— Как хорошо! Гюрги!

— Да, князь Юрий Долгорукий. «Рече Гюрги ко Святославу, князю Северскому: „Приди ко мне, брате, в Москву“ и повелел устроить обед сйлен».

— Как хорошо. И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях. Недавно я ходила в Зачатьевский монастырь — вы представить себе не можете, до чего дивно поют там стихиры! А в Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как было хорошо! Везде лужи,

воздух уж мягкий, весенний, на душе как-то нежно, грустно и все время это чувство родины, ее старины... Все двери в соборе открыты, весь день входит и выходит простой народ, весь день службы... Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый глухой, вологодский, вятский!

Я хотел сказать, что тогда и я уйду или зарежу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин, закурил, забывшись от волнения, но подошел половой в белых штанах и белой рубашке, подпоясанный малиновым жгутом, почтительно напомнил:

— Извините, господин, курить у нас нельзя...

И тотчас, с особой угодливостью, начал скороговоркой:

— К блинам что прикажете? Домашнего травничку? Икорки, семушки? К ушице у нас херес на редкость хорош есть, а к наважке...

— И к наважке хересу, — прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. И я уже рассеянно слушал, что она говорила дальше. А она говорила с тихим светом в глазах:

— Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до сих пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. «Был в русской земле город, названием Муром, в нем же самодержествовал благоверный князь, именем Павел. И вселил к жене его диавол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном...»

Я шутя сделал страшные глаза:

— Ой, какой ужас!

Она, не слушая, продолжала:

— Так испытывал ее Бог. «Когда же пришло время ее благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня преставиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись, такожде единовременно, в монашеское одеяние...»

И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой: что это с ней нынче?

И вот, в этот вечер, когда я отвез ее домой, совсем не в обычное время, в одиннадцатом часу, она, простясь со мной на подъезде, вдруг

задержала меня, когда я уже садился в сани:

— Погодите. Заезжайте ко мне завтра вечером не раньше десяти. Завтра «капустник» Художественного театра.

— Так что? — спросил я. — Вы хотите поехать на этот «капустник»?

— Да.

— Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих «капустников»!

— И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать.

Я мысленно покачал головой, — все причуды, московские причуды! — и бодро отозвался:

— Ол райт!

В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифте к ее двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу вошел из темной прихожей: за ней было необычно светло, все было зажжено, — люстры, канделябры по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана, а пианино звучало началом «Лунной сонаты» — все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее, в сомнамбулически-блажен-

ной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, — звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел — она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного, полного начала груди, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ; на висках полукочечками загибались к глазам черные лоснящиеся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки.

— Вот если бы я была певица и пела на эстраде, — сказала она, глядя на мое растерянное лицо, — я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легкими поклонами вправо и влево, вверх и в партер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить на него...

На «капустнике» она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрела на актеров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы па-

рижское, на большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в пенсне на корытообразном лице, — оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клок его белорусских волос, Качалов, поднял бокал и, с деланой мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом:

— Царь-девица, шамаханская царица, твое здоровье!

И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня:

— А это что за красавец? Ненавижу!

Потом захрипела, засвистела и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка — и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал:

— Дозвольте пригласить на полечку Тран-  
блан...

И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, сопровождаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тем как он, задрав голову, кричал козлом:

*Пойдем, пойдем поскорее  
С тобой польку танцевать!*

В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно:

— Конечно, красив. Качалов правду сказал... «Змей в естестве человеческом, зело прекрасном...»

Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем, — «какой-то светящийся череп», — сказала она. На Спасской башне часы били три, — еще сказа-

ла:

— Какой древний звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву...

Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно при-казала:

— Отпустите его...

Пораженный, — никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, — я растерянно сказал:

— Федор, я вернусь пешком...

И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я разделся, вошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула

с себя платье... Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла обнаженной спиной ко мне, перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных висевших вдоль лица волос.

— Вот все говорил, что я мало о нем думаю, — сказала она, бросив гребень на подзеркальник, и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. — Нет, я думала...

На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза — она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела, она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря:

— Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один Бог знает.

И прижалась своей щекой к моей, — я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница:

— Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала...

И легла на подушку.

Я осторожно оделся, робко поцеловал ее волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу, — метели

уже не было, все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц, пахло снегом и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей, стал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку... Кто-то потрогал меня за плечо — я посмотрел: какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез:

— Ох, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!

Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко — ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть: «В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг... Пусть Бог даст сил не отвечать мне — бесполезно длить и увеличивать нашу муку...»

Я исполнил ее просьбу. И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться — равнодушно, безнадежно... Прошло почти два года с того Чистого понедельника...

В четырнадцатом году, под Новый год, был такой же тихий, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцанье старого золота иконостаса и надмогильных плит московских царей, — стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку, шагом ездил, как тогда, по темным переулкам в садах с освещенными под ним окнами, проехал по Грибоедовскому переулку — и все плакал, плакал...

На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из дверей горестно и умиленно несло пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще:

— Нельзя, господин, нельзя!

— Как нельзя? В церковь нельзя?

— Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за-ради бога, не ходите, там сейчас великая княгиня Ельзавет Федровна и великий князь Митрий Палыч...

Я сунул ему рубль — он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обруче с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер, — уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня... Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.

*12 мая 1944*

## Часовня

Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище, — бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно: там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя застрелил. Все это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках; дедушки и бабушки все старые, а дядя еще молодой...

— А зачем он себя застрелил?

— Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя...

В синем море неба островами стоят кое-где

белые прекрасные облака, теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна.

*2 июля 1944*

### **Весной, в Иудее**

— Эти далекие дни в Иудее, сделавшие меня на всю жизнь хромым, калекой, были в самую счастливую пору моей молодости, — говорил высокий, стройный человек, желтоватый лицом, с карими блестящими глазами и короткими, мелкокурчавыми серебряными волосами, ходивший всегда с костылем по причине не сгибавшейся в колене левой ноги. — Я участвовал тогда в небольшой экспедиции, имевшей целью исследование восточных берегов Мертвого моря, легендарных мест Содома и Гоморры, жил в Иерусалиме, поджидая своих спутников, задержавшихся в Константинополе, и совершая поездки в одну из бедуинских стоянок по дороге в Иерихон, к шейху Аиду, которого мне рекомендовали иерусалимские археологи и который взялся оборудовать все нужное для на-

шей экспедиции и лично вести ее. В первый раз я съездил к нему для переговоров с проводником, на другой день он сам приехал ко мне в Иерусалим; потом я стал ездить в его стоянку один, купив у него же чудесную верховую кобылку, — стал ездить даже не в меру часто... Была весна, Иудея тонула в радостном солнечном блеске, вспоминалась «Песнь Песней»: «Зима уже прошла, цветы показались на земле, время песен настало, голос горлицы слышен, виноградные лозы, расцветая, издают благоухание...» Там, на этом древнем пути к Иерихону, в каменистой Иудейской пустыне, все, как всегда, было мертво, дико, голо, слепило зноем и песками. Но и там, в эти светносные весенние дни, все казалось мне бесконечно радостным, счастливым: в первый раз был я тогда на Востоке, совершенно новый мир видел перед собою, а в этом мире — нечто необыкновенное: племянницу Аида.

Иудейская пустыня — это целая страна, неуклонно спускающаяся до самой Иорданской долины, холмы, перевалы, то каменистые, то песчаные, кое-где поросшие жесткой растительностью, обитаемые только змеями,

куропатками, погруженные в вечное молчание. Зимой там, как всюду в Иудее, льют дожди, дуют ледяные ветры; весной, летом, осенью — то же могильное спокойствие, однообразие, но солнечный зной, солнечный сон. В лощинах, где попадаются колодцы, видны следы бедуинских стоянок: пепел костров, камни, сложенные кругами или квадратами, на которых укрепляют шатры... А та стоянка, куда я ездил, где шейхом был Аид, являла такую картину: широкий песчаный лог между холмами, и в нем небольшой стан шатров из черного войлока, плоских, четырехугольных и довольно мрачных своей чернотой на желтизне песков. Проезжая, я постоянно видел тлеющие кучки кизяка перед некоторыми шатрами, среди шатров — тесноту: всюду собаки, лошади, мулы, козы — до сих пор не понимаю, чем и где все это кормилось, — множество голых, черномазых, курчавых детей, женщины и мужчины, похожие одни на цыган, другие на негров, хотя не толстогубых... И странно было видеть, как тепло, несмотря на зной, были одеты мужчины: кубовая рубаха до колен, ватная куртка, а сверху óба, то есть

длинная и тяжелая, широкоплечая хламида из пегой шерсти, полосатой в два цвета — черного и белого; на голове — кэфийе — желтый с красными полосами платок, распущенный по плечам, висящий вдоль щек и в два раза охваченный на макушке тоже пегим, двуцветным шерстяным жгутом. Все это составляло полную противоположность женской одежде: у женщин на головы накинута кубовые платки, лица открыты, на теле одна длинная кубовая рубаха с острыми, падающими чуть не до земли рукавами; мужчины обуты в грубые башмаки, подбитые железками, женщины ходят босыми, и у всех ступни чудесные, подвижные и от загара уж совсем как уголь. Мужчины курят трубки, женщины тоже...

Когда я во второй раз, без проводника, приехал в стоянку, меня приняли уже как друга. Шатер Аида был самый просторный, и я застал в нем целое собрание пожилых бедуинов, сидевших вокруг черных войлочных стен шатра с поднятыми для входа полами. Аид вышел мне навстречу, сделал поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу.

Войдя в шатер впереди его, я подождал, пока он сел на ковер посреди шатра, потом сделал то, что сделал он мне при встрече, то, что всегда полагается, — тот же поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу, — сделал несколько раз, по числу всех сидящих; потом сел возле Аида и, сидя, опять сделал то же самое, мне, конечно, отвечали тем же. Говорили только мы с хозяином, — кратко и медленно: так тоже полагалось по обычаю, да и не очень сведущ был я тогда в разговорном арабском языке; прочие курили и молчали. А за шатром меж тем готовилось мне и гостям угощение. Обычно бедуины едят хыбыз, — кукурузные лепешки — вареное пшено с козьим молоком... Но непременно угощение гостя — харуф: баран, которого жарят в ямке, вырытой в песке, наваливая на него пласты тлеющего кизяка. После барана угощают кофеем, но всегда без сахара. И вот все сидели и угощались как ни в чем не бывало, хотя в тени войлочного шатра стояла адски горячая духота и смотреть в его широко раскрытые полы было просто страшно: пески вдали так сверкали, что, казалось, на глазах плавилась.

Шейх за каждым словом говорил мне: хаваджа, господин, а я ему: почтенный шейх бедави (то есть сын пустыни, бедуин)... Кстати, знаете ли вы, как по-арабски называется Иордан? Очень просто: Шариат, что значит всего-навсего «водопой».

Аид был лет пятидесяти, невысок, широк в кости, очень худ и очень крепок; лицо — обожженный кирпич, глаза прозрачные, серые, пронзительные; медная борода с проседью, жесткая, небольшая, подстриженная, и такие же подстриженные усы, — бедуины то и другое всегда подстригают; обут, как все, в толстые подкованные башмаки. Когда он был у меня в Иерусалиме, на поясе у него был кинжал, в руках длинная винтовка.

Я увидел его племянницу в тот самый день, когда сидел у него в шатре уже как «друг»: она прошла мимо шатра, держась прямо, неся на голове большую жестянку с водой, поддерживая ее правой рукою. Не знаю, сколько лет ей было, думаю, что не больше восемнадцати, узнал впоследствии одно — четыре года перед тем она была замужем, а в тот год овдовела, не имел детей, и перешла в

шатер дяди, будучи сиротой и очень бедной. «Оглянись, оглянись, Суламифь!» — подумал я. (Ведь Суламифь была, верно, похожа на нее: «Девы иерусалимские, черна я и прекрасна».) И, проходя мимо шатра, она слегка повернула голову, повела на меня глазами: глаза эти были необыкновенно темные, таинственные, лицо почти черное, губы лиловые, крупные — в ту минуту они больше всего поразили меня... Впрочем, одни ли они! Поразило все: удивительная рука, обнажившаяся до плеча, державшая на голове жестянку, медленные, извилистые движения тела под длинной кубовой рубахой, полные груди, поднимавшие эту рубаху... И нужно же было случиться так, что вскоре после этого я встретил ее в Иерусалиме у Яффских ворот! Она шла в толпе навстречу мне и на этот раз несла на голове что-то завернутое в холст. Увидав меня, приостановилась. Я кинулся к ней:

— Ты узнала меня?

Она слегка потрепала свободной левой рукой по плечу меня, усмехнулась:

— Узнала, хаваджа.

— Что это ты несешь?

— Козий сыр несу.

— Кому?

— Всем.

— Значит, продавать? Так неси его ко мне.

— Куда?

— Да вот сюда, в гостиницу...

Я жил как раз у Яффских ворот, в узком высокоом доме, слитом с другими домами, по левую сторону той небольшой площади, от которой идет ступенчатая «Улица царя Давида» — темный, крытый где холстами, а где древними каменными сводами ход между такими же древними мастерскими и лавками. И она без всякой робости пошла впереди меня по крутой и тесной каменной лестнице этого дома, слегка откинувшись, свободно напругая свое извивающееся тело, настолько обнажив правую руку, державшую на голове на кубовом платке круг сыру в холсте, что видны были черные волосы ее подмышки. На одном повороте лестницы она приостановилась: там, глубоко внизу за узким окном, виден был древний «Водоем пророка Иезекииля», зеленоватая вода которого лежала, как в колодце, в квадрате соседних сплошных до-

мовых стен с решетчатыми окошечками, — та самая вода, в которой купалась Вирсафия, жена Урия, наготой своей пленившая царя Давида. Приостановясь, она заглянула в окно и, обернувшись, с радостным удивлением взглянула на меня своими удивительными глазами. Я не удержался, поцеловал ее голое предплечье — она взглянула на меня вопрошительно: поцелуй не в обычае у бедуинов. Войдя в мою комнату, она положила свой сверток на стол и протянула ко мне ладонь правой руки. Я положил в ладонь несколько мелких монет, потом, замирая от волнения, вынул и показал ей золотой фунт. Она поняла и опустила ресницы, покорно склонила голову и закрыла глаза внутренним сгибом локтя...

— Когда опять принесешь сыр? — спросил я, провожая ее через полчаса на лестницу.

Она легонько помотала головой:

— Скоро нельзя.

И показала мне пять пальцев: пять дней.

Недели через две, когда я уезжал от Аида и отъехал уже довольно далеко, сзади меня хлопнул выстрел — и пуля с такой силой уда-

рилась в камень передо мной, что он задымился. Я поднял лошадь вскачь, пригнувшись к седлу, — хлопнул второй выстрел, и что-то крепко хлестнуло мне под колено левой ноги. Я скакал до самого Иерусалима, глядя вниз на свой сапог, по которому, пенясь, лилась кровь... Дивлюсь до сих пор, как мог Аид два раза промахнуться. Дивлюсь и тому, откуда он мог узнать, что это я покупал козий сыр у нее.

1946

## Ночлег

Это случилось в одной глухой гористой местности на юге Испании.

Была июньская ночь, было полнолуние, небольшая луна стояла в зените, но свет ее, слегка розоватый, как это бывает в жаркие ночи после кратких дневных ливней, столь обычных в пору цветения лилий, все же так ярко озарял перевалы невысоких гор, покрытых низкорослым южным лесом, что глаз ясно различал их до самых горизонтов.

Узкая долина шла между этими перевалами на север. И в тени от их возвышенностей с

одной стороны, в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообразно шумел горный поток и таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно вспыхивая то аметистом, то топазом, летучие светляки, лючиоли. Противоположные возвышенности отступали от долины, и по низменности под ними пролегла древняя каменистая дорога. Столь же древним казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в этот уже довольно поздний час шагом въехал на гнедом жеребце, припадавшем на переднюю правую ногу, высокий марокканец в широком бурнусе из белой шерсти и в марокканской феске.

Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таким. Марокканец проехал сперва по тенистой улице, между каменными остовами домов, зиявших черными пустотами на месте окон, с одичавшими садами за ними. Но затем выехал на светлую площадь, на которой был длинный водоем с навесом, церковь с голубой статуей мадонны над порталом, несколько домов, еще обитаемых, а впереди, уже на выезде, постоялый двор. Там,

В нижнем этаже, маленькие окна были освещены, и марокканец, уже дремавший, очнулся и натянул поводья, что заставило хромавшую лошадь бодрей застучать по ухабистым камням площади.

На этот стук вышла на порог постоянного двора маленькая, тощая старуха, которую можно было принять за нищую, выскочила круглоликая девочка лет пятнадцати, с челкой на лбу, в эспадрильях на босу ногу, в легоньком платьице цвета блеклой глицинии, поднялась лежавшая у порога огромная черная собака с гладкой шерстью и короткими, торчком стоящими ушами. Марокканец спешил к порогу, и собака тотчас вся подавалась вперед, сверкнув глазами и словно с омерзением оскалив белые страшные зубы. Марокканец взмахнул плетью, но девочка его предупредила.

— Негра, — звонко крикнула она в испуге, — что с тобой?!

И собака, опустив голову, медленно отошла и легла, мордой к стене дома.

Марокканец сказал на дурном испанском языке приветствие и стал спрашивать, есть

ли в городе кузнец, — завтра нужно осмотреть копыто лошади, — где можно поставить ее на ночь и найдется ли корм для нее, а для него какой-нибудь ужин? Девочка с живым любопытством смотрела на его большой рост и небольшое, очень смуглое лицо, изъеденное оспой, опасно косилась на черную собаку, лежавшую смирно, но как будто обиженно; старуха, тугая на ухо, поспешно отвечала крикливым голосом: кузнец есть, работник спит на скотном дворе рядом с домом, но она сейчас его разбудит и отпустит корму для лошади, что же до кушанья, то пусть гость не взыщет: можно сжарить яичницу с салом, но от ужина осталось только немного холодных бобов да рагу из овощей... И через полчаса, управившись с лошастью при помощи работника, вечно пьяного старика, марокканец уже сидел за столом в кухне, жадно ел и жадно пил желтоватое белое вино.

Дом постоялого двора был старинный. Нижний этаж его делился длинными сенями, в конце которых была крутая лестница в верхний этаж, на две половины: налево просторная, низкая комната с нарами для просто-

го люда, направо такая же просторная, низкая кухня и вместе с тем столовая, вся по потолку и по стенам густо закопченная дымом, с маленькими и очень глубокими по причине очень толстых стен окнами, с очагом в дальнем углу, с грубыми голыми столами и скамьями возле них, скользкими от времени, с каменным неровным полом. В ней горела керосиновая лампа, свисавшая с потолка на почерневшей железной цепи, пахло топкой и горелым салом, — старуха развела на очаге огонь, разогрела прокисшее рагу и жарила для гостя яичницу, пока он ел холодные бобы, политые уксусом и зеленым оливковым маслом. Он не разделся, не снял бурнуса, сидел, широко расставив ноги, обутые в толстые кожаные башмаки, над которыми были узко схвачены по щиколке широкие штаны из той же белой шерсти. И девочка, помогая старухе и прислуживая ему, то и дело пугалась от его быстрых, внезапных взглядов на нее, от его синеватых белков, выделявшихся на сухом и рябом темном лице с узкими губами. Он и без того был страшен ей. Очень высокий ростом, он был широк от бурнуса, и тем меньше каза-

ласть его голова в феске. По углам его верхней губы курчавились жесткие черные волосы. Курчавились такие же кое-где и на подбородке. Голова была слегка откинута назад, отчего особенно торчал крупный кадык в оливковой коже. На тонких, почти черных пальцах белели серебряные кольца. Он ел, пил и все время молчал.

Когда старуха, разогрев рагу и сжарив яичницу, утомленно села на скамью возле потухшего очага и крикливо спросила его, откуда и куда он едет, он гортанно кинул в ответ только одно слово:

— Далеко.

Съевши рагу и яичницу, он помотал уже пустым винным кувшином, — в рагу было много красного перца, — старуха кивнула девочке головой, и, когда та, схватив кувшин, мелькнула вон из кухни в ее отворенную дверь, в темные сени, где медленно плыли и сказочно вспыхивали светляки, он вынул из-за пазухи пачку папирос, закурил и кинул все так же кратко:

— Внучка?

— Племянница, сирота! — стала кричать

старуха и пустилась в рассказ о том, что она так любила покойного брата, отца девочки, что ради него осталась в девушках, что это ему принадлежал этот постоянный двор, что его жена умерла уже двенадцать лет тому назад, а он сам восемь и все завещал в пожизненное владение ей, старухе, что дела стали очень плохи в этом совсем опустевшем городке...

Марокканец, затягиваясь папиросой, слушал рассеянно, думая что-то свое. Девочка вбежала с полным кувшином, он, взглянув на нее, так крепко затянулся окурком, что обжег кончики острых черных пальцев, поспешно закурил новую папиросу и отдельно сказал, обращаясь к старухе, глухоту которой уже заметил:

— Мне будет очень приятно, если твоя племянница сама нальет мне вина.

— Это не ее дело, — отрезала старуха, легко переходившая от болтливости к резкой краткости, и стала сердито кричать: — Уже поздно, допивай вино и иди спать, она сейчас будет стелить тебе постель в верхней комнате!

Девочка оживленно блеснула глазами и,

не дожидаясь приказа, опять выскочила вон, быстро затопала по лестнице наверх.

— А вы обе где спите? — спросил марокканец и слегка сдвинул феску с потного лба. — Тоже наверху?

Старуха закричала, что там слишком жарко летом, что когда нет постояльцев, — а их теперь почти никогда нет! — они спят в другой нижней половине дома, — вот тут, напротив, — указала она рукой в сени и опять пустилась в жалобы на плохие дела и на то, что все стало очень дорого и что поэтому поневоле приходится брать дорого и с проезжих...

— Я завтра уеду рано, — сказал марокканец, уже явно не слушая ее. — А утром ты дашь мне только кофе. Значит, ты можешь теперь же счесть, сколько с меня следует, и я сейчас же расплачусь с тобой. Посмотрим только, где у меня мелкие деньги, — прибавил он и вынул из-под бурнуса мешочек из красной мягкой кожи, развязал, растянул ремешок, который стягивал его отверстие, высыпал на стол кучку золотых монет и сделал вид, что внимательно считает их, а старуха даже привстала со скамьи возле очага, глядя

на монеты округлившимся глазами.

Наверху было темно и очень жарко. Девочка отворила дверь в душную, горячую темноту, в которой остро светились щели ставней, закрытых за двумя такими же маленькими, как и внизу, окнами, ловко вильнула в темноте мимо круглого стола посреди комнаты, отворила окно и, толкнув, распахнула ставни на сияющую лунную ночь, на огромное светлое небо с редкими звездами. Стало легче дышать, стал слышен поток в долине. Девочка высунулась из окна, чтобы взглянуть на луну, не видную из комнаты, стоявшую все еще очень высоко, потом взглянула вниз; внизу стояла и, подняв морду, глядела на нее собака, приبلудным щенком забежавшая откуда-то лет пять тому назад на постоянный двор, выросшая на ее глазах и привязавшаяся к ней с той преданностью, на которую способны только собаки.

— Негра, — шепотом сказала девочка, — почему ты не спишь?

Собака слабо взвизгнула, мотнув вверх мордой, и кинулась к отворенной двери в сени.

— Назад, назад! — поспешно шепотом приказала девочка. — На место!

Собака остановилась и опять подняла морду, сверкнув красным огоньком глаз.

— Что тебе надо? — ласково заговорила девочка, всегда разговаривавшая с ней, как с человеком. — Почему ты не спишь, глупая? Это луна так тревожит тебя?

Как бы желая что-то ответить, собака опять потянулась вверх мордой, опять тихо взвизгнула. Девочка пожалала плечом. Собака была для нее тоже самым близким, даже единственным близким существом на свете, чувства и помыслы которого казались ей почти всегда понятными. Но что хотела выразить собака сейчас, что ее тревожило нынче, она не понимала и потому только строго угрозила пальцем и опять приказала притворно сердитым шепотом:

— На место, Негра! Спать!

Собака легла, девочка еще немного постояла у окна, подумала о ней... Возможно, что ее тревожил этот страшный марокканец. Почти всегда встречала она постояльцев двора спокойно, не обращала внимания даже на таких,

что с виду казались разбойниками, каторжниками. Но все же случилось, что на некоторых кидалась она почему-то как бешеная, с громовым ревом, и тогда только она одна могла смирить ее. Впрочем, могла быть и другая причина ее тревоги, ее раздражения — эта жаркая, без малейшего движения воздуха и такая ослепительная, полнолунная ночь. Хорошо слышно было в необыкновенной тишине этой ночи, как шумел поток в долине, как ходил, топал копытцами козел, живший на скотном дворе, как вдруг кто-то, — не то старый мул постоялого двора, не то жеребец марокканца, — со стуком лягнул его, а он так громко и гадко заблеял, что, казалось, по всему миру раздалось это дьявольское блеяние. И девочка весело отскочила от окна, растворила другое, распахнула и там ставни. Сумрак комнаты стал еще светлее. Кроме стола, в ней стояли у правой от входа стены, изголовьями к ней, три широкие кровати, покрытые только грубыми простынями. Девочка откинула простыню на первой от входа кровати, поправила изголовье, вдруг сказочно осветившееся прозрачным, нежным голубоватым светом:

это был светляк, севший на ее челку. Она провела по ней рукой, и светляк, мерцая и погасая, поплыл по комнате. Девочка легонько задела и побежала вон.

В кухне во весь свой рост стоял спиной к ней марокканец и что-то негромко, но настойчиво и раздраженно говорил старухе. Старуха отрицательно мотала головой. Марокканец вздернул плечами и с таким злобным выражением лица обернулся к вошедшей девочке, что она отшатнулась.

— Готова постель? — гортанно крикнул он.

— Все готово, — торопливо ответила девочка.

— Но я не знаю, куда мне идти. Проводи меня.

— Я сама провожу тебя, — сердито сказала старуха. — Иди за мной.

Девочка послушала, как медленно топала она по крутой лестнице, как стучал за ней башмаками марокканец, и вышла наружу. Собака, лежавшая у порога, тотчас вскочила, взвилась и, вся дрожа от радости и нежности, лизнула ей в лицо.

— Пошла вон, пошла вон, — зашептала де-

вочка, ласково оттолкнула ее и села на пороге. Собака тоже села на задние лапы, и девочка обняла ее за шею, поцеловала в лоб и стала покачиваться вместе с ней, слушая тяжелые шаги и гортанный говор марокканца в верхней комнате. Он что-то уже спокойнее говорил старухе, но нельзя было разобрать что. Наконец он сказал громко:

— Ну, хорошо, хорошо! Только пусть она принесет мне воды для питья на ночь.

И слышались шаги осторожно сходящей по лестнице старухи.

Девочка вошла в сени навстречу ей и твердо сказала:

— Я слышала, что он говорил. Нет, я не пойду к нему. Я его боюсь.

— Глупости, глупости! — закричала старуха. — Ты, значит, думаешь, что я опять сама пойду с моими ногами да еще в темноте и по такой скользкой лестнице? И совсем нечего бояться его. Он только очень глупый и вспыльчивый, но он добрый. Он все говорил мне, что ему жалко тебя, что ты девочка бедная, что никто не возьмет тебя замуж без приданого. Да и правда, какое же у тебя прида-

ное? Мы ведь совсем разорились. Кто теперь у нас останавливается, кроме нищих мужиков.

— Чего ж он так злился, когда я вошла? — спросила девочка.

Старуха смутилась.

— Чего, чего! — забормотала она. — Я сказала ему, чтобы он не вмешивался в чужие дела... Вот он и обиделся...

И сердито закричала:

— Ступай скорей, набери воды и отнеси ему. Он обещал что-нибудь подарить тебе за это. Иди, говорю!

Когда девочка вбежала с полным кувшином в отворенную дверь верхней комнаты, марокканец лежал на кровати уже совсем раздетый: в светлом лунном сумраке пронзительно чернели его птичьи глаза, чернела маленькая, коротко стриженная голова, белела длинная рубаха, торчали большие голые ступни. На столе среди комнаты блестел большой револьвер с барабаном и длинным дулом, на кровати рядом с его кроватью белым бугром была навалена его верхняя одежда... Все это было очень жутко. Девочка с разбегу сунула на стол кувшин и опрометью кину-

лась назад, но марокканец вскочил и поймал ее за руку.

— Погоди, погоди, — быстро сказал он, потянув ее к кровати, сел, не выпуская ее руки, и зашептал: — Сядь возле меня на минутку, послушай... только послушай...

Ошеломленная, девочка покорно села. И он торопливо стал клясться, что влюбился в нее без памяти, что за один ее поцелуй даст ей десять золотых монет... двадцать монет... что у него их целый мешочек...

И, выдернув из-под изголовья мешочек красной кожи, трясущимися руками растянул его, высыпал золото на постель, бормоча:

— Вот видишь, сколько их у меня... Видишь?

Она отчаянно замотала головой и вскочила с кровати. Но он опять мгновенно поймал ее и, зажав ей рот своей сухой, цепкой рукой, бросил ее на кровать. Она с яростной силой сорвала его руку и пронзительно крикнула:

— Негра!

Он опять стиснул ей рот вместе с носом, стал другой рукой ловить ее заголившиеся ноги, которыми она, брыкаясь, больно била

его в живот, но в ту же минуту услышал рев вихрем мчавшейся по лестнице собаки. Вскочив на ноги, он схватил со стола револьвер, но не успел даже курка поймать, мгновенно сбитый с ног на пол. Защищая лицо от пасти собаки, растянувшейся на нем, обдававшей его огненным псиным дыханием, он метнулся, вскинул подбородок — и собака одной мертвой хваткой вырвала ему горло.

*23 марта 1949*

# Иллюстрации



**В**оронеж. Дом на Дворцовой улице, в котором родился И. А. Бунин  
И. А. Бунин. 1889 г.



Ложкарное производство в деревне Деяново. 1897 г.



Кулачный бой перед ночлежным домом  
Н. А. Бугрова, Нижний Новгород



# Странники на пути в Саровский мужской монастырь



Изба крестьянина Савойкина, умершего от голода, в городе Лукоянове  
В. Н. Бунина. 1907 г.



Портрет И. А. Бунина с его автографом: «Ivan Bunin» — и надписью: «Александрю Петровичу Дехтереву и его питомцам сердечный привет от Ив. Бунина. 29.VII.34». Фотография



Александру Петровичу Дарьцелу  
и его семье  
любимые  
от И. Бунина.  
29. VII. 34. Глазго, А. М.

1915 (?) года

Москва. Поварская ул., дом 26. И. А. Бунин и В. Н. Бунина жили у ее родителей, Муромцевых, от входа налево, на первом этаже в кв.



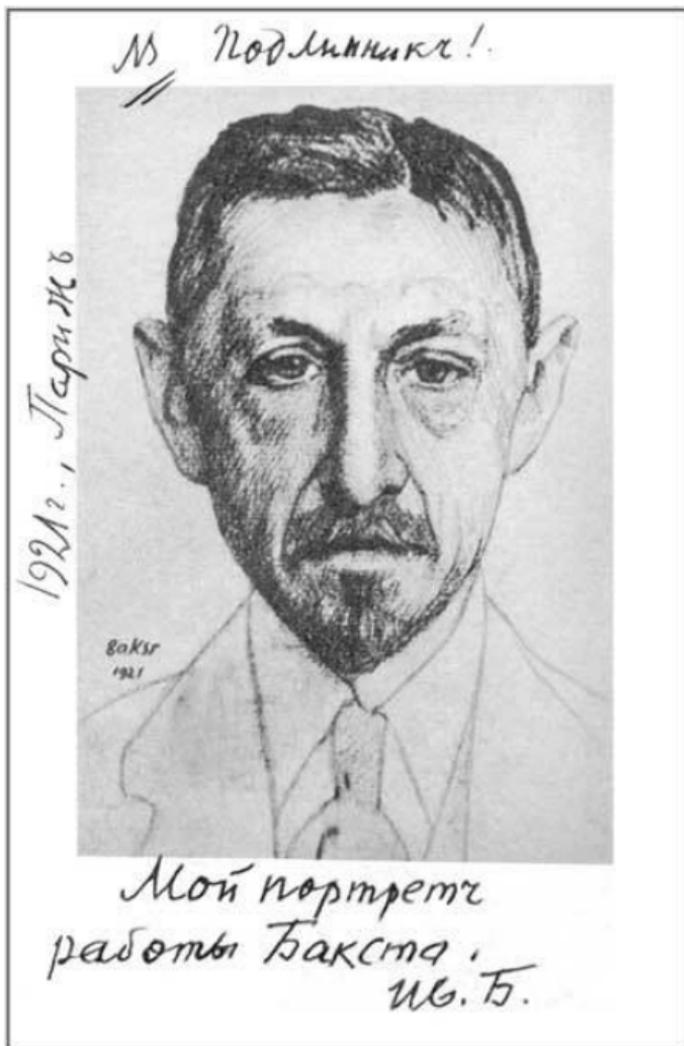
№ 2 с 28 октября 1917 г. до 21 мая 1918 г. Здесь Иван Алексеевич Бунин писал «Окаянные дни»

И. А. Бунин. Надпись на фото: «Лето 1918 г.,



после бегства из Москвы, под Одессой. Ив. Бунин»

И. А. Бунин. Фотография с его надписью: «Мой портрет работы Бакста. Ив. Б. 1921 г., Па-



риж. Подлинник!»

И. А. Бунин. Фотография с его надписью:  
«Ivan Bunin, 1925, Paris»



И. А. Бунин. 1930-е гг.



Г. Н. Кузнецова. 1931 г.



И. А. Бунин (в центре) в Стокгольме на вокзале. 1933 г.



*Слева направо:* Г. Н. Кузнецова, И. Троцкий,  
В. Н. Бунина, А. Седых, И. А. Бунин, «Лючия».  
Стокгольм. 1933 г.

# Примечания

# 1

Где вы, дети мои? *(франц.)*

[^^^]

## 2

«Ворон, взобравшись на дерево» (*франц.*).

[^^^]

«очень мил» (*англ.*).

[^^^]

## 4

*Как ни прекрасна юность,  
Все же она убегает;  
Кто хочет радоваться, пусть радуется,  
В завтрашнем дне нет уверенности (ит.).*

*(Перевод С. Ошерова)*

[^^^]

# 5

«Внемлите, прошло еще четверть часа вашей жизни» (*итал.*).

[^^^]

# 6

Очевидно, опечатка. (*Ред.*)

[^^^]

# 7

Человек много лет был скотом, а затем много лет был дураком (*франц.*).

[^^^]

# 8

Дай им вечный покой, Господи, и да светит им вечный свет (*лат.*).

[^^^]

# 9

Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет! (*лат.*)

[^^^]

# 10

Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину (франц.).

[^^^]

Добрый вечер, сударь (*франц.*).

[^^^]

# 12

Вода портит вино так же, как повозка дорогу  
и как женщина душу (*франц.*).

[^^^]

Друг (франц.).

[^^^]

Красной икры, винегрета... Два шашлыка...  
(франц.)

[^^^]

Это я вас благодарю (*франц.*).

[^^^]

Милосердный Господь всегда дает штаны тем,  
у кого нет зада... (*франц.*).

[^^^]

Кто женится по любви, тот имеет хорошие ночи и скверные дни (*франц.*).

[^^^]

Терпеньё — медицина бедных (*франц.*).

[^^^]

Уборщица (*франц.*).

[^^^]

Любовь заставляет даже ослов танцевать (*франц.*).

[^^^]

Гарсон, кружку пива! (*франц.*)

[^^^]

Старый сатир! (*франц.*).

[^^^]

Нет писем, сударь, нет телеграмм (*франц.*).

[^^^]

Иностранные газеты! (*франц.*).

[^^^]

Будем веселиться! (*лат.*)

[^^^]

Говорите за себя... (*франц.*).

[^^^]

Это камаргианка (*франц.*).

[^^^]

— Скажите, Одетт, кто эта дама?

— Какая дама, сударь?

— Дама брюнетка, там?

— Какой стол, сударь?

— Номер десять.

— Это русская, сударь.

— Ну, и...

— Я ничего не знаю.

— Она у вас давно?

— Три недели, сударь.

— Всегда одна?

— Нет, сударь. Был один господин...

— Молодой, спортивного вида?

— Нет, сударь. Очень задумчивый, нерв-  
ный.

— И в один прекрасный день он исчез?

— Да, сударь (*франц.*).

[^^^]

Хватит!.. Не так ли, мадам? (*франц.*).

[^^^]